ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2013

16+

РОМАН ЖУЗЕ ЭДУАРДУ АГУАЛУЗЫ
«ПРОДАВЕЦ ПРОШЛОГО»
ИВЛИН ВО «ИЗ ДНЕВНИКОВ»
СТИХИ АЛЕХАНДРЫ ПИСАРНИК

Основан в 1955 году

[2]
2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ивлин Во *Из дневников. 20–30-е годы.* Перевод с английского, вступительная статья, составление и примечания Александра Ливерганта

140 Жузе Эдуарду Агуалуза *Продавец прошлого.* Роман. Перевод с португальского Татьяны Родименко

Литературный гид: Алехандра Писарник. "Скиталица по себе самой..." 219

220 *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Павла Грушко

228 *Из записных книжек.* Перевод с испанского Натальи Ванханен

235 Борис Дубин *Приближение к ускользающей тени*

Еще немного об Америке 240 Наталья Рапопорт *Вот это место!*

260 Елизавета Домбаян *Казенный дом*

270 Марина Ефимова *Черная магия Тони Моррисон*

276 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

282 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера 285

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Ивлин Во

Из дневников. 20–30-е годы

Перевод с английского, вступительная статья, составление и примечания Александра Ливерганта

Портрет сатирика в молодые годы

По аналогии с жанром “роман в письмах”, эту публикацию можно было бы назвать “романом-дневником”. Романом, в центре которого — если воспользоваться названием знаменитой книги Джеймса Джойса — портрет художника в молодые годы. Художника — в буквальном смысле, а не только в переносном: с детства Ивлин Во отлично рисовал, одно время собирался стать художником, всю жизнь интересовался живописью и архитектурой, хорошо и в том, и в другом разбирался. “Молодые годы” охватывают первые тридцать шесть лет жизни писателя: начинает Во вести дневник очень рано — с младших классов школы, и ведет его — порой со значительными, бывает, многолетними перерывами — всю жизнь, почти до самой смерти. Мы же приводим фрагменты из его “Дневников” до сентября 1939 года — до начала Второй мировой войны, в которой он, к слову сказать, активно и в разном качестве участвовал.

© The Estate of Evelyn Waugh, 1979
© Александр Ливергант. Перевод, вступительная статья, 2013
Полностью “Дневники” Ивлина Во выйдут в 2013 году в московском издательстве “Текст”.

Дневник — это всегда портрет в интерьере. Бывает, интерьер — окружение, эпоха — оттесняет портрет на второй план: дневник Л. К. Чуковской, братьев Гонкуров. У Ивлина Во окружение и особенно эпоха не составляют портрету конкуренции. Окружение между тем играет в "Дневниках" немаловажную роль. Многие из окружения писателя переселяются со страниц его дневниковых записей на страницы его же книг: читавшие Ивлина Во узнают в близких школьных и оксфордских друзьях писателя, в светских приятелях, собутыльниках, подругах, коллегах по перу, случайных знакомых и литературных, театральных и политических знаменитостях прототипы его сатирических персонажей. А вот эпоха просматривается с трудом: об исторических событиях первых сорока лет XX века — Первой мировой войне, Общенациональной стачке 1921 года, итало-абиссинском вооруженном конфликте — говорится вскользь, между делом. Нет в "Дневниках" ни слова о русской революции, об экономическом кризисе 30-х, почти ничего о приходе Гитлера к власти.

Кто же смотрит на нас с портрета? Человек, безусловно, одаренный, но по-человечески не слишком привлекательный. Сноб: всегда кичился добрыми отношениями с аристократическими семьями. Как и полагается сатирику, мизантроп: "...худшей школы, чем Хит-Маунт, нет во всей Англии", "Чудовищно скучно", "Сегодня совершенно пустой день", "Нынешнее Рождество — сплошное разочарование", "Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным", "Неделя получилась хуже некуда". Сибарит, гурман, эгоист. Обидчив, раздражителен, капризен, пренебрежителен, страдает резкими перепадами настроения. Хорошо разбирается в литературе и живописи и ничуть не хуже — в людях, большинство из которых, прямо скажем, не жалует. Да и собой доволен бывает редко — свои сочинения, впрочем, обычно хвалит. При этом инфантилен, очень любит строить планы на будущее, давать себе "крепкий", но редко выполняемый зарок: "С сегодняшнего дня бросаю пить", "На Пасху перестаю принимать снотворное", "Со следующего месяца начинаю писать иначе". С людьми сходится плохо (правда, если сходится, то надолго), не близок ни с родителями, ни — тем более — с братом, раздражать его будут даже собственные дети.

Типичный англичанин, Во даже школьником не склонен откровенничать, неукоснительно, по-британски блюдет законы самоконтроля и сдержанности: известное дело, "дом англичанина — его крепость". Его внутренний мир скрыт за миром внешним. Чувства, эмоциональный и философский настрой, взгляды на политику, литературу, религию, да и все то, что принято называть "личной жизнью", "творческой лабораторией", в его дневниках, как правило, — за семью печатями: "Все по-настоящему важное лучше, думаю, хранить в памяти". В отличие от героя тургеневского "Дневника лишнего человека", герой "Дневников" Во редко "вдается в умозрение". Не доверяет дневнику, например, такое важное решение, как перемена конфессии, — нигде ни слова о том, что привело его в католичество, что для него значило "верить" и как он понимал свою личность в свете требований, предъявляемых католичеством к верующему. Из всех чувств, заботливо при-

прятанных от читателя (а возможно, и от самого себя), исключение составляет разве что чувство юмора — нередко "черного". Вот им-то автор "Мерзкой плоти" и "Пригоршни праха" "делиться" готов всегда.

В этом — ироническом — отношении к себе и к миру (к миру — больше, к себе — меньше) и заключается, как кажется, главное достоинство "Дневников" Ивлина Во.

По "Дневникам" далеко не всегда узнáешь его творческую манеру. Но сатирик Ивлин Во в своих "Дневниках" узнаваем. Читая убористые, суховатые записи, нередко похожие на деловой отчет, на пометы для памяти, на краткую сводку, будь то описание студенческих кутежей, или унылых будней школьного учителя, или странствий в джунглях Гвианы, читатель может проследить, как формируется сатирический метод писателя. Увидит наброски, "заготовки" к коллизиям его романов. Обнаружит в жизни автора дневников, в жизни "золотой" столичной молодежи абсурдно-безысходные ситуации, из которых сотканы сюжеты ранних книг Во. Узнает то, что лучше всего передается английским словом "vortex" (водоворот, хаос) и что является отличительной чертой и жизни молодого неприкаянного Во, и поэтики его ранних книг, населенных, вслед за "Дневниками" 20—30-х годов, "сумеречными людьми", как назвал свой первый роман современник и приятель Во, другой известный британский сатирик Энтони Пауэлл.

Школа Хит-Маунт[1]

Сентябрь 1911 года[2]

Моя история

Меня зовут Ивлин Во я хажу в школу Хит-Маунт я в пятом класе наш класный рукавадитель мистер Стеббинг.

Мы все нинавидим мистера Купера, нашево матиматика. Сегодня сетьмой день зимнево семестра, а мой читвертый. Сегодня васкрисенье паэтаму я ни в школе. По васкрисеням у нас всекда на завтрак сасиски. Я сматрю как Люси их жарит у сырых ужасно смишной вит. Папа исдатель, он ходит в Чепмен-

1. В начальной школе Хит-Маунт в Хэмпстеде Во проучился шесть лет. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Написано в семилетнем возрасте.

энд-Холл место ужасно скучьнае. Я собераюсь в церкофь. Алек[1] мой старший брат только што поехал в Шерборн. Дуит сильный ветер. Боюсь что кагда пойду в церкофь меня здует. Но меня не здуло.

18 августа 1914 года

Путешествие

Ехали под мостами, охранявшимися часовыми в будках, пока не добрались до Рединга, а там часовых не было ни одного.

Бат

Поездка бы удалась, если бы не пьяный в нашем купе: он обменивался с сыном какими-то непонятными знаками. Вышли из поезда и пошли в римские бани, где отлично провели время. Экскурсовод, который водил нас по городу, оказался большим ослом, мы с папой[2] за ним не ходили, решили, что будем лучше смотреть в путеводитель, чем на этого болвана.

1914, зимний семестр

Школьные мучения

Пришел к выводу, что худшей школы, чем Хит-Маунт, нет во всей Англии.

Сегодня было три урока латыни — страшное дело. Мистер Хинклифф с каждым днем все гаже. И с каждым днем нос у него все длиннее и длиннее. Весь первый урок обхаживал несчастного Спенсера — не повезло ему: он у Хинклиффа в любимчиках.

1915

Брайтон

Первое полугодие наконец позади, и мы (вдвоем с мамой) отправились в Брайтон. Вечером пошли в церковь. <...> Пе-

1. Алек Во (1898—1981) — старший брат Ивлина. Стал популярным романистом, путевым очеркистом и биографом.
2. Отец писателя, Артур Во, — литератор, издатель, с 1902 г. директор-распорядитель в лондонском издательстве “Чепмен-энд-Холл”.

рекрестился и преклонил колени перед алтарем только я один.

Цеппелины

Часов в одиннадцать вечера меня разбудил Алек. Сказал, что прилетели цеппелины. Спускаемся вниз и видим: констебль носится по улице с криком “Выключить свет!” Цеппелины, оказывается, прямо у нас над головой. Услышали разрывы двух бомб, а потом забили пушки на Парламент-Хилл, и цеппы в клубах дыма убрались восвояси — убивать других детей.

1916, весенний семестр

Мы с Хупером шли домой, и тут какой-то парень лет десяти кричит нам: “Чего пялитесь, желторотые?” Погнались за ним, а навстречу, как водится, его старший брат. “Что, — говорит, — давно не получали?” Я ответил: “Давно”, мы бросились друг на друга, в ход пускали и руки, и ноги, но победителем вышел я.

1916, летний семестр

Водяная Крыса

Довели Кэмерона до белого каления — ни одного учителя так не доводили. В лицо называем его Водяной Крысой и елозим по партам. Один раз до того разъелозились, что он не выдержал и спрашивает: “Откуда такой скрип?” — “А вы, — говорит ему Браун, — сядьте, сами увидите (услышите), как они скрипят”. Потом Нобел нашел тряпку и подбросил ее на учительский стол. Умора.

Понедельник, 14 августа 1916 года

Утром мы с мамой ходили по магазинам, она купила себе шляпку, а я, после долгих поисков, — блокнот и до самого обеда рисовал в нем нехорошие картинки. Перед обедом выкупались, вода оказалась холодней обычного, и волны; поплескался вволю. После обеда купался опять, вернулся голодный как волк, а к чаю всего-то крошечный кусочек хлеба с маслом, да пирожок с мой мизинец. Зато ужин превзошел все ожидания...

Лансинг-колледж

Лансинг-колледж[1]*, вторник, 23 сентября 1919 года*

Алек как-то сказал, что живет в "непроницаемом" мире. И был прав. Меня же словно выбросило в совершенно иной мир, у меня теперь совершенно другие друзья, другой образ жизни. Домашний уют куда-то подевался — но, по правде сказать, без него я не скучаю.

Воскресенье, 28 сентября 1919 года

Вместе со всеми ходил на вторую службу. Скучно. Единственная отрада — смотреть, как падают в обморок ученики младших классов. После церкви все собрались в столовой на несъедобный воскресный завтрак. Это первое воскресенье, поэтому воскресного урока нет. На воскресное письмо тратить время нет смысла: из-за забастовки железнодорожных работников все равно дойдет вряд ли. Некоторые, воспользовавшись забастовкой, не пишут вообще. Потом пошли в библиотеку, где вывешен список тех, кому книги выдают на вынос. Мне не хватило одного балла, Апторп в список включен, и Саутвелл, а я, хоть и шел следом, в него не вошел. Обидно: отдал бы всё, чтобы войти. Что ни возьми, я во всем оказываюсь за бортом, причем в самый последний момент: сначала в сборную колледжа не попал, теперь в этот список. И когда умру, мне тоже не хватит всего одного балла, чтобы попасть на небеса, и золотые врата захлопнутся перед самым моим носом. <...>

Пятница, 10 октября 1919 года

Сегодня утром вырвал из тетради и уничтожил первую часть этого дневника, где писал про каникулы. Там было мало чего занятного, зато очень много такого, что для чужих глаз не предназначалось, — опасно и при этом не смешно. Поэтому оставил самую малость, только про колледж. На следующих

1 В Лансинг-колледже, монастырском, средневековом городке Лансинг, графство Суссекс, И. Во учился после окончания Хит-Маунт с мая 1917 по 1921 гг., однако дневник начал вести только с осени 1919 г. Первоначально родители предполагали определить Ивлина в более престижный Шерборн-колледж. Однако после исключения в 1915 г. из Шерборна старшего сына Алека, вызванного его откровениями по поводу гомосексуалистских склонностей некоторых учащихся этой закрытой школы, окончательный выбор пал на Лансинг.

каникулах надо будет вести себя осмотрительней, думать, что можно писать, а чего нельзя. <...>

Сегодня отец вернул эссе Молсона и отозвался о нем весьма одобрительно. Он вообще постоянно подчеркивает, что наше поколение лучше, чем его. Интересно, среди нас действительно появятся великие люди или, наоборот, — сплошные посредственности? Мы и в самом деле, судя по всему, развиты не по летам — но добрый ли это знак, еще вопрос.

Четверг, 16 октября 1919 года

<...> Какое же мы все-таки удивительное поколение! В предыдущем никто до девятнадцати лет ни о чем не думал и уж во всяком случае — о книгах и картинах. Но только время покажет, чего мы действительно стоим.

Пятница, 17 октября 1919 года

"Несносна жизнь, как выслушанный дважды, в унылый сон вгоняющий рассказ"[1].

Сегодня совершенно пустой день. Не пришло ни одного письма, не произошло ничего интересного. Мне разрешили не присутствовать на утренней и вечерней линейке, и я весь день читал Марло и Конан Дойла, а в перерывах просматривал книги Гордона. Нашел у него красивое издание "Одиссеи" — иным, впрочем, оно бы показалось слишком вычурным. Получил почтовым переводом 16 шиллингов 6 пенсов и отправил деньги в книжный магазин Дента за "Геро и Леандра"[2]. Читал ее в библиотечном дешевом издании — типичная елизаветинская поэма.

Мое эссе о сказках понравилось — получил 27 из 30. Вот только правописание мое по-прежнему хромает: три или четыре раза написал "воображение" с тремя "о" и двумя "н". Завтра День Всех Святых, и почти все на этот день колледж покидают — будет поэтому так же скучно, как сегодня.

Понедельник, 20 октября 1919 года

Еще раз побывал на выставке гравюр. Утро ничем не примечательно. Во второй половине дня очередная тренировка,

1. У. Шекспир. Король Иоанн. Акт 3, сц. 4. Перевод Н. Рыковой.
2. Имеется в виду незаконченная Кристофером Марло (1564—1593) эротическая поэма "Геро и Леандр" (1598), завершенная Джорджем Чепменом (1559?—1634).

пришлось стоять на воротах и отбивать мячи. Ненавижу "Младших"[1]. "Геро и Леандра" до сих пор нет; надеюсь, письмо с деньгами не затерялось. Вышел приказ: за обедом есть свою собственную еду запрещается. А это значит, что кормиться теперь придется одним хлебом — это единственная съедобная пища, которой здесь в достатке.

Воскресенье, 26 октября 1919 года

День, лишенный каких бы то ни было событий. Некий Темпл[2] (соображает он вроде бы неплохо) приехал читать проповедь, рассуждал, непонятно с какой целью, о социализме, чем вызвал раздражение у наших чистоплюев.

Среда, 5 ноября 1919 года

Вчера вечером Фулфорд, Молсон, Кэрью[3] и я пошли к Дику[4] и допоздна просидели у него в комнате у камина, обсуждая Общество. Договорились, что в Обществе будет три направления: политическое, литературное и художественное. От музыкального, ввиду ревности Брентера[5], решено было отказаться. На сегодняшний день Молсон с помощью Кэрью взялся возглавить направление политическое, Фулфорд — литературное, а я — художественное. Наша задача призвать в свои ряды достойных. Что же до названия Общества, то остановились в конце концов на "Дилетантах". Хочется надеяться, что наша затея будет иметь успех. Есть несколько тем, на которые я бы хотел сделать сообщения: "Тенденции в современном искусстве", "Фиаско прерафаэлитов", "Лимерик как самая совершенная форма поэтической выразительности". Если меня выберут президентом или секретарем, то первая художественная дискуссия, которую я попытаюсь организовать, будет на тему: "В этом колледже бытует мнение, что возрождение готики в прошлом веке может быть оправдано

1. В оригинале футбольная команда младшей группы называется "Under Sixteen" — "До шестнадцати".
2. Уильям Темпл (1881—1944) — впоследствии епископ Кентерберийский.
3. Многие соученики И. Во стали известными людьми: Роджер Фулфорд — политиком, историком, автором ряда исторических книг; Хью Молсон — политиком, Дадли Кэрью и Том Драйберг — журналистами, Макс Мэллован — археологом.
4. То есть к Дику Харрису, преподавателю Лансинга и воспитателю "Директорского дома", где жил Во. В Лансинге ученики группировались "по домам"; четыре "дома" составляли прямоугольник так называемого нижнего двора.
5. Брент-Смит (прозвище — Брентер — Каланча) был органистом и хормейстером колледжа.

строительством школьных зданий". В защиту этого тезиса выступит И. Дж. Картер, против — я. Сегодня мне уже удалось собрать небольшую группу, которой на первое время, думаю, будет достаточно. В первых двух-трех дискуссиях примут участие только Барнсли, Картер и я, но в самом скором времени, надеюсь, присоединятся и остальные.

Пятница, 7 ноября 1919 года

К нам присоединилось еще несколько новообращенных. Очень трудно отбиться от учеников, которые ни бельмеса не смыслят. На днях в Общество ["Дилетантов". — *А. Л.*] хотел вступить парень, чей любимый художник — Лэндсир[1].

Ленивец Вудард[2] до сих пор не проверил наши работы. Поторопился бы. Не терпится узнать, что этот обыватель думает о моем эссе.

Понедельник, 10 ноября 1919 года

Сегодня эти гнусные "Младшие", прямо скажем, не ударили лицом в грязь. В отличие от нас. Обыграли нас 10 : 2, я играл плохо, о чем свидетельствует счет, но защита еще хуже — лучше б они вообще не играли. Разделали нас под орех. После горячего душа (мылись в директорской — вода шла, как обычно, холодная) нам полегчало. В конце концов, спорт — это еще не все в жизни, есть же и "Дилетанты", и многое другое. <...>

Вторник, 11 ноября 1919 года

Сегодня утром в учебном манеже Хилл поинтересовался, не хочу ли я принять участие в дебатах. Чем польстил. Думаю предложить тему: "В этом колледже считается, что переселение душ — самое разумное решение проблемы человеческого бессмертия". Разумеется, это не так, но кое-какие аргументы в пользу этого у меня имеются. <...>

Сегодня в 11 утра нам сообщили о предложении короля отметить прошлый год двухминутным молчанием[3]. По-моему, идея отвратительная: ханжеский вздор и сентиментальность. Если вы лишились сыновей и отцов, то вспоминать их следует

1. Сэр Эдвин Генри Лэндсир (1802—1873) — второстепенный английский живописец.
2. Преподаватель литературы, проректор колледжа.
3. 11 ноября 1918 г. капитуляцией Германии и подписанием перемирия завершилась Первая мировая война.

всегда, ходите ли вы по зеленой траве парков или по залитой огнями Шафтсбери-авеню, — а не всего две минуты в годовщину постыдного дня общенациональной истерики. В прошлом году никто не вспоминал об убитых — к чему вспоминать сейчас?

Вторник, 2 декабря 1919 года

<...> Если когда-нибудь мне удастся нарисовать что-нибудь по-настоящему стоящее, я соберу все свои предыдущие работы и прекрасно сожгу их на огромном, веселом костре. А если потом нарисую еще лучше, то сожгу и то, что до этого считал стоящим. Мысль эта не нова. Кажется, она принадлежит О.Генри. (И почему все пишут его имя не О.Генри, а О'Генри?). Господи, сегодня вечером у меня все мысли путаются. Да и работы больше, чем обычно. Настроение — хуже некуда. "На небе и земле — извечное мученье..."[1] Откуда эта цитата? "Шропширский парень"? Бессвязно, ничем не лучше Уэллса. Черт, какую же чушь я несу!

Вторник, 16 декабря 1919 года

Последнее вечернее занятие в этом году! Жду каникул, как никогда раньше. Что может быть лучше рождественских праздников! Осталось всего два дня, благодарение Господу. <...>

По-моему, если хочешь, чтобы работа получалась на совесть, посвятить ей надо всю жизнь. И так — во всем. Для дилетантов на свете места нет.

Хэмпстед, пятница, 19 декабря 1919 года

Встал в шесть утра и на такси в Брайтон. Из окна машины поприветствовали Хоув. В ожидании поезда скучать не пришлось, сели в пуллмановский вагон и в 9.30 были на Виктории, где позавтракал — съел невообразимо много. Лондон неописуемо хорош. Как всегда. Поехали домой и после обеда рыскали по шкафам — искали, что бы надеть. <...> После ужина отец с выражением прочел[2] мне первые две главы своей

1. "На небе и земле — извечное мученье, / И спорит с сердцем мысль и отступает прочь..." (перевод Е. Лебедева) — цитата из сборника "Шропширский парень" (1896) английского поэта и филолога-античника Альфреда Эдварда Хаусмена (1859–1936).
2. "Самым явным свойством отцовской натуры было актерство... Такова была его натура, всякую мысль и чувство он немедленно должен был сыграть", — напишет Во в своей неоконченной автобиографии "A Little Learning" (И. Во. Недоучка. — М.: Вагриус, 2005, с. 92–94. Перевод В. Г. Минушина).

автобиографии[1]. Ужасно жалко, что получается она у него такой куцей. Очень сентиментально, но здорово. Хочется надеяться, что эти каникулы порадуют. Прошлогодние были самыми в моей жизни лучшими. Война тогда только кончилась, Алек вернулся, и деньги текли сквозь пальцы, как в 1913-м. Сегодня получили несколько приглашений на ужин — но немного.

Воскресенье, 20 декабря 1919 года

Сегодня утром ходил на выставку Матисса в галерею на Лестер-сквер. Был разочарован. Не могу ничего с собой поделать: его грубые, дурно нарисованные вещи меня не вдохновляют. То ли дело Шеррингем[2] — вот его выставка отличная, не жалею, что пошел. Цвет и форму он чувствует безукоризненно. <...>

Четверг, 25 декабря 1919 года

Нынешнее Рождество — сплошное разочарование. Утром, правда, ходили к великолепной службе в церковь Святого Иуды[3], слушали "Messe Solenelle"[4]. На этом, собственно, праздник кончился... Рождество не удалось. Рождественские праздники, как и дни рождения, с каждым годом становятся все скучнее. Скоро Рождество станет попросту днем закрытых магазинов.

Суббота, 27 декабря 1919 года

После обеда мы с Филом отправились в "Валгаллу" на Thé dansant[5]. Было весело, отличный джаз, thé, правда, был не слишком хорош, но пить можно. Сначала с танцами у нас не ладилось, но потом, попривыкнув друг к другу, стали двигаться в такт. Смотреть, как танцуют танго, — сплошное удовольствие. Вот бы самому научиться. По-прежнему смущаюсь — ничего не могу с собой поделать.

1. Имеется в виду автобиография Артура Во "Путь человеческий" ("One Man's Road").
2. Джордж Шеррингем (1884—1937) — английский художник и сценограф.
3. Имеется в виду церковь Святого Иуды в Хэмпстед-гарден. Под влиянием настоятеля церкви Бэзила Баургера Во одно время собирался стать священником.
4. "Торжественная месса" (*франц.*).
5. Вечеринка с танцами (*франц.*).

Среда, 31 декабря 1919 года

Утром долго гулял, а потом танцевал в Ист-Хит-Лодж на новогоднем празднике. Танцевал от души. Коротко стриженная девица Маклири танцует средне, зато собой хороша, очень даже.

Четверг, 22 января 1920 года

После обеда ходил с мамой в кино на довольно унылый фильм. Вернувшись, переоделись, раньше обычного поужинали и отправились в Сент-Джеймс[1] на "Юлия Цезаря" в постановке Эйнли[2]. Великолепный спектакль. Последние две сцены играли, пожалуй, в чересчур быстром темпе, но все остальное — превосходно. Сцена перед палаткой Брута[3] — выше всяких похвал. Каска появляется очень часто — при чтении его роль казалась мне менее значительной. Строки, касающиеся характера Антония, равно как и сцена, где Октавий рассуждает о Лепиде, в спектакле отсутствуют, что, с моей точки зрения, — вольность.

Понедельник, 2 февраля 1920 года

<...> Во второй половине дня отправился — пренебрегая всеми условностями — на долгую прогулку с Молсоном. Большую часть пути говорили о религии. По-моему, двум шестнадцатилетним парням обсуждать подобные вопросы нелепо, но спор получился ужасно интересным, к тому же, когда облекаешь мысли в слова, мозги здорово прочищаются. До того как мне пришлось отстаивать свою точку зрения, я и подумать не мог, что я такой индивидуалист. До чего же бессознательно формируются наши убеждения! Прелесть споров в том, что узнаёшь не взгляды других, а свои собственные.

Суббота, 14 февраля 1920 года

Сегодня после обеда опять ездил к Кризу[4] — продемонстрировать плоды своей усидчивости. Пронять его, однако, не

1. Имеется в виду лондонский театр "Сент-Джеймс" на Кинг-стрит; открыт в 1835 г.
2. Генри Хинчлифф Эйнли (1879–1945) — английский актер и режиссер; особенно удавались Эйнли роли шекспировских персонажей и прежде всего — в постановках Джорджа Александера (1858–1918).
3. Акт II, сц. 4.
4. У эстета и мистика Фрэнсиса Криза И. Во брал в Лансинге уроки каллиграфии и живописи. Про Криза в дневниковой записи от 28 января Во заметил: "...очень женственный, культурный, манерный и славный; декадент... Я не в восторге от его стиля, но он, безусловно, научить меня может многому".

удалось — разругал меня в пух и прах. Таков вообще его метод: сначала поощрит, а стоит чего-то добиться, хоть немного поверить в себя, — и не преминет указать тебе на многочисленные огрехи. Это обескураживает и немного расхолаживает, но я-то знаю: теперь у меня получается лучше, чем раньше, я многому научился. Разговаривали долго, он раскритиковал мой вкус, сказать же что-либо в ответ на его едкие и справедливые замечания мне было нечего. А впрочем, он был, как всегда, мил — вот только работы мои ему не нравятся. Говорили об искусстве. Хочу попробовать сделать набросок открывающегося из его окна вида — но задача эта мне едва ли под силу.

Среда, 18 февраля 1920 года

Сегодняшнюю службу директор назвал "монотонной, бессвязной, мрачной". Сидевшему рядом со мной Нэтрессу в чувстве юмора не откажешь. Вошел в часовню, уселся и громко, чтобы все слышали, изрек: "Не дождетесь, чтобы я играл в ваши игры!" Сказал и лениво откинулся на спинку скамьи. <...>

Понедельник, 15 марта 1920 года

В воскресенье вечером дорисовал карикатуру на Паттока и продал ее Саутвеллу за четыре пирожка с кремом и четыре почтовых марки по полпенни. Карикатура имела огромный успех, никоим образом не соответствующий своему предмету, расхваливала ее вся школа, в том числе даже Роксберг[1]. Если мои карикатуры будут столь же популярны и впредь, то надо перестать тратить время на каллиграфию и заняться карикатурой всерьез. Буду, по крайней мере, сыт.

Воскресенье, 21 марта 1920 года

"Дилетанты" активизируются. Сегодня мы собирались трижды. Утром состоялась до крайности бестолковая дискуссия политиков, после обеда — неплохая встреча интересующихся искусством, а после службы встречались — и очень успешно — литераторы. На встрече любителей искусства Барнсли прочел свое сочинение под названием "Аполлониада", его он якобы "обнаружил" в библиотеке колледжа. Этот псевдо-

1. Дж.Ф. Роксберг — преподаватель и старший воспитатель в Лансинге; учитель латыни и греческого; пользовался в школе авторитетом.

перевод представляет собой, на что я сразу же обратил внимание, тонкую сатиру на нас, но касается она и всех остальных Дилетантов. Просто поразительно, какие же Дилетанты тупицы, все до одного. Не в бровь, а в глаз. На литературном же сборище Кэрью прочел отличное эссе "Характер Гамлета". Поскольку с пьесой знакомы только мы с ним, дискуссия вылилась в спор между нами, но удовольствие я получил огромное.

Четверг, 8 апреля 1920 года

Во второй половине дня отправился в кафе "Будьте как дома". <...> Обаятельный еврейский умник прочел эссе "Ситуэллизм[1] и поэтический застой" — статью довольно глубокую и бойко, по-журналистски написанную.

Вторник, 20 апреля 1920 года

<...> Обнаружили магазинчик с вывеской "Старые мастера". К раме одной из картин приколото объявление: "Если до конца недели у меня не будет 100 фунтов, эту картину увезут в Америку. Будет обидно, если эта страна лишится такого великолепного портрета, но Guadeamus dum iuvenes sumus[2]. Мне сейчас двадцать лет". Какая прелесть!

Суббота, 24 апреля 1920 года

Очень веселый пикник в Стратфорде у Буллидзов. Взяли с собой все для рисования, но, вместо того чтобы рисовать, отправились смотреть дом с привидениями. Вечером ужинал с тетей Трисси[3] у Буллидзов. Ужин был превосходный, но после ужина допустил одну из самых своих постыдных faux pas[4]. Мадемуазель сидела в стороне и с напряженным видом вслушивалась в наш разговор, пытаясь заучить английские идиомы. Я же, совершенно про нее позабыв, принялся рассуждать о том, какая опасность для всей Европы исходит от французов. Как вспомню, так холодный пот прошибает.

1. Эдит Луиза Ситуэлл (1887—1964) — английская поэтесса модернистской ориентации.
2. Будем веселиться, пока мы молоды (*лат.*).
3. Одна из трех сестер Артура Во; Конни, Трисси и Элси безвыездно жили под Лондоном, в Мидсомер-Нортон, при приходской церкви.
4. Бестактностей (*франц.*).

Четверг, 29 апреля 1920 года

Утром долго гулял с Буллидзами. <...> Вернулись рано: у тети Конни была назначена политическая сходка. Тетя Трисси возглавляет здешних консерваторов, и они с сестрой в перерыве между прениями распивают чай с местными жителями, чтобы заручиться на выборах их голосами. На вопрос, будет ли она голосовать за консерваторов, одна старуха-крестьянка ответила: "Да, мисс, пожалуй что буду. Соседка моя — лейбористка, а ее куры всю мою зелень выклевали". Вот, если вдуматься, от чего зависят министры и министерства. Это и есть настоящая демократия.

Среда, 5 мая 1920 года

С окончанием каникул кончается и тетрадь, в которой веду дневник. Последние страницы своего скупого повествования растягивать не буду; подобно "Жану Кристофу"[1], дневник — та книга, что не кончается никогда. Следующий семестр обещает быть решающим: мы получаем аттестат, а от него зависит очень многое. <...>

Суббота, 8 мая 1920 года

Когда ехал к Кризу, лил дождь, а когда возвращался, ярко светило солнце. <...> В этот раз Криз превзошел самого себя. Чудесно провел у него время. Мои "Розы" он понял досконально; восхищался ими и их же ругал. Предлагает написать двойной портрет язычества: неземной красоты златокудрый Аполлон, трогательно не готовый к мелочности жизни, и — по контрасту с ним — устрашающий лик похоти и распутства. Получится ли? Пили чай из чашек без ручек "Краун Дарби". Потом вновь отправились бродить по холмам, отчего на сердце стало вдруг легко. Что ни говори, а с эстетическим удовольствием физическое не сравнится. Если Лансинг и запомнится, так только благодаря Кризу.

Пятница, 21 мая 1920 года

<...> Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Криза не будет целый месяц, а он здесь — мой единственный друг.

1. "Жан Кристоф" (1904—1912) — роман-эпопея Ромена Роллана (1866—1944).

Впервые за три года соскучился по дому. <...>. Понимаю, как мало все это значит — и в то же время как ужасно много. Все мы плывем по воле волн; цели, которые мы перед собой ставили, давно позабыты. Мы все, в сущности, живем ради каникул и этим вполне счастливы. Однако бывают дни, подобные сегодняшнему, когда мы настолько физически и морально истощены, что не можем не задумываться. А ведь "...только мысль — дорога в ад прямая"[1].

Пятница, 28 мая 1920 года

<...> Читаю "Нового Макиавелли"[2] — нравится мне куда меньше, чем ожидал. Герберт Уэллс помешан на сексе. Сначала от этой одержимости испытываешь шок, потом она начинает действовать на нервы. Равно как и его хладнокровный самоанализ. Завтра, слава Богу, — в Личпоул.

Четверг, 10 июня 1920 года

Завтра наша сборная играет в крикет со сборной Тонбриджа[3]. Нелепое благоговение школы похуже перед школой получше — отвратительно! Среди прочего, нам предписано в субботу утром в присутствии тонбриджцев усердно распевать гимны в часовне. Снобизм — вещь здоровая, но всему же есть предел.

Суббота, 12 июня 1920 года

Мы все либо пишем, либо рисуем наши жизни. Одни рисуют ее карандашами, вяло и робко, карандаш то и дело ломается, и приходится брать другой или же стирать нарисованное, отчего на бумаге остаются грязные пятна. Иные рисуют тушью — твердой, уверенной рукой; их работа часто никуда не годится, нередко выглядит нелепо, смехотворно, но всегда закончена и целенаправленна. Третьи пишут в цвете, краски — яркие, богатые — кладут мощными, размашистыми мазками. У большинства композиция беспорядочная, случайная, главная тема теряется, растворяется в ненужных и бессмысленных деталях. Картина в целом представляет собой запутан-

1. Строки из "Шропширского парня" А. Э. Хаусмена: "Не думай боле: только мысль — дорога в ад прямая".
2. "Новый Макиавелли" (1911) — роман Герберта Уэллса (1866—1946) о политике, оказавшемся в центре сексуального скандала.
3. Тонбридж — мужская привилегированная частная школа в графстве Кент; основана в 1553 г.

ный и бессвязный лабиринт. Но у немногих избранных композиция выстроена и продумана до мелочей. В ней нет ничего лишнего. Все самые незаметные изгибы причудливой конструкции составляют единое целое, "работают" на главную тему, в такой картине слабых мест нет.

Вторник, 15 июня – суббота 19 июня 1920 года

Любя себя, человек создал Бога по своему образу и подобию. Он счел себя безупречным существом — и придумал идеального гения, который мог бы его создать. Он обнаружил, что слаб, — и придумал идеального гения, чьей мощи он мог бы вверить себя и сказать: "Господь — на небесах, и с миром, стало быть, все в порядке". Вот какая мысль посетила меня на днях. <...>

Хотелось бы написать оду "О бессмертии". Могло бы получиться забавно, но я с искушением справлюсь.

Пятница, 25 июня 1920 года

Окончание инспекции "вселяет оптимизм". Было жарко, утро тянулось бесконечно, скоблили полы, пахло "Брассо"[1]. В заключение лорд Хорн произнес речь — олицетворение всего того, что отличает "старую школу". Приятный старикан, настолько искренний, что трудно удержаться от дешевого цинизма. Его речь воспринималась как пародия Алека. Он говорил о значении дисциплины и боевого духа, о мощи ведущих политиков, которыми могут стать лишь те, кто родился истинным джентльменом и учился в закрытой школе. Сообщил нам, что из нас готовят офицеров, напомнил о наших обязательствах перед государством в связи с нехваткой после войны мужского населения. А также о том, чем чревато нынешнее положение в мире и что в любую минуту нас могут призвать сражаться с турками, или с индийцами, или с шинфейнерами[2], или с большевиками, или с валлийскими шахтерами. Речь и впрямь получилась отличной и, в общем, верной — и это притом, что все его идеалы умерли вместе с Пальмерстоном и Дизраэли[3]. Невозможно было не восхищаться его словами о том, что от нас потребуется куда

1. "Брассо" — фирменное название лака для металлических изделий производства британской компании "Рекитт и Коулмен".
2. Шинфейнеры — члены радикальной ирландской политической организации ("Шин Фейн" — букв. "Мы сами"), возглавившей национально-освободительную борьбу против британского колониального господства.
3. Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784—1865) — премьер-министр Великобритании (1855—1858); лидер вигов. Бенджамин Дизраэли (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868-м и в 1874—1880 гг., лидер тори.

больше, чем от его поколения. Ведь они любят рассуждать о том, что в молодости им приходилось делать намного больше, чем нам.

Четверг, 1 июля 1920 года

Дождь — никаких спортивных соревнований. Отправился в библиотеку с благородным намерением как следует поработать, однако подшивка старых "Панчей" благополучно эти намерения развеяла. <...>

Пятница, 13 августа 1920 года

Утром — к моему портному. Костюм превосходен. Лучшего не сшили бы и за 18 гиней в Сэвил-Роу[1]. После раннего обеда ходили с мамой в театр: из последних рядов партера смотрели "Мошенничество"[2] в театре "Сент-Мартин". Места, впрочем, оказались очень хорошие. Впервые вижу такую жуткую пьесу и такую превосходную игру актеров. За ужином отец обронил остроумное замечание. Пока мы ели, наш щенок тоскливо выл в ванной, и отец сказал: "Он несчастлив и хочет нам об этом сообщить. Ну чем не писатель!"

Вторник, 24 августа 1920 года

После обеда мама, Марджори, Барбара[3] и я отправились на фильм по "Крошке Доррит". Очень плохо. В кино Диккенс какой-то неузнаваемо нелепый. Откуда только берутся трясущиеся старики и неисправимые дурни? Да и сценарий тоже совершенно несообразен и безвкусен.

Понедельник, 6 сентября 1920 года

<...> Какая, в сущности, пустая вещь этот дневник! Ведь я почти не записываю в нем что-то стоящее. Все по-настоящему важное лучше, думаю, хранить в памяти; дневник же в основном состоит из "Магазины — утром, кинематограф —

1. Сэвил-Роу — улица в Лондоне, где находятся ателье дорогих мужских портных; название стало нарицательным для обозначения элегантной мужской одежды английского покроя.
2. "Мошенничество" (1920) — пьеса Джона Голсуорси (1867—1933).
3. Барбара Джейкобс, дочь новеллиста Уильяма Джейкобса (1863—1943) — социалистка, феминистка, вышла замуж за Алека Во в июле 1919 г. Барбара посещала лекции по искусству в женском колледже в Риджентс-парке, и Ивлин проводил с ней выходные.

днем". Надо постараться сделать его более...[1]. Но это небезопасно.

Вторник, 19 октября – понедельник 25 октября 1920 года

Дел никаких. Во вторник вечером собиралось наше Общество чтения современных пьес. Читали "Кандиду"[2], время провели превосходно. Решил на каникулах начать писать свой первый роман. Общий план уже намечен: один брат изучает противоречивый характер другого. Мне и в голову не могло прийти, каких трудов потребует роман. Подсчитал, сколько времени уйдет на каждую главу.

Вторник, 26 октября – понедельник, 1 ноября 1920 года

На дневник времени не остается. Все силы трачу на роман — продвигается, в общем, неплохо.

<...> Домой приехал в прошлую пятницу. Наконец-то семья начинает проявлять интерес к моему роману. Алек относится к нему не без ревности, мама боится, что прославлюсь я слишком рано. Отцу нравится. Я же тем временем корплю над ним целыми днями, пытаюсь придать ему хоть какую-то форму. Пока же, по-моему, роман — не более чем набор довольно забавных разговоров. И все же мне кажется, он не плох, не сомневаюсь, что удастся его напечатать. Но сил, черт возьми, уходит масса. <...>

Понедельник, 24 января 1921 года

Привычку вести дневник бросить ничего не стоит[3]. В прошлом семестре, когда я сел за роман и дневником почти не занимался, охота его вести пропала, на прошедших же каникулах решил его и вовсе забросить. Незаконченная тетрадь осталась лежать дома в бюро — записи вялые, необязательные. Но теперь, вновь окунувшись в затхлую атмосферу Лансинга со всеми его взлетами и падениями, стоит, пожалуй, вернуться к дневнику опять.

Вторник, 1 февраля 1921 года

Вечером состоялась встреча Шекспировского общества. Присутствовали в основном аристократы; не считая меня, особ

1. В рукописи зачеркнуто.
2. Премьера мистерии Б. Шоу "Кандида" (1894—1895) состоялась в лондонском театре "Ройял-Корт" 25 апреля 1904 г.
3. "Большинство юношеских дневников наивны, банальны и претенциозны" ("Недоучка", с. 150).

незнатного происхождения было всего двое. Читали по ролям "Лира" — и очень недурно. Миссис Б. блеснула великолепной формой. Действие всех трагедий после реплик вроде "Не дайте мне сойти с ума, о боги"[1] развивается безысходней некуда. После чтения пили чай с пирожными.

Суббота, 5 февраля 1921 года

Футбольный матч в целом прошел "очень славно"[2]. Перед игрой мы все ужасно волновались, болтались по колледжу небольшими трясущимися группками и, чтобы не унывать, рассказывали друг другу похабные анекдоты. Игра с первых же минут пошла очень быстро. Меня, как бывает, когда снится, что со всех ног бежишь за поездом, вдруг охватила какая-то вялость. Должно быть, перетренировался. Играл плохо, то и дело упускал мяч. Проиграли 2 : 1. Хейл, Стретфилд и Бутби играли хорошо. После матча съели с Мэлловеном по огромному бутерброду, напились чаю и весь вечер без дела провалялись (не вдвоем же) в постели.

Пятница, 11 февраля 1921 года

Чем больше я узнаю Лансинг, тем больше убеждаюсь, что наше поколение — то есть все те, чей возраст колеблется между возрастом Фулфорда и моим, — поколение исключительное. Надо будет как-нибудь попробовать разобраться, чем эта исключительность объясняется. Думаю, во многом — войной; впрочем, последнее время меня не покидает страх, что из колледжа мы уйдем бесследно. Боюсь, что "система", как назвал бы порядки в Лансинге Криз, сильней, чем мы. Дилетантизм, который всех нас отличает прежде всего, с нашим уходом наверняка исчезнет, но вот озорство, наша сильнейшая черта, передастся тем, кто придет после нас. <...>

Вторник, 15 марта 1921 года

Конфирмация — нет ничего абсурднее. Никогда раньше не замечал, какая в этом церковном ритуале таится угроза. Несколько маленьких, перепуганных детей, разодетых, как на рисунках Дюлака[3], в окружении угрюмых и грозных настав-

1. "Король Лир". Акт I, сц. 5. Перевод Б. Пастернака.
2. И. Во занимался разными видами спорта: входил в команду "дома" по футболу, боксу, плаванию и бегу.
3. Эдмон Дюлак (1882—1953) — французский художник-иллюстратор.

ников и настоятелей дают клятвы, которые никогда в жизни не сдержат. Хотя бы этот ужас меня здесь миновал[1]. Выиграл забег на четверть мили.

Суббота, 26 марта 1921 года

Бег с препятствиями. Пришел третьим с конца. <...>

Суббота, 2 апреля 1921 года

Пишу в 10.55 у себя в комнате, прежде чем засесть за поэму. Хочу попробовать научиться работать по ночам. Во-первых, это распаляет воображение, во-вторых, это единственное время, когда в колледже воцаряется полная тишина. Думаю, что научусь, ведь ночь для работы лучше дня. Пишу уже вторую ночь подряд. Прошлой ночью продержался полтора часа. Сегодня надеюсь поработать столько же, а во вторник — еще дольше. Завтра кучу в "Опере нищих". Сегодняшний и вчерашний дни ничем не примечательны. Вчера после обеда ходили с Бобби на отличный спектакль в "Столл"[2]. Мне Бобби ужасно нравится, хотя он тугодум и болван. Сегодня ходил в Гильдию святого Августина на лекцию отца о женщинах Диккенса. Лекция хорошая, но отец неисправим — рисуется, как обычно.

Когда идешь по центру Лондона, вдруг охватывает желание пуститься бежать со всех ног. Точно так же и меня, ни с того ни с сего, охватило непреодолимое желание писать прозу. Часа два в раздумьях грыз перо — и не засну, пока что-нибудь не надумаю. Выражать мысль спенсеровой строфой все равно, что писать картину на обрывках бумаги, а потом приставлять один обрывок к другому, как будто это паззл.

Ничего не получается. Сочинил всего-то полдюжины стихов, и почти все — полная чушь. Рифмую бог знает как.

Воскресенье, 10 апреля 1921 года

Похоже, что договоренность с забастовщиками[3] может все-таки быть достигнута. Они, вероятней всего, увидели, что вся страна против них, и испугались.

1. Конфирмация Во состоялась в церкви Святого Иуды.
2. "Столл-тиэтр" — лондонский театр на Кингсвей. Открыт в ноябре 1911 г. как оперный театр; в дальнейшем в нем ставились главным образом ревю и пантомимы. В 1916 г. "Столл" был перекуплен театральным менеджером Освальдом Столлом (1866—1942), который превратил театр в кинотеатр.
3. Речь идет об общенациональной забастовке шахтеров, продолжавшейся с апреля по июль 1921 г.

Накропал еще пару строф в своей конкурсной поэме. Никакого удовольствия от нее не получаю.

Понедельник, 18 апреля 1921 года

Опять пишу ночью. На эссе убил никак не меньше двух часов. Выбрал тему "Деньги", мне есть что сказать на этот счет, но получается неважно — отсыревший фейерверк. <...> Пора спать — холод собачий.

Суббота, 23 апреля 1921 года

Неделя получилась хуже некуда. Сегодня вечером удалось, слава Богу, отделаться от родственников и пойти потанцевать. Отец все каникулы вел себя чудовищно глупо. Поразительно: чем больше я узнаю отца, тем больше ценю мать. Мне кажется, я нахожу в нем все новые и новые черты и сознаю, что мама-то знает о них давным-давно. Удивительная она женщина.

Вчера вечером ходили на "Бульдога Драммонда"[1]. Был во второй раз — но понравилось не меньше, чем в первый.

Понедельник, 13 июня 1921 года

Как я и ожидал, премия "Скарлин" досталась мне. Жаль Сэнгера — он не занял даже второго места. Как бы то ни было, три фунта не помешают. И эссе, и поэму хочется, однако, завершить.

Пьеса[2] пишется недурно, но не так хорошо, как бы хотелось, — спектакль ведь уже совсем скоро. В субботу вечером мы с Гордоном распечатали приглашения, и я перед сном их разослал. Приходят ответы, приглашения приняли все, кроме Вударда. По-моему, он меня недолюбливает.

Мейнелл прислал мне предложение ее напечатать. Я ответил, что распродать экземпляры не смогу, но за предложение очень ему благодарен. Он показал пьесу Сквайру, который может пристроить ее в "Меркьюри". О таком я не мог даже меч-

1. Спектакль по триллеру Германа Сирила Макнила (1887—1937), создавшего под псевдонимом Сапёр образ бывшего армейского офицера, бестолкового силача Бульдога Драммонда, сражающегося с международными террористами.
2. Речь идет о пьесе Во "Обращение" — "трагедии юности в трех бурлесках". Бурлеск I: "Школа, как ее видят тетушки — старые девы". Бурлеск II — "Школа, какой ее видят современные писатели". Бурлеск III — "Школа, как она есть".

тать. Тем не менее из дружеских чувств он бы это сделал, вот только боюсь, что такой, как он, мастер пародии, начнет с того, что изучит ее досконально.

Всего за несколько недель я перестал быть христианином (тоже мне, сенсация!); за последние два семестра я превратился в атеиста во всем, кроме мужества признаться в этом самому себе. Я уверен, это ненадолго, и не слишком по этому поводу тревожусь — вот только с Лонджем мы разошлись. Не мог себе этого представить. Знай я, что этим кончится, поверил бы во все что угодно, ведь он — один из тех, ради кого стоит здесь находиться. <...>

Воскресенье, 26 июня 1921 года

В настоящее время, что бы я ни делал, я говорю: "Через три года я полностью утрачу к этому интерес", но ведь в конечном счете наступит время, когда окажется, что делать я в состоянии чуть меньше, заглядывать вперед — чуть хуже. Тогда мышцы станут дряблыми, зрение затуманится, мозг ослабеет. Я утрачу хватку, мне станет труднее концентрироваться, чувства и память утратят былую остроту. А между тем всегда с победным видом говорят, что душа — средоточие нашей личности — останется, несмотря ни на что, неизменной. Боже правый! Я не требую от жизни многого, если я что и требую, то лишь от себя самого, — но тут я считаю свое требование законным. Когда Ты заберешь у меня мои тело и мозг — забери и все остальное. Не дай моей душе жить, когда все, ради чего она существует, исчезнет. Пусть она ослабеет вместе с телом и пусть с моей смертью умрет и она.

Пьеса ["Обращение". — *А. Л.*] имела в понедельник огромный успех. Ученики приняли ее на ура, куда лучше, чем наставники; наговорили много теплых слов. <...>

Вторник, 19 июля 1921 года

<...> Много думаю о самоубийстве. У меня перед родителями определенные обязательства; не будь у меня родителей, я бы и в самом деле убил себя. "Тот жил хорошо, кто умер, когда пожелал". Прошлой ночью я просидел до часа у окна, сочиняя прощальные письма.

Вот что я написал Кэрью: "Мой дорогой Кэрью, прости, что моя биография получилась недлинной, можешь, впрочем, если хочешь, напечатать ее целиком и даже что-то присочинить. Что бы там ни случилось, присяжные, надеюсь, не вынесут вердикт "в состоянии умопомрачения". Высшее про-

явление тщеславия у живых — воображать, что человек безумен, если он по собственному опыту приходит к мысли, что самое лучшее — не родиться на свет. В настоящее время я нормальнее, чем когда бы то ни было. Возможно, я немного взволнован, как бывает, когда собираешься встретиться с новыми друзьями, зато сейчас я все вижу яснее, чем раньше. Когда умираешь молодым, уносишь в могилу мозги, не затуманенные возрастом. Конкретной причины лишить себя жизни у меня нет. Вовсе не страх потерять родных побуждает меня совершить этот шаг. Речь скорее идет о страхе потерпеть неудачу. Я знаю, кое-что во мне заложено, но я ужасно боюсь, что эти задатки уйдут в песок. Пойми, самоубийство — это ведь на самом деле трусость. Уверен, если у меня есть дар, он себя окажет; если же нет — какой смысл жить. Nox est perpetua una dormienda[1]. Не вешай носа. *Ивлин*".

А вот что — Лонджу: "Понимаю, Джон, моя мягкотелость тебе не по нутру. Верно, веду я себя не по-христиански. Ты здесь единственный человек, который значил для меня чертовски много. Передам от тебя Господу привет, если Его увижу, но мне почему-то сдается, что, если Он твой Бог, Он и без того уже все о тебе знает, а если мой — Ему безразлично. Еще увидимся в лоне Авраамовом. Не сомневаюсь, ты первым проникнешь сквозь вечный мрак, дабы каплей влаги увлажнить мой пересохший язык. Привет. *Ивлин Во*".

Увы, вкус меня явно подводит.

Всемогущество абсурдно. Невозможно быть всемогущим, не будучи всеведущим, а ведь всеведение ограничивает всемогущество. То есть, если знаешь, что произойдет, сделать ничего не сможешь, кроме самого очевидного. Знание контролирует действие и ограничивает возможности. Но, как сказал Добсон, в действиях человека, если он всемогущ, логика напрочь отсутствует. <...>

Воскресенье, 24 июля 1921 года

<...> В этом семестре мне действительно сопутствует успех, однако и неудачи подстерегают на каждом шагу. Все, чего я добиваюсь, ко мне приходит второсортным, утратившим товарный вид. Лондж и Хейл, единственные мои соученики, которых я люблю больше себя самого, предложили мне третьестепенную дружбу с массой несуразностей и недоговоренностей. В качестве старосты я потерпел полное фиаско. Я

1. Нас всех ожидает вечная ночь (*лат.*).

не оправдал доверие Форда — и умыл руки; я то и дело изменял самому себе. Я трудился в поте лица, а отметки в аттестате стоят весьма посредственные. Я вел нездоровую жизнь. Я сделал многое, за что мне теперь стыдно. Вел себя мелочно, глупо, гнусно. В прошлом семестре я был всем недоволен и вел себя по-большевистски[1] — обычная история. В прошлом семестре я подчинил себе всю "скамью"[2]. И распустил соучеников. Когда же нарушения дисциплины перешли все границы, я вмешался; кончилось же все постыдной капитуляцией руководства. Когда семестр начался, на моей стороне было всё — я же вел себя бестолково и безынициативно; ко мне относились с симпатией, но без уважения. Я оказался в тени Форда и "небожителей".

В этом семестре Форд и "небожители" покидают колледж. В сентябре все будет совсем по-другому. А пока придется держать себя в узде. Моя цель — Оксфорд и Париж. Работать буду с утра до ночи, получу стипендию, хочу основать порядочный дискуссионный клуб и отличный журнал, который должен понравиться благонравным старшекурсникам. Перспектива — хуже не бывает; уж лучше жариться в преисподней.

Хэмпстед, воскресенье, 7 августа 1921 года

<...> Утром — в Национальную галерею. По-моему, Лонджу понравилось. Мы с Барбарой сделали очередное открытие: леди и джентльмен в чем-то вроде колесницы. Типичный английский восемнадцатый век — прелесть! Перекусили в "Грейвзе": мус из лососины, безе и кофе со льдом, и отправились в Блумсбери смотреть греческую скульптуру. Оттуда на Ливерпуль-стрит[3] проводить Лонджа. Потом — в кино, а после ужина в "Куинз"[4] на Шоу. Великолепно. Сначала показали чудесную неприличную сценку из Шницлера[5], а потом "Смуглую леди сонетов" и "Разоблачение Бланко Поснета"[6]. Всё выше всяких

1. Во и несколько его друзей получили в колледже за несговорчивость и агрессивность прозвище "большевики".
2. В соответствии с иерархией колледжа, в "скамью" входило восемь ответственных за каждый "дом".
3. Один из лондонских железнодорожных вокзалов.
4. В лондонском театре "Куинз" на Шафтсбери-авеню, открывшемся в октябре 1907 г., поначалу ставились в основном музыкальные пьесы, однако в дальнейшем репертуар театра стал классическим: Шекспир, Шеридан, Шоу.
5. Артур Шницлер (1862—1931) — австрийский драматург и прозаик.
6. "Смуглая леди сонетов" — одноактная пьеса Б. Шоу, написанная в 1910 г. по просьбе Шекспировского общества. Одноактная пьеса "Разоблачение Бланко Поснета", жанр которой Шоу определил как "проповедь в форме жестокой мелодрамы", написана в 1909 г.

похвал. Шоу в своем роде недосягаем. (Замечание тривиальное. Прошу будущего редактора это замечание при публикации выбросить.)

Сегодня утром — в церковь, где думал о богохульном видении Страшного суда, о чем еще напишу. После обеда с Барбарой — к Баррету. Надо снова садиться за историю[1]. Или я получу стипендию, или буду проклят. Или — и то и другое.

Понедельник, 22 августа 1921 года

<...> Отец, мама, я и миссис Марстон ходили в "Столл" на новый фильм Чарли Чаплина "Малыш". Остался, по правде сказать, разочарован. Слишком броско и сентиментально. Больше всего Чаплин мне понравился в привычной роли эдакого сорванца — как в его старых фильмах. Сцена, где он дерется кирпичом, смешней некуда...

Среда, 24 августа 1921 года

<...> Занимались с утра до вечера. В воскресенье во второй половине дня поехали в Кентербери. Город понравился, а вот собор разочаровал. Авторитет епископа оставляет желать лучшего. В собор нас не пустили, заявив, что идет служба. Мы вернулись через полчаса; собор был закрыт — служба кончилась. Дважды выкупались и несколько раз обошли окрестные деревни. В следующее воскресенье побывали на чудесной службе в церкви Святого Николая. Осмотрели старую церковь и увидели поблизости коттедж со смешной маленькой пристройкой. Прочли объявление на двери:

Господне благословение хлеба в 11. Проповедь Евангелия по субботам в 6 вечера. Посетителям всегда рады.

Молсон тут же решил, что надо пойти. Мы немного опоздали и вошли в уютную комнатку с низким потолком, стульями с красной выцветшей обивкой и Священным Писанием на столе. За столом, вместе с проповедником, сидело человек десять. Они по очереди читали какой-то отвратный гимн, а потом хором его распевали. Никогда не слышал, чтобы пели подобным образом, да еще так громко; Господь — их Господь — наделил собравшихся совершенно уникальной способностью не слышать самих себя. Затем один из них прочел молитву:

1. На оксфордскую стипендию Во планировал сдавать историю.

"Отец наш, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для нас, за то, что не обходишь нас своей милостью. Благодарим Тебя за то, что Ты объединил нас, и мы молимся за всех, кто, как и мы, собрался сегодня вместе. И за то, что Ты прислал сына своего Иисуса спасти нас..." — и в том же духе еще минут десять. А потом снова запели гимн, который, как и в первый раз, сначала хором прочли. Молсон покатывался со смеху, я же сдерживался изо всех сил. Потом они прочли главу из Библии, после чего принялись обсуждать каждый стих в отдельности. Наиболее вдумчивыми показались мне два главных человека: некий мистер Коул и пастор. На то, чтобы мыслить последовательно, остальные были явно неспособны. Молсон счел возможным вступить с ними в спор и отпустил какое-то дурацкое замечание, над которым они надолго задумались. По счастью, он рассмеялся, и вопросов больше не последовало. Потом они запели опять. Когда молитва подошла к концу, пастор подошел и заговорил с нами. Сразу видно, к посетителям они не привыкли. <...>

Лансинг, суббота, 17 сентября 1921 года

В пятницу собрался было ехать к Фулфорду, но в результате лихорадочного обмена телеграммами поездка отложилась, и вместо Бэри мы с отцом отправились в "Столл". Посмотрели два на редкость удачных фильма — даром что английских. В Бэри же — на следующий день.

Семейство Фулфорда состоит из четырех человек. Каноника — добродушного, обходительного дурака. Миссис Фулфорд — добропорядочной, старомодной женщины, от чьих способностей к игре в бридж впору было на стену лезть; доверять женщине в бридже не менее опасно, чем в любви. Брата, показавшегося мне большим чудаком. И хорошенькой, хрупкой, робкой сестренки по имени Моника. Я приехал с расчетом в нее влюбиться — но Бог миловал. Живут они неподалеку от Бэри в чудесном старом доме приходского священника; часть дома строилась при Эдуарде I, часть при Генрихе V, во всем же остальном здание георгианское. Внутри сплошные лестницы. В первый день ощущалась нехватка воды: три из четырех имевшихся в наличии колодца высохли, а четвертый работал всего несколько минут в день. Кормили отменно. По вечерам, кроме воскресенья, играли в бридж. Воскресенье соблюдалось в полном согласии с традицией. Ощущалась традиция во всем: жители деревни играли на зеленых лужайках в "кольцо" со Страстной пятницы до сбора урожая. Каждый вечер, примерно в половине десятого, в гостиную вместе с кофе

вносили будильник для слуг, вручали его канонику, и тот торжественно его заводил, после чего возвращал служанке. У служанок были необычные имена вроде Бэсси и Рейчел. Единственный недостаток трогательного домашнего уклада: в их доме нельзя было не чувствовать себя существом чужеродным. Все разговоры за столом касались исключительно местных новостей, и слушать их было нестерпимо скучно. <...>

Воскресенье, 16 октября 1921 года

<...> Сегодня послал отцу кое-какие официальные бумаги, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Дал ему знать, что уже одна мысль о том, чтобы задержаться в Лансинге еще на семестр, внушает мне ужас и что если я не получу стипендии, то готов ехать учиться в Оксфорд за минимальную плату. Попросил у него также разрешения найти в Лондоне работу с Рождества до экзаменов.

Этот семестр мне ненавистен — как ненавистен самому себе я. Удивительно, что Лонджу еще хватает терпения меня переносить. От бесконечного сидения за учебниками нервы у меня расшатались окончательно. Веду себя, как последний хам, — в чем отдаю себе отчет. И деру нос — в соответствии с тем положением, какое занимаю в колледже; хуже всего то, что проникся официальным духом. Если же все мои старания пойдут насмарку и стипендии мне не дадут — возненавижу себя окончательно.

Сам толком не знаю, чего хочу. Знаю одно: при создавшемся положении здесь мне больше делать нечего. Уж лучше, как Фулфорд или Нэтресс, идти учителем в начальную школу.

Для всех, кому все до смерти надоело, мы с Кэрью создаем Клуб мертвецов. Президентом клуба буду я.

Среда, 19 октября 1921 года

Я помилован. Вчера вечером получил ответ от отца. Сочувствует и согласен, чтобы я ушел в этом семестре и либо ехал прямо в Оксфорд, либо во Францию. Настроение заметно поднялось. Но чтобы заработать стипендию, трудиться придется до умопомрачения. Оценить свои шансы я совершенно не в состоянии. Чувствую только, что, если стипендию получу, буду абсолютно счастлив; если нет — глубоко несчастен. Логики в этом рассуждении явно маловато.

Клуб мертвецов процветает. Решили, что члены клуба будут носить в петлице черную шелковую ленточку. <...> Во что превратился мой почерк! Последние несколько дней совер-

шенно бессмысленны. Вчерашнее заседание Шекспировского общества — скучней некуда. Уходить — самое время. Не уйду — окончательно замкнусь в себе или, чего доброго, влюблюсь черт знает в кого.

Воскресенье, 30 октября 1921 года

Еще один беспросветный день. Довольно славный новый пастор — ножки тоненькие и кривые. Распеваем в духе церковного гимна: “Сколь же прекрасны ноги твои, о проповедник Святого Евангелия!” <...>

Пятница, 11 ноября 1921 года

Пребываю в тоске — как обычно. Вчера какая-то мелкая сошка из Оксфорда вернула мое заявление: неправильно, дескать, составлено, к тому же от кандидатов на стипендию по истории требуется знание двух языков. Будем надеяться, что это не более чем сатанинская секретарская шутка. В противном случае сдавать на стипендию — пустое дело: французский язык — в том виде, в каком он у меня сейчас, — постыдный фарс, не более того. <...> Отец отказывается обсуждать мои планы на ближайшие полгода. Жизнь меж тем скучна и невыразительна.

Сегодня утром состоялось двухминутное молчание в память о погибших за родину. Во второй половине дня будет торжественная линейка. Здесь я зря трачу время — на этот счет у меня ни малейших сомнений. Интереса к истории у меня по-прежнему никакого. Академическая карьера не для меня. Не уверен даже, что мне так уж нужен Оксфорд. Но ничего не попишешь — обратного пути нет.

Понедельник, 21 ноября 1921 года

<...> На днях произошел забавный случай, лишний раз подтвердивший, *какáя* у меня в колледже репутация. Ректор отозвал меня из зала, чтобы расспросить о моих премиях и узнать, написал ли я некролог памяти Перси Бейтса[1]. Лондж поинтересовался, что случилось, и я ответил, что меня выгоняют за аморалку. Он, естественно, не поверил, однако не преминул сообщить об этом Дэвису, и тот, приняв сказанное за чистую монету, сообщил о случившемся не только старшеклассникам, но и вообще всему колледжу. “Я, если честно, нисколько не удивился, ожидал, что

1. Перси Бейтс — казначей Лансинга.

нечто подобное рано или поздно произойдет". В результате, последние несколько дней ко мне то и дело подходят соученики со словами сочувствия: "Да, не повезло, старик. И с кем же ты спутался?" Многие поверили, Кэрью в том числе. Мне-то, разумеется, наплевать, просто забавно, ведь жизнь я здесь веду поистине праведную, если не считать, конечно, разговоров. А впрочем, я давно заметил: тот, кто избегает дурных слов, способен на дурные дела.

Среда, 23 ноября 1921 года

Через три недели, если только я не провалился, мне станут известны результаты экзаменов на стипендию.

Из нашей жизни, мне кажется, ушло главное — дружба. Никто, по-моему, не заводит больше настоящих друзей — об увлечениях я не говорю. Если дружба и сохраняется, то единственно в нашей памяти.

Сегодня вечером — стоя, как всегда, на коврике перед камином — Кэрью излил мне душу. Теперь я понимаю: с моей стороны было ошибкой пытаться переделать своих друзей под себя.

Вторник, 6 декабря 1921 года

Сегодня утром в 9.30 сдавал общий экзамен. Мне он понравился — как, впрочем, и всем остальным. Всего сдающих собралось человек пятьдесят-шестьдесят: все как один — разбойники с большой дороги, но разбойники-интеллектуалы. Я отвечал на четыре вопроса. Первый — моя любимая биография. Я выбрал "Бердслея" Артура Саймонса[1] и написал вроде бы неплохо, во всяком случае, довольно живо. Затем, сильно рискуя, ответил на вопрос: "Внес ли XIX век свой оригинальный вклад в живопись и архитектуру?" Исписал страниц пять — в общем, остался собой доволен. Затем последовал каверзный вопрос о Таците — является ли он самым "актуальным" античным автором, а также вопрос о том, "существуют ли темы, совершенно не пригодные для поэзии". На последний вопрос ответ я дал довольно расплывчатый, вылившийся в панегирик Руперту Бруку[2]. В целом же, думаю, впечатление я произвел благоприятное.

1. Артур Уильям Саймонс (1865—1945) — английский писатель-символист, поэт и литературный критик. Биографию художника-иллюстратора и писателя Обри Бердслея (1872—1898) Саймонс опубликовал в 1891 г. на страницах издававшегося им декадентского журнала "Савой".
2. Руперт Чонер Брук (1887—1915) — английский поэт, драматург, известен как "национальный военный поэт".

С переводом с листа Ливия я справился, но не более того — впрочем, это ведь еще только предварительный экзамен. Сегодня вечером переводим с французского — и тоже с листа. Вот где будет комедия! А завтра начнется самое серьезное: английская история и эссе.

Лансинг, суббота, 10 декабря 1921 года

Прошлая неделя выдалась самой в моей жизни счастливой. Как я сдал экзамен, мне, правда, пока неизвестно. Не буду удивлен, если я получил положительный балл, или огорчен, если провалился. Французский текст я переводил лучше, чем ожидал, а английскую историю ответил и вовсе неплохо. Мне попались английская Реформация и младший Питт[1]. Хуже всего получилось эссе — тяжеловесное, многословное, претенциозное. Viva[2] сдал превосходно. Гоняли меня по сельскому хозяйству XVIII века, но при этом были со мной очень обходительны, я же, по-моему, — умен. <...>

Четверг, 15 декабря 1921 года

Сегодня утром, спустившись к завтраку, обнаружил на столе два письма из Оксфорда. Одно — официальное, где сообщалось, что я получил Хартфордскую стипендию[3] в сто фунтов. Другое — частное, в котором содержалось поздравление от проректора[4]. Нельзя сказать, чтобы оно меня очень уж порадовало. Сей милый человек писал, что стипендии я удостоен главным образом за умение хорошо писать по-английски и что общий экзамен и английскую историю я сдал лучше всех, а европейскую — хуже всех.

Очень унылый день тут же превратился в самый радужный. Все меня от души поздравляли. Брент-Смит написал мне письмо. Лучше всего то, что теперь я могу уйти с чистой совестью. Сто фунтов на земле не валяются. <...>

Один из самых трогательных комплиментов сделала мне миссис Невилл-Смит, с которой я ни разу раньше не разговаривал. Мы встретились вечером на лестнице. “Поздравляю

1. Уильям Питт-младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании (1783—1801), лидер так называемых новых тори.
2. Viva voce — устный экзамен (*лат.*).
3. И. Во и его родители долгое время колебались, на стипендию какого оксфордского колледжа подавать — в престижный Нью-колледж или в Хартфорд.
4. Проректором и преподавателем истории Хартфордского колледжа был С. Р. Кратвелл (1887—1941), ставший в 1930 г. ректором. Отношения между Кратвеллом и Во не сложились.

вас со стипендией, Во. Теперь вы можете, я полагаю, немножко расслабиться. И все остальные — тоже". <...>

Двадцатые годы[1]

Хэмпстед, суббота, 21 июня 1924 года

В двенадцать ночи, если память мне не изменяет, оказался в комнате бедного Майкла Лерой-Болье в Бейллиоле[2]. Бóльшую часть вечера он провел в слезах — его до смерти напугал Питер, разбив у него на глазах тарелку. Народу набилось столько, что дышать было нечем. После двенадцати остались только выпускники Бейллиола — мертвецки пьяные. Пирса Синотта уложили в постель, и около часа ночи Бенуа и Патрик Балфур спустили меня на веревке из комнаты Ричарда. Выбрался через туалеты в Нью-Куод, что не могло не сказаться на состоянии моего костюма, и проспал несколько часов.

После безумного утра, чехарды бутылочных этикеток и таксомоторов, в 1.45 очутились в вагоне-ресторане[3], за соседним столиком — бедный Брайен Хауард[4]. Ничего съедобного, кроме хлеба с сыром, не нашлось, зато выпили шерри, шампанского, много чего еще покрепче, выкурили по сигаре — и вышли на Паддингтонском вокзале с твердым ощущением, что перекусили отлично.

Родители в прекрасной форме. Отец с увлечением рассказывает, где они побывали во Франции; обнаружил непристойность на гобелене в Байё, отчего пришел в восторг.

Понедельник, 23 июня 1924 года

<...> Заказал себе новую трость — главное событие первой половины дня. Хотелось по возможности приобрести похожую на старую, но другой такой красавицы не нашлось, да и неприлично было бы ходить с точно такой же. Та, которую я выбрал, — тоже из английского дуба, но полегче и подлиннее. На набалдашнике маленькая золотая пластинка размером с шиллинг с выбитыми на ней моими именем и гербом. Будет, ду-

1. Во поступил в Хартфорд-колледж в январе 1922 г. и проучился там до лета 1924-го, однако оксфордский дневник писателя не сохранился.
2. Имеется в виду Бейллиол-колледж, один из старейших в Оксфорде; основан в 1263 г.
3. С приятелем Во по Оксфорду Джоном Сатро (р. 1904), основателем "Оксфордского железнодорожного клуба".
4. Брайен Хауард — знакомый Во по Оксфорду; член Буллингтонского клуба; пьяница, гомосексуалист.

маю, иметь успех. Дома меня ждала телеграмма от Аластера[1]: звал поужинать в "Превитали". Отменно поели и отправились, заходя по пути в пабы, на набережную, а потом тем же путем обратно в "Кафе Ройял". <...>

Четверг, 26 июня 1924 года

Ничего, сколько помню, не делал.

Воскресенье, 29 июня 1924 года

Ходили с Аластером в эмигрантскую церковь на Бэкингем-Пэлес-роуд. Русская служба понравилась необычайно. Священники скрывались в маленькой комнатке и изредка появлялись в окнах и дверях, точно кукушка в часах. Им принесли огромное блюдо сдобных булок и привели целый выводок маленьких детей. Все это время хор, тоже где-то припрятанный, распевал что-то заунывное. Длилась служба бесконечно долго. В одиннадцать, когда мы пришли, она уже была в самом разгаре, а в 12.30, когда уходили, конца еще не было видно. Собравшиеся — в основном изгнанные из России великие князья и странного вида жалкие женщины, якобы любовницы императора, — молились с большим чувством. Мне запомнился бедный старик в изношенной офицерской шинели. <...>

Понедельник, 30 июня 1924 года

Убили с Аластером уйму времени на магазины, пошли к архитекторам[2], где были с нами очень милы. Обедали в "Превитали", взяли в долг 1 фунт у Чепмен-энд-Холла[3], а во второй половине дня нас занесло на Выставку империи в Уэмбли[4]. Отправились во Дворец искусств, где сначала погрузились в нескончаемый кошмар колониальной живописи, но потом, выбравшись из него, попали в залы, обставленные прелестной старинной мебелью. Зал 40-х годов прошлого века обставляли преподаватели Аластера. Лучшим же, по-моему, был зал Уильяма Морриса[5]. Раз-

1. Аластер Грэм — ближайший оксфордский друг И. Во; в доме Грэма в Барфорде писался первый роман Во "Упадок и разрушение".
2. Имеется в виду Бартлеттская школа архитектуры, где в это время учился Аластер Грэм.
3. Так Во называл отца, работавшего в этом издательстве.
4. В лондонском районе Уэмбли, где теперь находится олимпийский стадион, в 20-е гг располагалась Выставка достижений доминионов и колоний Великобритании.
5. Уильям Моррис (1834—1896) — английский художник-прерафаэлит, писатель, теоретик искусства.

глядывал скульптуру — и всем сердцем хотел стать скульптором, потом ювелирные украшения — и хотел стать ювелиром, а потом всякого рода нелепые вещицы, выставленные во Дворце промышленности, — и ужасно захотелось посвятить жизнь изготовлению подобных вещиц.

А потом произошла удивительная вещь. Примерно в 6.30 мы выпили, после чего отправились в индийский театр. Полюбовавшись на редкость беспомощными тибетскими танцорами и каким-то бородатым, который показал несколько самых незамысловатых фокусов, из тех, что способен показать на детском празднике любой говорящий на кокни фокусник-любитель в маскарадном костюме. Из шатра вышли крайне разочарованными. И только обнаружив, что уже восемь и мы оба опоздали, каждый на свой званый ужин, убедились в недюжинных магических способностях смуглого человека с бородой. По счастью, когда я явился к Болдхэду, все уже крепко набрались. Выпив все, что еще оставалось, я очень скоро почувствовал, что не отстаю от остальных, чему не мог не порадоваться. <...>

Суббота, 5 июля 1924 года

Ходил на утренний спектакль "Святой Иоанны"[1]. Вконец обеднев, вынужден был подниматься на галерку, где сначала простоял в длинной очереди, а потом сидел на местах, неудобней которых не бывает на всем белом свете. Пьеса, впрочем, очень хороша, а костюмы — куда лучше тех, на какие всегда был способен Рикеттс. <...>

Воскресенье, 6 июля 1924 года

Встали поздно и отправились в Вестминстер на проповедь Рони Нокса[2]. Собор заполнен был до отказа, и пришлось стоять в боковом пределе. Проповедь очень забавна. Обедал tête-à-tête с Гвен Оттер; принесла с собой сборник неизвестных мне статей Уайльда: его предисловие к стихам Реннелла Родда и переписку с Уистлером[3]. "Вульгарность, мой дорогой Джеймс, начинается дома и закончиться должна там же". <...>

1. "Святая Иоанна" — пьеса Б. Шоу о Жанне Д'Арк; впервые поставлена в декабре 1923 г. нью-йоркским театром "Гилд" в помещении лондонского театра "Гаррик".
2. Рональд А. Нокс (1888—1957) — церковный деятель, богослов и писатель; друг И. Во, посвятившего ему книгу "Жизнь преподобного Рональда Нокса" (1959).
3. Джеймс Уистлер (1834—1903) — американский художник, близкий к французским импрессионистам.

Помчался домой переодеться — и в "Корт"[1]. Пьеса Ричарда Хьюза[2] чудовищна. Оттуда — на вечеринку к миссис Джеффри Уинтворт, где пришлось спектакль расхваливать. А оттуда — к Элзе в ночной клуб[3], где Эрнест Милтон играл в пьесе Пиранделло "Человек с цветком на губе". Великолепно — не то, что жалкое бормотание в "Корте". Был Г. Дж. Уэллс; искусственное дерево, упавшее со сцены ему на голову, чуть было не лишило его жизни.

Понедельник, 7 июля 1924 года

Пробудившись, обнаружил, что нахожусь на Эрлз-тэррес[4] и что 6.30 утра. Пришлось вновь влезать в вечерний костюм и тащиться понурым утром домой в Голдерс-Грин. Умылся, переоделся — и к дантисту: обращается со мной безжалостно.

Пятница, 11 июля 1924 года

<...> Утром явился Крис и рассказал отличную историю. Слушалось дело о мужеложестве, и, усомнившись в справедливости своего решения, судья Филмор решил проконсультироваться у Беркенхеда[5]. "Простите, милорд, не могли бы вы сказать мне... Сколько, по-вашему, следует дать мужчине, который позволил себя... поиметь?" — "От 30 шиллингов до 2 фунтов — сколько найдется в кармане". <...>

Хэмпстед, понедельник, 1 сентября 1924 года

Почти весь день вел дневник. После обеда — в кино. Дал себе *зарок* — не ходить в кинематограф на что попало.

Воскресенье, 7 сентября 1924 года

По-прежнему тружусь над "Храмом"[6]. Подозреваю, что закончен роман так и не будет.

1. То есть в театр "Ройял-Корт".
2. Ричард Артур Хьюз (1900—1976) — английский поэт, драматург, прозаик; автор приключенческой литературы для детей.
3. Киноактриса Элза Ланчестер в 20-е гг. содержала ночной клуб "Пещера гармонии" на Шарлотт-стрит в Лондоне, описанный в романе Олдоса Хаксли (1894—1963) "Шутовской хоровод" (1924).
4. Алек Во жил в Кенсингтоне, на Эрлз-тэррес, 22.
5. Фредерик Беркенхед (1907—1975) — выпускник Оксфорда; политик, общественный деятель, литератор.
6. В дневниковой записи от 21 июля 1924 г. говорится: "Вчера вечером начал 'Храм под соломенной крышей' и написал с десяток страниц первой главы".

Вторник, 9 сентября 1924 года

В доме появилась некая Эмма Рейбен, единокровная сестра матери, отчего жизнь сразу же сделалась совершенно невыносимой. Не могу ни писать, ни думать, ни есть — так ее ненавижу.

Вчера из-за настойчивости матери подвергся тяжкому и унизительному испытанию — был сфотографирован. В офисе на Нью-Бонд-стрит под вывеской "Свейн" предлагалось сфотографироваться бесплатно. Худшей фотографической конторы не сыскать, думаю, во всем Лондоне. Сначала пришлось полчаса ждать в приемной с гигантскими снимками королевской семьи по стенам. Затем меня завели в студию, где отталкивающего вида человечек из кожи вон лез, чтобы быть со мной поласковей, а двое его подчиненных устанавливали тем временем свою дьявольскую аппаратуру. Ни минуты не сомневаюсь, что фотография получится устрашающей. <...>

Пятница, 19 сентября 1924 года

Сегодня начинаю новую жизнь: бедность, целомудрие, послушание. Мать покупает собаку.

Воскресенье, 21 сентября 1924 года

Материнский пудель и в самом деле обворожителен. Он в центре внимания всей семьи. Сегодня утром вместе с родителями причастился в церкви Святого Олбана. Перед началом церемонии отец суетился и то и дело рыгал.

Последние два дня работал над книгой. Едва ли она очень уж хороша.

Понедельник, 22 сентября 1924 года

Сегодня первый раз ходил в Хитерли. Географию всей школы я пока еще не изучил, но побывал в двух студиях, конторе и коридоре, где вешают пальто и шляпы. В отличие от Слейда[1], атмосфера здесь куда менее официальная, что отрадно. По стенам обеих студий развешены скелеты, картины и доспехи. Мне вручили альбом с папиросной бумагой и (к моему удивлению) карандаш BBB и отправили в студию на первом этаже рисовать худого, абсолютно голого, если не считать сумки на генитали-

1. Слейд-скул (школа Слейда) — художественное училище при Лондонском университете; названо в честь филантропа и коллекционера Феликса Слейда.

ях, мужчину, сидевшего на стуле нога на ногу. Сделал небольшой любительский набросок, за который добросердечный Мэсси меня похвалил. Он — директор школы и, безусловно, не враг бутылки: нос над белой бородкой у него лилового цвета, да и рука дрожит так, что, когда он что-то рисует, мел у него в пальцах крошится. И тогда девушки начинают хихикать.

Девушек здесь полно — в основном это дурно воспитанные гурии в цветастых комбинезонах. Рисуют очень плохо и куда больше интересуются молодыми людьми, те же помешаны на заработке, а потому мечтают об иллюстрациях в "Панче" или о заказах на рекламу. Что-то сомневаюсь, чтобы я с кем-нибудь из них сошелся.

Пообедал в "Превитали", ел минестроне и сыр, ощущая на себе откровенно презрительный взгляд нового официанта, после чего вернулся в школу, где уже началось занятие по "быстрому наброску", — необычайно забавно. Моделью служила совсем еще юная девица с очень изящным телом и выражением лица, какое бывает у Хью Лайгона[1], когда тот мертвецки пьян. Не вертись она, цены бы ей не было.

Рабочий день завершился в четыре часа пополудни.

Вторник, 30 сентября 1924 года

Утром рисовал с таким наслаждением, что после обеда решил в школу не возвращаться. Вместо школы отправился в музей Соуна на Линколнз-Инн-Филдз, где увидел немало интересного. Куратор, судя по всему, больше всего гордится выставленным в цоколе старинным саркофагом, мне же куда больше понравилось освещение в залах, а также такие нелепые экспонаты, как Ковчег Шекспира на втором этаже и Ковчег Английского банка в кабинете. Есть у них несколько подлинных Тернеров и Хогартов; серии "Путь повесы" и "Выборы" подкупают продуманной композицией, но как живопись и та и другая никуда не годятся.

Вместе со мной ходила по музею какая-то пара из доминионов — что он, что она как в воду опущенные. Интересовали их исключительно подписи под картинами. Они прониклись славой Уэмбли, однако, уходя, мужчина обронил: "Как это ни удивительно, но здесь очень много такого, что ничуть не лучше нашего". Чему-то он, стало быть, научился.

1. Братья Хью и Элмли Лайгоны были друзьями Во по Оксфорду и прежде всего — по студенческому "Клубу святош". Хьюго Лайгон — прототип лорда Себастьяна Флайта в "Возвращении в Брайдсхед". Уильям Лайгон (лорд Элмли, р. 1903) был президентом оксфордского клуба "Лицемеры".

В тот же вечер с отцом — на “Горбуна собора Парижской Богоматери”. Пышность, садизм. Засим домой[1]. <...>

Воскресенье, 30 ноября 1924 года

Неделя выдалась тихой: каждый день ходил в Хитерли, вечерами сидел дома. Почти каждый день, не пожалев шести пенсов за вход, посещал Национальную галерею, где мне нравится все больше и больше картин. “Открываю для себя” Веласкеса, Рубенса и Пуссена. Пуссена, впрочем, — в наименьшей степени. <...>

Среда, 17 декабря 1924 года

По-прежнему пишу письма в частные школы, где морочу голову директорам, себя же превозношу. И по-прежнему пытаюсь переделывать “Храм”. Директор школы “Арнолд-хаус” в Денбишире и еще один — из Плимута вроде бы проявили ко мне некоторый интерес — остальные же молчат. В пятницу собираюсь в типографию “Пэр-Три-пресс”. <...>

Среда, 24 декабря 1924 года

Послал Оливии[2] принадлежащий Алеку экземпляр “Ираиса”[3]. Уж не влюбился ли я в эту женщину? Ходил с Теренсом в “Нибелунги”, после чего посадил его на оксфордский поезд. Завтра Рождество.

Рождество 1924 года

Решил отрастить усы — обзавестись новыми туалетами я не смогу еще несколько лет, а ведь так хочется видеть в себе какие-то перемены. К тому же, если мне предстоит стать школьным учителем, усы помогут произвести на учеников должное впечатление. Сейчас я так непристойно молод, что вынужден перестать регулярно напиваться. На Рождество мне всегда немного грустно — отчасти потому, что немногие мои увлече-

1. Аллюзия на часто повторяющуюся фразу из “Дневников” Сэмюэля Пипса (1630–1703), где живо и ярко описаны нравы Реставрации.
2. В 20–30 гг. Во близко сошелся с семьей Планкетов-Гринов, живших в Лондоне, в Холланд-парке. Во был влюблен в восемнадцатилетнюю Оливию Планкет-Грин, общался с ее матерью Викторией и с ее старшим братом Ричардом, мотогонщиком, джазистом, литератором, школьным учителем.
3. “Ираис” — анонимный сборник лесбийских стихов; был напечатан частным образом и небольшим тиражом.

ния приходились, как ни странно, именно на рождественскую неделю; так было с Лунед, Ричардом, Аластером. Теперь же, когда Аластер находится от меня на расстоянии тысячи миль, когда у меня тяжело на сердце и нет никакой уверенности в завтрашнем дне, — всё не так, как было раньше. <...>

Среда, 31 декабря 1924 года

<...> Вчера утром звонила Оливия, пригласил ее позавтракать в баре "Восход солнца". Опоздала минут на двадцать пять. В ожидании пил джин с тоником. Наконец явилась: разодета в пух и прах, туалет совершенно несообразный. Бедные завсегдатаи бара выпучили глаза, перестали сквернословить, впопыхах осушили стаканы и убрались восвояси. Мы же съели по куску пирога с телятиной и ветчиной, выпили джина и запили его бенедиктином. <...> Из частных школ новостей по-прежнему никаких. Сбрил усы, которые начал было отращивать. <...>

Понедельник, 5 января 1925 года

Написал Оливии, что накануне вечером[1] был трезв (неправда) и искренен (полуправда). <...> Пришлось идти пить чай с мистером Бэнксом из школы "Арнолд-хаус" в Денбишире. Оказался высоким стариком с глупыми глазами. Остановился в отеле "Бернерз". Дает мне сто шестьдесят фунтов, за эти деньги мне надлежит целый год учить маленьких детей. Перспектива, что и говорить, незавидная, но в моем бедственном положении — лучше не бывает. Школа, насколько я понимаю, находится в такой глуши, что потратить деньги на что бы то ни было не представляется возможным. Вечером пришел выпить Ричард. У Чепмен-энд-Холла ангина.

Воскресенье, 11 января 1925 года

Купил уродливый джемпер с высоким горлом — выгляжу лет на десять, никак не старше.

В новом джемпере и в самом непроглядном тумане, какой мне приходилось видеть, отправился на завтрак к Гвен Оттер. Дом нашел с большим трудом — на углу Кингз-роуд и Ройял-авеню. Врезался головой в стену, на которой прочел написанное мелом: ТЫ ОМЫЛСЯ КРОВЬЮ АГНЦА? Ужас. <...>

1. Накануне, 4 января, Оливия и И. Во встретились сначала в "Кафе Ройял", потом в ночном баре "Элзи", где Во признавался подруге в любви.

Среда, 21 января 1925 года

В мой последний день в Лондоне мы с Оливией стали друзьями. Она позвонила и сказала, что хочет меня видеть. Ее родители должны были прийти пить чай, поэтому я позвал ее позавтракать. Явилась на пять минут раньше времени и была очень мила. Сидели под книжными полками, и она твердила мне, что я — великий художник и что мне нельзя быть школьным учителем. <...>

Пятница, 23 января 1925 года

"Арнолд-хаус", Лльянддулас, Денбишир. Уложил свои рисовальные принадлежности, одежду, отрывки рукописи "Храма", а также Хораса Уолпола[1], "Алису в Стране чудес", "Золотую ветвь"[2] и еще несколько книг и отправился на вокзал Юстон. Там и в Честере ко мне присоединились небольшие унылые группы учеников в красных фуражках и в слезах. В вагоне они съели немыслимое количество конфет; когда же за вторым завтраком осушили вдобавок кварты имбирного пива и лимонада, можно было поручиться, что кому-то из них в самое ближайшее время станет плохо. Слава Богу, до Лльянддуласа мы доехали без приключений, и, невзирая на телеграммы мистера Бэнкса, поезд на станции остановился. Крошечное такси доставило меня и две сотни чемоданов до места. Стоит школа на такой крутой горе, что испытываешь странное чувство: поднимаешься на третий этаж, выглядываешь из окна — и кажется, будто остался на первом. Внутри три крутых лестницы из соснового дерева, одна выстлана ковром, две другие — нет, и несколько миль коридоров с отполированным до блеска линолеумом под ногами. Имеется учительская, где мне предстоит проводить бóльшую часть времени. В учительской линолеум отполирован еще лучше (или, как шутит Алек, "лучшее"), стены красные, на стенах тошнотворные картины, несколько кресел, из них два — мягких, ацетиленовая газовая горелка, еле горит, камин и проигрыватель. И четыре молодых человека. Одного зовут Чаплин, он учился в Сент-Эдмундс-Холл[3], где жил в одной

1. Хорас Уолпол (1717–1797) — английский писатель, автор готических романов.
2. "Золотая ветвь" (1890–1915) — двенадцатитомный антропологический труд Джеймса Джорджа Фрейзера (1854–1941).
3. Сент-Эдмундс-Холл — колледж оксфордского университета, основан в 1278 г.

комнате с Джимом Хиллом. Чаплин, племянник мистера Бэнкса, обожает Флекера[1]. Из четырех молодых людей он — самый лучший. Второй — Гордон — унылый зануда в пенсне, с учениками не церемонится. Чаплин, Гордон и я живем в домике под названием "Санаторий", куда круто поднимается тропинка, петляющая между кучками навоза, кустами крыжовника и каменными стенами. Имеются в наличии и два новых учителя. Один — очень высокий, величественный и пожилой, зовут Уотсон, учительствовал в Стоу, в Египте. Уотсон — обладатель орлиного носа и шотландского акцента; собирается в скором времени приобрести собственную школу. Другой — новый в школе человек — Дин: очень неопрятен, сиреневый подбородок, бесцветные щеки, говорит на кокни и все время сморкается. Этот хуже всех. У мистера Бэнкса есть жена, своим внешним видом она заметно уступает леди Планкет [леди Планкет-Грин. — *А. Л.*] или миссис Херитедж. Есть у него также женатый сын; самого сына я так и не видел, но не раз слышал в коридоре его голос, и голос мне не понравился. Таковы обитатели моей школы, если не считать целой армии горничных, что суетливо мечутся по коридорам с доверху наполненными мочой ночными горшками. А также — учеников. Пока что встретил лишь нескольких; некоторые на вид вполне славные.

Порядки в школе весьма странные. Нет ни расписания, ни поурочных планов. Директор школы Бэнкс входит в учительскую с отсутствующим видом и говорит: "М-м, вот какое дело... в последней классной комнате на этаже сидят какие-то ученики. Понятия не имею, кто они. То ли историки, то ли четвертый класс, а может, у них урок танцев. С собой у них — непонятно зачем — учебники латыни; было бы хорошо, если бы кто-то из вас провел с ними урок английского".

Тогда кто-нибудь из нас, кому не слишком лень, идет в класс в конце коридора, я же остаюсь в учительской и вырезаю для Оливии гравюру на дереве. Бедный мистер Уотсон из-за отсутствия расписания скрежещет зубами, а меня это вполне устраивает. Сегодня просидел без уроков все утро.

После обеда давал свой первый урок историкам из класса "Б", и рассказывать мне предстояло про Вильгельма и Марию[2]. Ученики ходили на голове, и назвать свой дебют успеш-

1. Джеймс Флекер (1884—1915) — английский поэт, близкий эстетскому движению 80-х гг. XIX в., романист, драматург.
2. То есть про эпоху Вильгельма III (1650—1702) Оранского, английского короля (1689—1702), и его жены королевы Марии Стюарт, пользовавшейся с мужем равными правами.

ным я, пожалуй, не могу. Через три четверти часа перешел в соседний класс “А”, эти ученики, не без посредства несравненного Уотсона, вели себя примерно. Оказалось среди них и несколько очень умненьких ребят, особенно понравился мне мальчик из Гэлуэя. Рассказывал им про Генриха VII и Генриха VIII[1] — то немногое, что знал сам.

Воскресенье, 25 января 1925 года

Вчера утром прозвонил звонок, и все, в том числе и учителя, с шумом и криками заполнили коридоры. Вскоре со списком в руках явился Бэнкс и принялся распределять учеников по классам. Мне учеников не досталось, я спустился в учительскую и до перемены резал гравюру на дереве для Оливии. Когда перемена кончилась, вновь поднялся наверх, и, поскольку Дин проработал все утро, Бэнкс вызвал меня, и я пятьдесят минут изводил четвертый класс латинскими глаголами. После чего перешел в пятый класс и без особого успеха пытался втолковать ученикам, что такое “метр”.

После обеда отправился на прогулку и обнаружил, что помимо моря, железной дороги и каменоломни имеются в этих краях еще и горы. Геологически места здесь исключительно богатые. В Уэллсе все всё время сплевывают; когда вам встречается валлиец, он говорит “борра-да” и сплевывает. Первое время я пугался, но потом привык. Выяснилось также, что валлийцы настолько хорошо воспитаны, что на вопрос: “Эта дорога на Лльянддулас?” — всегда отвечают утвердительно. Эта их вежливость обошлась мне в десятки лишних миль. За чаем я дежурил, ученики вели себя ужасно, и я расстроился.

После ужина отправился в бильярдную, где сидел и думал о том, что сегодня ведь у Ричарда вечеринка. Дин тем временем ухитрился сделать несколько карамболей подряд, а Чаплин — сжевать целый кулек конфет.

Сегодня утром проспал, опоздал в часовню и пришел, когда завтрак уже подходил к концу. Закончил резьбу по дереву и отправился с учениками на унылую службу в местную сектантскую молельню. После обеда повел нескольких очень шумных учеников на прогулку и доигрался с ними до того, что вернулись все с разбитыми коленками.

Думаю, нам предстоят веселые времена: бедный мистер Уотсон стремится наладить дисциплину и готовит бунт про-

1. Генрих VII (1457—1509) — английский король (1485—1509), первый из династии Тюдоров. Генрих VIII Тюдор (1491—1547) — английский король (1509—1547).

тив милейшего Бэнкса. Он только что произнес в учительской страстный монолог на шотландский манер; призывает нас прибегнуть к розгам, дополнительным занятиям и окрикам; ему вторит на своем кокни маленький Дин. Скандала, будем надеяться, не миновать.

Некоторое время назад налил в чайник для заварки молоко вместо кипятка и выругался. Сидевшие рядом два мальчика из младших классов сначала до смерти перепугались, а потом зловеще захихикали.

Понедельник, 9 февраля 1925 года

Сегодня поколотил шлепанцем двух мальчиков — правда, не сильно. Здорово мне досадили. Чтобы поднять настроение, заказал себе новую пару туфель.

Среда, 18 февраля 1925 года

<...> В понедельник узнал, что за страшная штука недельное дежурство. Это значит, что с рассвета до заката у меня не будет времени даже для того, чтобы прочесть открытку или побывать в ватерклозете. Уже во вторник, последний вторник перед Великим постом, мои нервы были напряжены до предела. Вчера побил прелестного мальчишку по имени Клегг, двинул разок мерзкого парня по имени Купер, а Кука отправил к директору. Вчера же, во второй половине дня, у меня состоялся первый урок верховой езды — понравилось ужасно. Вид спорта нелегкий и недешевый, но исключительно приятный. От Оливии ни одного письма.

Вчера в сочинении по истории учащийся Хауарт написал: "В том году Яков II[1] родил сына, однако многие отказывались этому верить и говорили, что сына принесли ему в грелке".

Воскресенье, 15 марта 1925 года

<...> Последнее время ссорюсь с Крэмзи и Персивалем — единственными двумя учениками, которые мне по-настоящему нравятся.

Мистер Бэнкс часто выражает недовольство тем, как я работаю. Допускаю, что основания у него для этого есть.

1. Яков II Тюдор (1633–1701) — английский король (1685–1688).

Уотсон большую часть времени скверно себя чувствует, и обстановка в учительской не самая дружелюбная. Мои усы наконец-то дали о себе знать.

Возникла идея написать книгу о Силене[1]. Как знать, напишу ли? <...>

День святого Патрика 1925 года

Проспал, опоздал в часовню и, спустившись к завтраку, обнаружил в столовой нечто вроде масонского праздника. Все ученики давно встали и, нацепив на себя красные, белые, синие, зеленые и оранжевые розочки и ленты, чем-то напомнили мне майское дерево[2]. Мистер Дин накинул на плечи красную занавеску, отчего вид имел престранный. Мальчики постарше и побогаче нарядились в зеленые рубашки и чулки. Дьявольский карнавал. После обеда состоялся футбольный матч, легкую победу одержали ирландцы. Не дождавшись конца игры, пошел в Колвин-Бей, где местный парикмахер за четыре шиллинга постриг меня и помыл мне голову. Вечером ходили в пивную мистера Робертса, где какой-то евнух научил меня новому валлийскому тосту; тост я записал на конверте, а конверт потерял. Звучит тост так: "За воздержание!" <...>

Среда, 15 апреля 1925 года[3]

В целом, за вычетом постоянной тоски, которую я испытываю из-за неразделенной любви, пребывание на острове доставляет мне удовольствие. Весь день болтались без дела. <...>

Вчера имела место постыдная сцена. После тихого вечера в трактире я побывал на вилле, где проболтал с Элизабет до одиннадцати. По возвращении же стал свидетелем немыслимой оргии. Все напились или притворились пьяными, кроме Х. Она сидела посреди комнаты и была, против обыкновения, совершенно спокойна. Раздетую почти догола... шлепали по ягодицам, а она визжала от восторга. Каждые две минуты она бегала в уборную, а когда возвращалась, все говорили: "И

1. Силен — в греческой мифологии воспитатель и спутник Диониса — веселый, добродушный, вечно пьяный старик.
2. Майское дерево — украшенный цветами столб, вокруг которого в Англии по традиции танцуют 1 мая.
3. С 13 по 18 апреля Во, вместе с Оливией Планкет-Грин, леди Планкет, Ричардом, его невестой Элизабет и небольшой компанией общих друзей, провел на острове Ланди неподалеку от Барнстепла, в Бристольском заливе, где Грины сняли заброшенный маяк.

кто бы мог подумать?!" Все это было очень жестоко. Вид у нее был ужасный: огромные, белевшие в темноте ноги, на ногах кровь, ягодицы порозовели, глаза от желания лихорадочно блестят. Вещи говорит совершенно непотребные — уж не знаю, сознательно или бессознательно — про кровь, про жир; больше же всего меня поразило, что Оливия все это видела. Между собой эти девицы говорят, должно быть, бог знает что. В конце вечера Дэвид распустился окончательно и вел себя совершенно непристойно. Я же лег спать, как всегда, с камнем на сердце.

Суббота, 18 апреля 1925 года

Никак не могу излечиться от любви к Оливии, и это из всего, что было на острове, самое грустное. Быть может, единственно грустное. Мое чувство мучительно для нас обоих. Пока я был в Денбишире, хотелось думать, что люблю я ее лишь как олицетворение всех тех радостей, которых в школе лишен. Но вот я здесь. Теренс за кружкой пива цитирует Канта, Дэвид отпускает бесконечные шуточки про Лесбос и нужники, Ричард носится по волнам в утлых лодчонках и непромокаемых штанах, а леди Планкет на все это безмятежно взирает. Я же, стоит мне оказаться рядом с Оливией, грущу, нервничаю, мне не по себе. А Оливия нисколько не скрывает своего чувства к Тони, отчего мои шансы тают на глазах. Что же до Одри, то свою жизнь она связала с человеком, который, скорее всего, нравится ей не слишком. Аминь. Будь что будет.

"Арнолд-хаус", Денбишир, пятница, 1 мая 1925 года

Вчера прибыл сюда в глубочайшей мрачности, которая отступила лишь под напором беспробудного сна. Наступившее утро, однако, оставило меня один на один с унылой перспективой четырехмесячной ссылки. <...>

Утро вторника, 5 мая 1925 года

Последние три дня пребываю в апатии. Всю эту неделю в школе проходят спортивные состязания, и работы у меня немного. Стараюсь, чтобы то, что неинтересно мне, было точно так же неинтересно и ученикам, отчего испытываю особое, извращенное удовольствие. Из шестого класса в пятый перешла целая толпа сорванцов, которые ничего не знают и знать не хотят; не желают слушать, что им говорится. Целыми днями заставляю их зубрить грамматические определения: "Слог —

это отрезок речи, являющийся естественной единицей речевого потока...” и т. д. — и так ad nauseam[1]. <...> Читаю сборник эссе Бертрана Рассела, который купил на прошлой неделе в “Блэкуэллс”[2]. Одновременно с этим обдумываю парадоксы, заложенные в стремлении к самоубийству и достижению успеха, планирую взяться за еще одну книгу, а также приобрести у Янга револьвер по сходной цене.

Четверг, 14 мая 1925 года

Седьмая часть семестра позади, и, излечившись от отравления кофеином, от которого я последнее время страдаю, могу теперь смотреть в будущее с полной невозмутимостью — и это несмотря на то, что с каждой почтой приходят горы счетов, а Оливия хранит молчание. Янг, наш новый швейцар, не скрывает своих педерастических наклонностей: только и разговоров что о красоте спящих мальчиков. По вечерам мы с Гордоном почти каждый день ходим стрелять галок, однако от этого больше шума, чем кровопролития. На днях купил бутылку портвейна “Доуз” 1908 года. Дин смешал портвейн с лаймом и содой, когда же я предложил ему еще и сахар, сказал, что портвейн предпочитает “сухим”. Эта история не вполне соответствует действительности, но я пересказал ее в таком количестве писем, что сам в нее поверил. Началось “летнее время”, и работы у меня будет меньше. Купил альбом для рисования; теперь, когда у меня в комнате в “Санатории” стало теплее и светлее, собираюсь заняться рисованием всерьез. <...>

Среда, 1 июля 1925 года

Последние несколько недель стало повеселее. Уж не помню, как давно, наверно с месяц назад, Алек написал, что Скотт Монкрифф готов взять меня в Пизу своим секретарем. Я тут же сообщил Бэнксам, что ухожу, Гордона же, Янга и самого себя напоил на радостях в отеле “Куинз”. И до вчерашнего дня жил в сладостном предвкушении года за границей, воображал, как буду сидеть под оливами, пить кьянти и слушать споры всех самых прославленных европейских изгнанников. Я даже увлекся своей работой в школе — ввиду скорого от нее избавления — и самым трогательным образом привязался к нескольким ученикам. Прекратил работу над романом, вто-

1. До тошноты (*лат.*).
2. “Блэкуэллс” — сеть книжных магазинов.

рую половину дня проводил, нежась на солнце с трубкой и кульком конфет, после ужина купался, а по ночам грезил Рисорджименто. Стал даже испытывать теплые чувства к отцу и договорился с ним, что он оплатит мои долги, а денежное содержание впредь платить не будет. Однако вчера пришло сообщение, что Скотт Монкрифф во мне не нуждается. Вот тут-то я и почувствовал, что дошел до точки. Помощи теперь ждать неоткуда. Решил было отправиться с мальчиками на автобусную экскурсию, рассудив, что тем самым привяжу их к себе — по крайней мере, тех учеников, кто мне симпатичен. Думаю, директор не захочет брать меня обратно — даже если я и надумаю вернуться. Рассчитывать, что мой бедный отец будет и впредь давать мне деньги, не приходится. Выражение "дойти до точки" преследует меня целыми днями[1]. <...>

Пятница, 10 июля 1925 года

План с Хит-Маунт провалился — в крикет я не играю. Все здесь пребывают в унынии. Дин действует на нервы директорше и должен уйти, однако места пока найти не может. Отец Гордона при смерти, его мать и сестра остаются без средств к существованию. Янгу кажется, что он постарел, а Чаплину надоел дождь. Что до меня, то на сердце у меня свинец, а по нервам бежит электрический ток. Надеяться мне не на что. <...>

Среда, 5 августа 1925 года

Все утро провел в поисках работы. Коллега Ричарда[2] ищет очередного младшего преподавателя. Вот бы получить это место.

Воскресенье, 16 августа 1925 года

Получил-таки работу в Астон-Клинтон. Забавно, что эта новость пришла в пятницу вечером, незадолго до прихода Ричарда, Элизабет, Оливии и Аластера. По идее, ужин должен был получиться веселым, но почему-то этого не произошло —

1. Об этом времени в автобиографии "Недоучка" Во пишет: "Однажды ночью, вскоре после новостей из Пизы, я в одиночестве спустился к морю, неотступно думая о смерти. Разделся и поплыл от берега. Я действительно хотел утопиться? Безусловно, такая мысль меня преследовала".
2. Ричард Планкет-Грин в это время преподавал в школе в Астон-Клинтон, куда будет принят И. Во.

мне, во всяком случае, было невесело. Я устал, был не в своей тарелке — как, впрочем, и всегда в присутствии Оливии, да и балагурство отца действовало мне на нервы. <...>

Среда, 26 августа 1925 года

<...> Дописал рассказ, который назвал "Равновесие", и отдал печатать. Рассказ необычен, но вроде бы совсем не плох.

Все утро писал письма, почитал Бергсона[1], а в двенадцать поехал на автобусе в Стратфорд — пообедать с Аластером. Зашел к его виноторговцу купить нам с ним рейнвейнского, однако в результате, соблазнившись названием — "Мутон де барон де Ротшильд", купил бордо. Оказалось отличным. Выпили по коктейлю в отеле "Шекспир", после чего пообедали в ресторане "Арден". Потом Аластер отправился к себе в типографию, а я — на "Двух веронцев" — пьеса ужасно глупая. Внутри у театра вид не такой устрашающий, как снаружи, но выстроен он плохо и неуютен. Зал насквозь "прошекспирен": самые нелепые шутки вызывают у зрителей благоговейный смех. <...>

Четверг, 24 сентября 1925 года

Надоело укладывать вещи. Вот-вот приедут Элизабет и Ричард и увезут меня в Астон-Клинтон.

Пятница, 25 сентября 1925 года

Расписание еще не готово, и живу пока привольно. В своей речи перед учениками директор сказал, что он нисколько не похож на других директоров, которые бьют ученика, если тот что-нибудь разбил; он же будет обращаться с учениками как с джентльменами и брать с них слово, что проступок больше не повторится. Говорилось все это в крайне неприятной, показной манере. После этого дал урок английского вялым, апатичным и абсолютно невежественным ученикам. После обеда мы с Ричардом до чая уныло слонялись без дела. После чая принимал экзамен, а потом учил мальчиков английскому. Ужин. Выяснилось, что ученик, сидевший за столом рядом со мной, уволен из моего Лансинга. Ричард готовился к занятиям. Купил ему в "Колоколе" пива, и мы его выпили у него в комнате.

1. Анри Бергсон (1859—1941) — французский философ, представитель "философии жизни" и "интуитивизма": получил Нобелевскую премию по литературе (1927).

Понедельник, 28 сентября 1925 года

Опять ужинал и пил пиво в "Чайна-Харри". Клод дал мне почитать роман Вирджинии Вулф; что-то не верится, что он хорош.

Пятница, 2 октября 1925 года

Учил обезумевших детей. Играл в регби. Выпивал в "Колоколе".
Читал "Братьев Карамазовых".

Пятница, 23 октября 1925 года

Все надоело; тоска. Келли играл под дождем в футбол. Класс, где я преподаю рисование, никогда рисовать не научится. У них нет ни вкуса, ни мастерства, ни усидчивости.

Вторник, 27 октября 1925 года

Опять ужинали с Ричардом в "Колоколе". Депутация от учеников явилась к директору с конвертом, в конверте вонючий кусок мяса; но директор их не принял. Начал рисовать портрет Хью Лайгона — мой ему подарок ко дню рождения.

Среда, 28 октября 1925 года

Чепмен-энд-Холл прислал мне два фунта, мой плешивый брат — один, поскольку сегодня у меня день рождения. Мои тетушки прислали необычайно уродливый кисет. А из магазинов пришли счета. День выдался невеселый. Пошел было поиграть в футбол, но вернулся — уж очень устал. Ричард пошел купить крутых яиц — чтобы было чем ужинать после подготовки к занятиям.

Знай я в прошлом году или в позапрошлом, как пройдет мой день рождения, — ни за что бы не поверил. У Ричарда новый костюм. <...>

Пятница, 13 ноября 1925 года

Вместо дивана в Голдерс-Грин — диван в Астон-Клинтон. Вовсю занимаюсь прерафаэлитами.

Суббота, 14 ноября 1925 года

<...> По-прежнему увлечен прерафаэлитами. Могу без преувеличения сказать, что всю последнюю неделю живу с ними с утра до ночи. Утром — с Холменом Хантом, единственным пре-

рафаэлитом, которого можно назвать неутомимым, бесстрашным и добросовестным. Первую половину дня — с Милле, но не с *ним самим*, а с его модной биографией, написанной Литтоном Стрэчи[1]. Как же Милле светится на добросовестных портретах Холмена Ханта! А вечером, когда огонь в камине, ром и одиночество сделают свое тлетворное дело, — с Россетти[2], про которого Филип Марстон[3] сказал: "И почему только он не какой-нибудь великий король в изгнании, за чье возвращение на трон мы могли бы отдать свои жизни?!"

Понедельник, 16 ноября 1925 года

Ничего.

Понедельник, 23 ноября 1925 года

Элизабет весь день провела в "Колоколе"; обедали вместе. Вечером детям разрешили послушать концерт по радио — пел отец Ричарда. Лишний раз убедился, что на дух не переношу это изобретение.

Понедельник, 30 ноября 1925 года

Лед и снег. <...>

Вторник, 22 декабря 1925 года

<...> Вчера состоялась свадьба Ричарда и Лизы. Мы с Ричардом обедали в Беркли и в церковь явились с опозданием. Служба прошла благополучно — правда, Мэтью нарядился в клетчатые брюки, Джоан Тэлбот "застукали" в ризнице пьяной, а священник называл Ричарда Робертом. Лиза пообещала, что поцелует меня, и не поцеловала. Потратил уйму времени и Ричардовых денег, раздавая служителям чаевые, и чуть было не дал пять шиллингов за уборку церкви престарелой Лизиной тетушке. <...>

Сегодня все утро помогал леди Виктории с подарками; устал, как собака. Вечером зван в гости, но пойду вряд ли. Зав-

1. Литтон Джайлз Стрэчи (1880–1932) — английский биограф и эссеист; видный участник группы "Блумсбери".
2. Английские художники, члены Прерафаэлитского братства: Холмен Хант (1827–1910), Джон Эверетт Милле (1829–1916), Данте Габриэл Россетти (1828–1882).
3. Филип Бурк Марстон (1850–1887) — английский поэт; автор нескольких сборников сонетов.

тра собираюсь в Париж третьим классом — об удобствах, боюсь, придется забыть. Как же я устал. Стоит только начать беспокоиться о деньгах, как чувствую, что заболеваю.

Рождество 1925 года

В гости все-таки отправился и в результате ехать утром в Париж не в силах. А ведь никакого разгула не было — ровно наоборот. Мы с Оливией явились одетые как придется, все же остальные разоделись в пух и прах и встретили нас с бокалами шампанского. Бóльшая часть гостей — русские эмигранты. Оливия — она в буквальном смысле слова помешалась на чарльстоне — была безутешна, пока не обнаружила после ужина пустующую комнату, где можно было потанцевать, а потом, когда все стали хором петь русские песни, впала в пьяную меланхолию.

Утром мне позвонил мой старый знакомый, модный актер и театральный деятель Билл Силк, мы пошли пообедать, и в минуту слабости, о которой потом пришлось пожалеть, я согласился подождать до завтра и поехать в Париж вместе с ним. Ужинали мы тоже вместе, а после ужина отправились на "Белый груз", пьесу про белого мужчину, черную женщину и неразбавленный виски. Из театра пошли в "50—50", где столики подсвечиваются изнутри — вид преотвратный. Биллу там нравится — но он мало что в этом смыслит. <...>

"Hôtel des Empereurs"[1], *Париж, воскресенье, 27 декабря 1925 года*

<...> В 8.20 мы с Биллом Силком доехали на поезде до Нью-Хейвена, а там пересели на пароход "Брайтон", который качало не приведи Господи. Но ни Силка, ни меня не вырвало, да и пароход, по счастью, был почти совсем пуст. Пока Билл выпивал с каким-то смазливым морячком, я лежал в каюте и боролся с тошнотой, предаваясь сексуальным фантазиям. <...>

Вторник, 29 декабря 1925 года

Вчера на свою беду обнаружил, что Лувр и все остальные музеи закрыты. Утром пошел в Нотр-Дам и, пока Билл не пробудился, был совершенно счастлив. Потом опять зарядил сильный дождь, и делать было решительно нечего. Про-

1. "Императорский отель" (*франц*).

шлись по Елисейским Полям, у реки пропустили несколько стаканчиков и завалились спать. Часов в шесть пошли в "Чатэм-бар", выпили по коктейлю, Билл разузнал у официантов адреса борделей, и мы направились в "Кафе де ля Ротонд", выпили еще по коктейлю и поехали ужинать к "Прунье", где я заказал моллюсков, Homarde Americaine[1], артишоки и выпил белого вина. Потом в "Кафе де ля Пэ" — пить коньяк. А оттуда — в бордель. Швейцар в "Чатэме" ошибся номером дома, но улицу — кажется, рю де Урс — назвал правильно, и нам показали на довольно гнусного вида забегаловку под вывеской "Ролан", находившуюся поодаль. Вошли и выразили желание развлечься. "Montez, messieurs, des petits enfants"[2]. Поднялись в душную комнатку с несколькими столиками, где нас поджидал официант, как две капли воды похожий на лорда Суинфена, — едва ли это был он. Выпили дорогого — 120 франков бутылка — шампанского, и тут к нам с громкими криками сбежали сверху petits enfants в аляповатых маскарадных костюмах. Внимание Билла привлек неуклюжий, крестьянского вида парень, и они просидели, о чем-то болтая, весь вечер. Остальные же члены "труппы" голосили и танцевали, тыкая себя пальцами в ягодицы и гениталии. Юноша в наряде египтянки подсел ко мне, притворившись, что понимает мой французский. Сделав вид, что пришел в восторг от моих клетчатых брюк, стиснул мне ноги, после чего, нисколько не смутившись, обнял меня за шею и принялся лобызать. Сказал, что ему девятнадцать и что в заведении уже четыре года. Мне он приглянулся, но 300 франков, которые запросил за него хозяин, в высшей степени любезный молодой человек во фраке, я мог бы потратить с большей пользой. Билла, уже сильно поднабравшегося, как видно, тоже не устроила цена за деревенского парня, и он на своем отвратительном французском начал с пеной у рта торговаться. Я предложил, чтобы мой парень у меня на глазах развлекся с громадным негром, тоже находившимся в комнате. Однако, когда мы втроем поднялись этажом выше, и мой молодой человек улегся в предвкушении негритянских авансов на потрепанный диван, — выяснилось, что стоимость и этого аттракциона сильно завышена. Присутствовать при затянувшемся споре Билла с хозяином мне вскоре надоело, я взял такси, вернулся в гостиницу и улегся в постель непорочным. И нисколько об этом не жалею.

1. Американский омар (*франц.*).
2. "Подымайтесь, господа. Маленькие мальчики" (*франц.*).

Сегодня утром, пока Билл отсыпался после вчерашнего, ходил в Лувр. Ника Самофракийская выше всяких похвал, да и Венера Милосская немногим хуже. Египетские залы еще не исследовал. Что же до живописи, то мне довольно скоро сильно наскучили Лебрен и Лесюэр, и даже Пуссен, которого я насмотрелся до одури. Зато я открыл для себя Филиппа де Шампеня[1]. Мантенья превосходен. Люблю древо познания в "Sagesse Victorieuse"[2]. Билл вот-вот пробудится. Пора возвращаться.

Норт-Энд-роуд, 145, пятница, 1 января 1926 года

Только и разговоров что о новом годе. Хочется надеяться, что он будет удачнее прошлого. <...>

Барфорд-хаус, среда, 13 января 1926 года

<...> По пути остановились в Оксфорде, и я купил себе жилет и несколько книг, в том числе стихи Т. С. Элиота — они на удивление прекрасны, но малопонятны; есть в них что-то неуловимо пророческое.

Миссис Грэм с веселым шумом отбыла в Лондон, и в доме — если не считать громкого стука молотков, жалобного скрипа передвигаемой мебели и болтовни прислуги — воцарился покой.

Бал оказался еще хуже, чем можно было ожидать, и продолжался до половины пятого утра. Аластер пил шампанское и обратно вел машину по берегу.

Вчера отдыхали. Стихи Т. С. Элиота неправдоподобно хороши.

Понедельник, 15 марта 1926 года

Вчера провалялся в постели все утро и в церковь не пошел. Утром зашел к Клоду, а после обеда неожиданно в своем красном автомобиле прикатили Лиза с Робертом, <...> и я решил, о чем сейчас очень жалею, поехать в Лондон повидать Оливию. Застали ее в спальне, заваленной чулками и газетами. Укладывала в сумку бутылки. Раздалась, стала еще толще, гово-

1. Шарль Лебрен (1619–1690), Эсташ Лесюэр (1617–1655), Никола Пуссен (1594–1665), Филипп де Шампень (1602–1674) — французские художники-классицисты.
2. "Победоносная мудрость" (*франц.*). Полное название картины итальянского художника и гравера эпохи Раннего Возрождения Андреа Мантенья (1431–1506) "Победоносная мудрость, изгоняющая пороки".

рит исключительно о себе, причем как-то остраненно и бессвязно. Некоторое время сидел на ее постели и пытался, чувствуя, как падает сердце, ее разговорить, а потом пошел вместе с Ричардом пить коктейль. <...> Вернулся на поезде в ужасном настроении — уже несколько недель не было такого. На обратном пути подумал, что надо бы написать роман — но ничего подобного я, конечно же, не сделаю.

Хэмпстед, понедельник, 3 мая 1926 года

В субботу, когда мы вышли из кинотеатра, где смотрели самый худший на свете фильм, вечерние газеты пестрели заголовками, подтверждавшими самые мои мрачные предсказания. Работники транспорта и другие большие профсоюзы объявляют забастовку сегодня, с двенадцати ночи. Вчера ходил на митинг в Гайд-парк; пламенные речи встречались одобрительными возгласами. Только и разговоров, что вот-вот начнется стрельба.

Сегодня утром забастовала типография, где печатается "Дейли мейл"; отказываются набирать передовицу "За короля и отечество".

Вторник, 4 мая 1926 года

<...> Сегодня Крофорд телеграфировал, что семестр начнется в положенное время. Ездил на велосипеде посмотреть на бастующие районы; улицы забиты транспортом. "Таймс" сегодня утром вышла — правда, с меньшим, чем обычно, количеством страниц. А вот остальных газет нет — ни утром, ни вечером.

Астон-Клинтон, вторник, 11 мая 1926 года

В четверг вернулся в Астон-Клинтон. Утром — в Лайм-хаус с Алеком; с той же неукоснительной верностью общепринятым обычаям, в соответствии с которыми рубашки следует покупать на Джермин-стрит, а прелюбодействовать — в Париже, он записался в спецотряд констеблей. <...>

В среду из всех больших городов начала поступать информация о возмущениях. Продолжаются и по сей день. Мы с Ричардом отправились в Хаммерсмит посмотреть, что там делается, но приехали поздно, полиция уже разогнала дубинками бастующих и отбила у них шесть автобусов, которые бастующие поломали.

В Астон-Клинтоне осталось пять учеников — самые тупые и неказистые. Крофорд уехал в пятницу утром. День прошел

хуже некуда. К вечеру явились капитан Хайд-Апуорд и еще кое-кто из учеников; в субботу, которую я по большей части провел в Лондоне, — еще несколько.

К воскресенью (день выдался пасмурный, промозглый) в школу съехались в общей сложности человек пятнадцать. Призывы записываться в констебли становились день ото дня все настойчивей, и я, сам не знаю зачем, решил под знаменем гражданского долга развеять скуку (о чем Крофорд наверняка догадается) и отбыл в Лондон.

В понедельник вечером Королевская служба констеблей направила меня в Скотланд-Ярд, где мне надели на рукав повязку, привели в качестве мотоциклиста связи к присяге и отправили в Скотланд-хаус, откуда после долгих проволочек послали, вместе с тремя прыщавыми юнцами, в отделение полиции Ист-Хэма. Ехать туда по мокрым трамвайным путям было невесело, один из нас по пути куда-то подевался. В Ист-Хэме инспектор Джеймс сказал, что мы ему не нужны. Обратно в Скотланд-хаус, где творилась полнейшая неразбериха. Отпущены домой до утра.

Сегодня утром из вчерашних трех юнцов прибыл только один. Прождали целый час в коридоре, где мимо нас бегали какие-то перепуганные люди в штатском, время от времени выкрикивая чьи-то имена, на которые никто не отзывался. “Сейчас свободны. Явиться через полтора часа”. Пинта пива. “Свободны. Явиться через два с половиной часа”. Полпинты пива. <...> Час в коридоре. Отпущены до утра. Алек сдал дежурство; купил шампанского и билеты в театр.

Наутро я счел, что стоило бы найти более эффективный способ послужить отечеству, и отправился в Кемден-Таун, в казармы Гражданского резерва полицейской службы. Состоял “гражданский резерв” частично из таких же прыщавых юнцов, каких я повстречал в Скотланд-Ярде, а частично из тех, кого принято называть “отбросами общества” — невзрачных людишек средних лет. Жалкие, одетые в обноски, они вечно всем недовольны, ворчат, отказываются рано вставать, переговариваются в строю, отчаянно воюют за каждый кусок, а вечером напиваются в столовой наверху. Офицеры-резервисты — клерки из адвокатских контор в военной форме. Все утро мы заправляли постели, начищали защитные шлемы, собирали перевязочный материал — учились воевать, иными словами. К обеду стачечный комитет без всяких требований и условий забастовку прекратил. Нас продержали в казарме “в полной боевой готовности” часов до десяти, после чего я вернулся домой и завалился спать, а на следующий день получил увольнение из отряда добровольного содействия полиции и

вернулся в Астон-Клинтон, где директора по-прежнему замещает Апуорд, о Крофорде же ни слуху ни духу.

Суббота, 24 июля 1926 года

<...> В воскресенье устал. Ездили с Аластером ужинать в Виндзор. Предложил, чтобы я что-нибудь написал, а он напечатает. И вот всю неделю пишу эссе про Прерафаэлитское братство. Пометки делал еще в прошлом году, когда растянул связку на ноге и сидел дома. Вроде бы получается. Допишу дней через пять, когда буду проверять экзаменационные работы. Во вторник водил миссис Во на спектакль с участием Тони. <...>

Вчера вечером поставил точку. Ник Келли любезно согласился перепечатать эссе на машинке.

Семестр бесславно завершился 28 июля. Вернулся в Лондон на мотоцикле. <...> Напросился поехать в Шотландию с Аластером и миссис Грэм. Боюсь, она не в восторге. А вот я наверняка получу удовольствие. Сегодня днем, в субботу, уезжаю в Барфорд. <...>

Отцу мое эссе очень нравится. <...>

Хэйем, озеро Бассентуэйт, Кокермаут, Камберленд, среда, 4 августа 1926 года

Приехали сюда вчера вечером после путешествия, в целом вполне удавшегося. Поначалу миссис Г. неистовствовала; на каждом перекрестке ее охватывал панический страх, что Аластер свернул не туда. Но в целом, повторяю, путешествие прошло гладко. В середине дня пообедали хлебом и цыпленком, остановившись на обочине, и в Карлайл прибыли часов в пять. Дом сэра Ричарда Грэма мал и уродлив; повсюду висят огромные портреты маслом, имеется чучело барсука. Уборная царская. Вскоре после приезда Фишеры прислали за мной большой красный автомобиль и привезли сюда. Готическое здание с зубчатыми башенками и совершенно неотразимым видом на озеро и гору Скиддо. За ужином недостатка в спиртном не было; не было и всяких глупостей вроде "дамы встают из-за стола". Познакомился с некоторым числом странного вида женщин, почти всех зовут тетушка Эффи. После ужина они исчезли бесследно. Мы же перешли в библиотеку, курили сигары и пили виски. Младший брат похож на Алана, у него свинка, но вид — здоровей некуда.

Назавтра, после обильнейшего завтрака, отправились в семь утра охотиться на выдру. Мистер Фишер был в бриджах и в костюме из фланели с медными пуговицами и розовым во-

ротником. Он, я и все остальные мужчины вооружились длинными, заостренными на конце палками, женщины — фотоаппаратами. На мосту встретились с несколькими косматыми собаками, и охота началась. Дело было поставлено ничуть не лучше, чем у бедного мистера Глида в Астон-Клинтоне. Первостепенную роль играли два человека — очень толстый старик, одетый в точности так же, как мистер Фишер, плюс розовый жилет, и молодой человек по имени Джек с трубой и хлыстом. Джек не желал делать то, что ему говорил старик, а собаки не желали делать то, что им говорил Джек. Некоторое время мы шли вдоль реки (называется Дервент), как вдруг собаки хрипло заревели, как морские львы, и все мужчины бросились в реку, за исключением Мастера, который, пританцовывая на берегу, кричал: "Запускайте собак!" Джек попытался выкопать яму, но, пока он копал, собаки, сгрудившись вокруг, забрасывали лапами яму быстрей, чем он ее выкапывал. Потом наступила долгая пауза, и мы опять двинулись по берегу реки. Затем раздался еще один резкий звук, и Джек зашел в воду так глубоко, что виден был только конец его трубы. К величайшему восторгу дам с фотоаппаратами, выдра была поймана, после чего дамы "засняли" самые варварские детали и, вслед за собаками, были вознаграждены кусками мяса окровавленной выдры. Потом мы двинулись дальше, пока Мастер не устал, а Джек не свалился в реку, повредив колено. Тогда мы сели в "форд" и, промокшие до нитки, пустились в обратный путь, подобрав по дороге глухого терьера.

После обеда поехали кататься на автомобиле; я, мистер Фишер, одна из тетушек Эффи, брат — тот, у которого свинка, и шофер по имени Томас. Повидали много озер, место, где творил Вордсворт, и очень валлийское озеро с пирсами, дамбами, променадами и тележками мороженщиков с надписью "Уиндермир". По возвращении играли в теннис; и Алан, и его отец играют хуже, чем я. Ужин, сигары, сон.<...>

<...> Утром, после завтрака, с час говорили про Грецию, а потом вместе с Аластером поехали на машине миссис Г. в Эдинбург. Совершенно обворожительный город. Раскинулся на противоположных сторонах долины, а посредине, внизу, проходит железная дорога. На одной стороне находится замок и древние развалины, на другой — протянулся ряд нарядных магазинов, образующих Принсес-стрит, у которой есть что-то общее с Бонд-стрит и одновременно с оксфордской Хай-стрит. Я пообедал, купил Эдмунду обломок эдинбургской скалы, а себе — длинный, кривой пастушеский посох, а также новую ленту на шляпу, к которой внезапно испытал отвращение, а заодно пропустил несколько стаканчиков в различных питейных заведениях го-

рода. Аластер купил мне отличную шишковатую трость из утесника с набалдашником, напоминающим череп. Мы покатались по городу, побывали в Национальной галерее, где половина всех картин — Ребёрна[1], а директор носит пелерину и треуголку. Встретили крошечную девушку, которая заговорила с нами на эсперанто.

Поужинали, до десяти вечера проговорили о Греции и об угольщике мистере Куке, до половины одиннадцатого читали газеты, после чего разобрали свечи и разошлись по комнатам. <...>

Мы переправились на пароме неподалеку от Форт-бридж и поехали в Макхоллз, где живет старая няня Аластера. По пути заехали в дом под названием "Тэннадайс" повидать леди Н. У нее густая борода, лысая собака, пьяный муж и педераст сын. С виду Макхоллз типичный валлийский город. Остановились в бывшем замке, а теперь пансионе, где́ не нашлось ни капли спиртного. Пансион забит гнусными маленькими мальчиками и девочками. Кормят преотвратно. В деревне только один паб, да и в том бармен — хам.

В воскресенье пообедали в машине сыром и шоколадом, покатали няню Аластера и выпили с ней чаю в ее коттедже.

<...> Во вторник под присмотром миссис Г. мыли машину. Занятие не из приятных: пришлось пользоваться кистями, губками и шлангом и, в довершение всего, выслушивать отборные ругательства, слетавшие с языка миссис Г. Обедали у Форбсов. Было очень вкусно, но уж очень хлопотно: все по́ цепочке передавали друг другу тарелки. Сэр Чарльз [дядя Аластера. — *А. Л.*] — довольно бессмысленный человечек крохотного роста; он еле жив; такие, как он, обычно в последнюю минуту лишаются наследства. Он все время что-то изобретает: то треугольные громкоговорители, то приспособление для зажигания спичек. Леди Форбс туповата, а ее сестра глуха как пень. А вот дочери Форбсов у себя дома выглядят симпатичнее, чем в Лондоне. После обеда таскали огромные камни, а потом нас повели осматривать замок, сад, за два года превратившийся в джунгли, и мрачного вида дом. Поднялись на башню, шли длинными, гулкими коридорами и вышли на воздух, продрогнув до костей. <...>

Ле Мортье, Сен-Симфорьен, Тур, среда, 25 августа 1926 года

Забыл, что за чем следовало в последние две недели. На следующий день после моей последней записи [четверг, 12 августа. — *А. Л.*] мы присутствовали на празднике в Лонахе. Нас, как мог-

1. Сэр Генри Ребёрн (1756—1823) — шотландский художник-портретист.

ли, пытались уверить, что до отъезда Форбсов из Нью праздник отмечался иначе. Начался он с марша шотландских горцев. Раньше, насколько я понимаю, лаэрд[1] шел на Страту и, останавливаясь выпить в каждом доме, собирал своих людей, после чего вел их обедать обратно в Нью. В этом году участвовать в марше у сэра Чарльза не было сил, и он довольствовался тем, что сидел дома, тыкал пальцем в огромный дымчатый топаз и приговаривал: "Мистер Фолкнер Уоллес с удовольствием бы в нем сегодня покрасовался". Человек десять шотландских горцев, среди которых не было ни одного моложе пятидесяти, а многим перевалило за восемьдесят, прошли пешком от здания ратуши в Лонахе до паддока в Беллабеге. Они уныло тащились по дороге, волоча за собой копья. Все молодые люди, которые еще не эмигрировали в Америку и не подались в города, предпочитают вместо килтов носить дешевые, плохо сидящие костюмы из сержа. Продолжался праздник очень долго. Играли на свирели, пускались в пляс; танцевали в основном отвратительного вида дети, обвешанные медалями. В спортивных соревнованиях участвовали профессионалы из Абердина. Я видел, как они метали бревно[2], но не видел, чтобы кто-то его подхватывал. Сын Уоллесов, Аластер и я решили принять участие в беге с препятствиями, но перед самым забегом раздумали. <...>

В понедельник выехали рано. Все время шел дождь. В дороге Аластер и миссис Г. ссорились больше обычного, и мне хотелось только одного: выпрыгнуть из машины и вернуться домой на поезде. Доехали до гостиницы в местечке Киллин, где уже останавливались. Дождь шел по-прежнему. Пошли под дождем на какие-то твидовые фабрики; закрыты. Ужин. Сон. Беспросветный день. <...>

Оттуда [из Глазго. — *А. Л.*] поехали в Йорк и по дороге пообедали с сэром Ричардом Грэмом и Вайти, герцогиней Монтрозской. Йорк чудесен. Кафедральный собор видел дважды — в сумерках и при дневном свете. При свете дня он что-то теряет. Остановились в огромном "Станционном" или, как его еще называют, "Железнодорожном" отеле. Миссис Г. все время пребывает в лютой ярости и, по-моему, крепко выпивает. Столько шлюх, как в Йорке, не видел нигде. Ходил в собор к причастию. Всю дорогу от Йорка до Барфорда миссис Г. неистовствовала и была непристойно груба не только с Аластером, который ее провоцировал, но и со мной, хотя я не сказал ей худого слова. В Барфорде она продолжала на меня напа-

1. Лаэрд — шотландский лендлорд.
2. Речь идет о традиционном шотландском спортивном соревновании "метание кейбера" — бревна из ствола молодого дерева.

дать: я, видите ли, грубил ей весь месяц, — и я решил, что ноги моей у нее в доме больше не будет. <...>

В воскресенье поехали в Париж. Море было спокойным. Пару часов провели в Булони — Аластер этот город любит, и до Парижа добрались часов в девять. Нашли отель под названием "Суэц" на левом берегу, в нескольких милях от реки, оставили вещи, много чего выпили, а потом отправились в гнусное кабаре на Монмартре, где женщины делали мне неприличные предложения. Поужинали, выпили скверного шампанского и пошли в "Жокей", паб получше, где танцевал какой-то черномазый, после чего легли спать в душном и шумном номере. Спал мало.

<...> С Аластером почти не виделся, и слава Богу. В Париже и французах он, как это ни удивительно, мало что смыслит. Последнее время вижусь с ним, пожалуй, слишком часто. <...>

Понедельник, 30 августа, 1926 года

По-прежнему жарко, но терпимо. Ведем ленивую, приятную жизнь: встаем поздно, сытно обедаем, бывает, отправляемся в château[1] или ходим в Туре по магазинам, пьем чай у Масси и идем в кино в "Café de Commerce", вечером крепко выпиваем, а потом крепко спим. Перечитываю "Принципы литературной критики" Ричардса[2]. Мой французский лучше не становится. В субботу ездили обедать в Шенонсо; pâté de maison[3] превосходен. Ходить по chateaux особого удовольствия не доставляет. Еще ездили в Шомон, в Амбуаз же прибыли поздно и в chateau не попали. Зато выпили вина в ресторане, куда направил нас какой-то назойливый мальчишка. Готовят отлично, поэтому ужинать в ресторанах особого желания нет. <...>

Норт-Энд-роуд, 145, понедельник, 13 сентября 1926 года

Провели две ночи в Шартре, в гостинице "Grand Monarque"[4]. Перед собором проходил какой-то праздник: толпы людей вокруг, продаются пряничные поросята, дети мочатся на колонны, женщины либо спят, либо сплетничают, либо едят. И бесчетное число маленьких процессий с покровами, свечами и непрерывными денежными поборами. В самом же городе ярмарка; Джулия купила розового цвета целлулоидные рамки

1. Замок (*франц.*).
2. Айвор Армстронг Ричардс (1893—1979) — английский критик, поэт, автор монументального труда "Принципы литературной критики" (1924).
3. Домашний пирог (*франц.*).
4. "Великий монарх" (*франц.*).

для картин, а я выиграл живого голубя, из-за которого пришлось перелезать через ограду в сад собора.

Из Шартра по очень плохим дорогам поехали в Руан. Мы с Элизабет прокололи колесо, а Ричард переломал все рессоры. Остановились в грандотеле “Poste” с многотысячной прислугой. Остаток дня проспал. <...> Сегодня от Аластера пришла хорошая новость — он взялся за мою книгу [“Прерафаэлитское братство”. — *А. Л.*].

Среда, 22 сентября 1926 года

Провел несколько тихих дней — но немного. <...>

В понедельник приехал Аластер. Вторую половину дня проходили по магазинам — большую часть времени выбирали галстуки в “Салка”. На Кинг-стрит ели устрицы. Вечером пошли в “Альгамбру”, а оттуда — на вечеринку к лесбиянкам; познакомился с ними на днях. Вечеринка что надо. Сэр Фрэнсис Лейкинг — сначала в женском платье, а потом в чем мать родила — пытался танцевать чарльстон. Какой-то русский играл на пиле, как на скрипке. Явился Лулу Уотерс-Уэлч — живет в грехе с Эффингемом. <...> Мы с Аластером сильно напились. Помнится, я нагрубил Бобби. Двое мужчин подрались. Женщина-полицейский всех перепугала, Джоан полезла на нее с кулаками.

На следующий день Аластер и я обедали в пабе “Стоунз” с Тони Бушеллом, а потом смотрели новый фильм Гаролда Ллойда “Ради Бога”. Отзывы о фильме неважные, а вот мне он понравился, даже очень. Вечером пил коньяк в клубе “Кит-Кэт”.

Последние дни, если перечитать эти сумбурные записи, получились лихие — но на этом лихая жизнь, которую я вел, закончена. Подвожу под ней черту — во всяком случае, принял такое решение. Мать подарила мне 150 фунтов, чтобы я расплатился с долгами, и в следующем семестре еще раз попробую вести жизнь правильную, трезвую, целомудренную. И на этот раз — на куда более прочной основе.

Астон-Клинтон, суббота, 2 октября 1926 года

Во вторник собрал все свои дневники за год и отдал в “Молтби” — переплести. Со вторника мало что произошло. Расплатился в Оксфорде с долгами: ходил из магазина в магазин в широких брюках, с записной книжкой, куда были вложены пятифунтовые банкноты. В большинстве своем лавочники и рестораторы радовались, что я им больше не должен. За исключением Холла; к Аластеру и ко мне он, мне кажется, питает теплые чувства. Расплатился и с портным в Эйлсбери; послал чеки Крису и Ричарду.

Аластер прислал мне гранки “ПБ”[1]. Набрал, по-моему, очень хорошо — лучше, чем рукопись того заслуживает. За время, которое прошло между сочинением эссе и чтением корректуры, я потерял к нему всякий интерес. <...>

Суббота, 30 октября 1926 года

В четверг мне минуло двадцать три года. Отец подарил, помимо очень дорогого белья, 1 фунт на праздничный ужин. Эдмунд и Чарльз подарили перочинный нож с разноцветной ручкой, тетя — кисет, повар в “Колоколе” — торт, а Джон Сатро прислал телеграмму. Весь день шел дождь. Обедал и ужинал в “Колоколе”, очень много выпил, курил сигары, пил в конюшне чай с Эдмундом и Чарльзом. Ник Келли подарил мне книжки Хюффера[2] и Конрада.

Несколько дней назад послал издателям книжной серии “Сегодня и завтра” письмо с предложением написать книгу “Ной, или Будущее алкогольного опьянения”. К моему удивлению и радости, идея была воспринята с энтузиазмом.

Автор очень глупой рецензии в “Манчестер гардиан” расхвалил мой рассказ из сборника “Георгианские рассказы”[3] — правда, доводы приводит предельно нелепые.

Бейн — молодец: переплел “ПБ” в кратчайшие сроки.

С углем перебои; сыро и холодно. Кормят здесь с каждым днем все хуже. Работы невпроворот, а я постыдно бездельничаю. Теперь, когда Глид покидает школу, отзывается он о ней язвительно, да еще во весь голос. Ученики издеваются над ним все больше. А он вдобавок играет в футбол все хуже.

Каким скучным стал этот дневник. Наверно, вести его надо каждый день, что-то записывать каждый вечер. Попробую.

День Гая Фокса[4] 1926 года

Получил от “Габбитас и Тринг” сообщение: некая дама из Голдерс-Грин ищет своему сыну частного преподавателя; занятия

1. Двадцатипятистраничное эссе о Прерафаэлитском братстве Во посвятил жене Ричарда Элизабет Планкет-Грин; Аластер Грэм отпечатал его в своей типографии “Шекспир-Хэд-пресс”.
2. Фрэнсис Хюффер (1845—1884) — английский музыкальный критик и либреттист немецкого происхождения.
3. Речь идет о рассказе Во “Равновесие. Небылица о старом добром времени широких штанин и джемперов с высоким горлом”.
4. Ежегодно 5 ноября в Англии отмечается раскрытие так называемого “Порохового заговора” 1605 г., который был подстроен католиками с целью убийства Якова I (1566—1625) и главой которого был Гай Фокс.

на каникулах. Это означает, что про поездку в Афины придется забыть. Тем не менее урок, если получится, возьму. Четырьмя гинеями в неделю не бросаются.

Воскресенье, 7 ноября 1926 года

От мысли, что на предстоящих каникулах я буду работать, вместо того чтобы сорить деньгами, я становлюсь ханжой, что дает мне право тратить деньги с чистой совестью. Вчера и позавчера ужинал в ресторанах и пил ром. Вчера вечером — с Чарльзом Пулом, он приехал из Кембриджа всего на один день. Напился и с энтузиазмом рассуждал о прелюбодеянии.

Уже написал 2 ооо слов “Ноя”; кое-что совсем недурно.

Среда, 10 ноября 1926 года

<...> Вчера кончил первую главу “Ноя”.

Из-за дурного питания и собственной нечистоплотности у многих детей появились на коже гнойники. Все спортивные соревнования отменены.

Сегодня утром сестра-хозяйка в приступе гнева покинула школу с обитым жестью чемоданом на голове.

Вчера утром ужинал с Глидом и по дороге домой свернул на берег канала. Домой вернулся за полночь.

Дождь льет с утра до вечера.

Еще две рецензии на “Георгианские рассказы”; обо мне ни слова. Бейн и не думает слать “ПБ”. Дама из Голдерс-Грин не ответила на письмо, где я пишу, что готов заниматься на каникулах с ее сыном.

В четверг ездил в Лондон. Дама из Голдерс-Грин не нанимает меня учителем к сыну. Отец пребывает в еще более приподнятом настроении, чем обычно. Из Вендовера вернулся на велосипеде.

Пятница, суббота и воскресенье прошли хуже некуда, и у меня нет ни малейших сомнений: и сегодняшний день будет ничуть не лучше. Ученики по-прежнему гниют заживо и ведут себя соответственно.

Пришло письмо от Элизабет: собирается ко мне на выходные. “Ной” спорится. Получается манерно и “литературно”.

У Глида сдали нервы, в субботу он высек ученика и высек на славу. К Чарльзу и Эдмунду подселили ученика по фамилии Блэкберн, и больше я к ним не хожу. Стал замечать, что покрикиваю на детей, не проверяю их работы, то и дело теряю журнал с записями. Читаю Эдгара Уоллеса и совершенно не в

состоянии вникнуть в эссе Герберта Рида[1]. А до конца семестра еще почти пять недель.

Среда, 17 ноября 1926 года

Пришли экземпляры “ПБ” — одна ошибка осталась неисправленной. Заметил ее, но включить в список опечаток забыл.

Весь день был груб с учениками — стыдно.

Вторник, 23 ноября 1926 года

Устал. Все надоело.

Среда, 24 ноября 1926 года

Вместе с учениками колол дрова.

Четверг, 25 ноября 1926 года

<...> Сломалась ручка от двери в учительскую, и приходится выбирать: либо сидеть на сквозняке, либо вскакивать на каждый стук.

Рождество 1926 года, суббота, “Патрис II”, Средиземное море

Прежде чем уехать из Лондона, закончил “Ноя” — впрочем, наскоро — и послал рукопись Кигану Полу. Криз приехал в четверг вечером. Рад был увидеть его перед отъездом.

Вчера после завтрака пустился в путь с минимумом вещей. На пути в Кале качка был сильная, но я, против ожидания, перенес ее неплохо. Мой печальный опыт морской болезни вызван, по всей видимости, алкоголем. Путешествие из Кале в Марсель удовольствия не доставило. Вагон был переполнен. Рядом сидела женщина с маленькой девочкой и всю ночь, каждые двадцать минут, кормила ее шоколадом, пирожными, фруктами и поила водой со слабительным. Ужасно хотелось пить; спал мало.

В Марселе ни одного честного человека. Все, кому придется, пытались меня облапошить и справлялись со своей задачей выше всяких похвал. Превосходно пообедал в ресторане “Бассо”.

1. Эдгар Уоллес (1875—1932) — английский прозаик; автор популярных в то время триллеров. Герберт Эдвард Рид (1893—1968) — английский поэт-имажист, критик, эссеист, автор биографической и автобиографической прозы.

Пароход оказался куда красивее и чище, чем можно было ожидать. Пассажиры интересуют меня мало. Сижу за столом с юным греком, очень смуглым, и с американцем средних лет, чудовищно провинциальным. Своего соседа по каюте еще не видел. Качка становится все сильнее, капитан же мертвецки пьян и кричит не своим голосом. Больше всего боюсь, что, если лягу, начнет тошнить.

Воскресенье, 26 декабря 1926 года

Путешествие, как я и ожидал, оставляет желать лучшего. Морской болезнью пока не заболел, но качает здорово, в каюте нечем дышать, вентиляция никуда не годится. <...>

Сижу либо на корме в водяной пыли, либо прячусь от жары внизу, дремлю, читаю "Многообразие религиозного опыта"[1] и набрасываю рисунки к "Анналам конституционной монархии", книге, которую собираюсь написать.

Только что поужинал с двумя американцами; юный же грек отправился спать. Один из американцев — пошляк, хвастун и богохульник, зато Грецию знает хорошо, поездил по Европе и ко всему прочему запойный пьяница. Второй (я сидел с ним в первый вечер) до смешного невежествен и ограничен. Думал, что подобные экспонаты водятся только в Уэльсе.

Грек, который живет со мной в одной каюте, очень мил. Целый день лежит в постели. Как, впрочем, и большинство пассажиров. Поговаривают, что раньше среды не приедем.

Понедельник, 27 декабря 1926 года

Великолепное солнце и спокойное море. Сегодня утром из своих кают вышли и поднялись на палубу диковинного вида надушенные дамы. А с ними — щеголеватые маленькие мужчины. А еще — целая армия дикарей: пугливо семенят по палубе и жуют сухой хлеб.

Афины, суббота, 1 января 1927 года

В среду сошли с парохода только в восемь. Прежде чем разрешили пристать, ждать пришлось почти два часа; все это время полиция изучала наши паспорта. Аластер и слуга Николас

1. "Многообразие религиозного опыта" (1902) — исследование о психологии религиозного обращения американского философа и психолога Уильяма Джеймса (1842–1910).

приплыли за мной на маленькой лодчонке. В отеле “Grande Bretagne”[1], точно таком же, как “Крийон”, выпили по коктейлю. В целом Афины гораздо современнее и красивее, чем я ожидал: трамваи, коктейль-бары, многоэтажные дома. Квартира, в которой Аластер живет вместе с Леонардом Боуэром[2], — со всеми удобствами: ванные, уборные, электричество. Мебели, за исключением нескольких objets d’art[3], нет; сильно пахнет штукатуркой. Есть приходится в разных ресторанах; обычно обедаем в “Кости” и ужинаем в “Тасэрве”. В первый же вечер сильно перебрал в кабаре, который содержит одноногий мальтиец. <...>

В Греции на все уходит в два раза больше времени. В деревнях время и вовсе стоит на месте. В Афинах каждое блюдо приходится ждать не меньше четверти часа, и все разговоры длятся бесконечно. Никто не ужинает раньше девяти, спать же ложатся, по-видимому, под утро. Для суетящегося европейца эта система несовершенна. Ко всему прочему у них, как правило, каждый день праздник.

Есть здесь и еще один англичанин по имени Р. Я познакомился с ним в 1917 году, когда жил на Грейт-Ормонд-стрит. Хочет соблазнить Аластера и говорит — как, впрочем, и все в Афинах — исключительно о мужской проституции. В его квартире толкутся сомнительные типы со смуглой кожей и героическими именами вроде Мильтиада и Агамемнона; у них сизые подбородки и грязные рубашки. За 25 драхм за ночь они спят со всей здешней английской колонией.

Есть здесь английский клуб с очень удобными стульями. Ходим из кафе в кафе: все напитки пахнут либо камфарой, либо лекарством, а всё вокруг — отбросами.

Побывал в Дафни в очень красивой церкви с мозаикой. А также в заброшенном монастыре. Поехали было в Парфенон, но он оказался закрыт. <...>

Сегодня днем поездили по окрестным деревням. Ехали в автомобиле с британским флагом и могли поэтому безбоязненно давить сколько угодно людей, а также не включать фары.

Только что расстался с Аластером и Р. Они сидят в кафе, очень напоминающем приходскую церковь. Афинские кафе либо похожи на церковь, либо на мастерскую, где обжигают гончарную посуду.

1. “Великобритания” (*франц.*).
2. Леонард Боуэр — атташе английского посольства в Греции. В феврале 1928 г. в этой должности его сменил Аластер Грэм.
3. Произведений искусства (*франц.*).

Вторник, 4 января 1927 года

Утром ходили в Национальный музей, после обеда гуляли. Куда бы ни шли, перед нами, как из-под земли, вырастали греческие солдаты. Зашли в симпатичное кафе в полуподвале — называется "Сосны", там танцуют пирриху[1]. Надоело ходить по ресторанам. Боюсь, я такой же домосед, как и мой отец. По правде сказать, не очень-то люблю ездить по заграницам. На этих каникулах хочу посмотреть как можно больше, с февраля же, на всю оставшуюся жизнь, затворюсь на Британских островах. Похоже, Греция мне понравится. Из того, что видел в Вари, могу сказать, что здешние крестьяне прелестны, они сущие дети. <...>

Итэа-Олимпия, четверг, 6 января 1927 года

Ночь прошла лучше, чем я ожидал. Когда мы в 6.30 прибыли в Итэа, выяснилось, что на следующий день парохода на Патрас не будет — так, по крайней мере, мне сказали. А потому, не повидав Дельфы, пришлось плыть прямо на Патрас. Закат над Икеей красив необычайно. Когда плывешь в эту сторону, на пароходе менее людно; вчера же вечером шум стоял ужасный.

Ссадили меня в городке Аийон: останься я на пароходе, пока он будет заходить во все маленькие порты, — и в Патрасе я бы опоздал на поезд. Познакомился с немцем и его женой, а также с какой-то русской — вместе пообедали. По-французски они говорили еще хуже меня, и поддерживать разговор было непросто, но их обществу я был рад.

В 1.30 подали мой поезд на Пиргос. Путешествие оказалось невыносимо долгим, но обошлось без происшествий. Какой-то грек дал мне свою карточку, сказав, что обязательно мне напишет — очень любит англичан. Мальчишка в ярости порвал банкноту в пять драхм — счел эту сумму недостаточной. В Пиргосе, примерно в половине восьмого, пересел в другой вагон, освещенный крошечной масляной лампой и смахивающий на каюту очень маленького парусника. Сидевший напротив молодой человек в бабочке на безупречном французском порекомендовал мне остановиться в гостинице "Hôtel de Chemin de Fer"[2]. Со временем, далеко не сразу, я сообразил, что он — гостиничный официант или же сын хозяев этого заведения. Позднее выяснилось, что в тот день он ездил в Пиргос на рынок, а живая птица, которую он держал под мышкой, предназначалась мне на ужин.

1. Пирриха — древнегреческий военный танец.
2. "Железнодорожная гостиница" (*франц.*).

В Олимпию мы прибыли примерно в половине девятого и минут десять, ведомые молоденькой крестьянкой с фонарем, карабкались по скалам. По пути у меня закралось подозрение, что хваленая гостиница окажется на поверку второразрядным трактиром с клопами, сквозняками и козами в номерах. Я не угадал: мы прибыли в огромное здание на горе, с высокими дверями и разбегавшимися во все стороны, очень плохо освещенными, затянутыми коврами коридорами. Меня встретил и отвел в номер такой же громадный, как и гостиница, весьма обходительный старик. Постояльцем я был единственным, но не прошло и нескольких минут, как мне предложили превосходный ужин — среди прочих блюд имелась и птица, с которой я ехал в поезде. Засим в постель.

Олимпия, пятница, 7 января 1927 года

Проснувшись, обнаружил, что ощущение величия исчезло, а вот удовольствие осталось. Отель большой, но совсем ветхий. Мне подали французский кофе и хлеб с горчинкой, и я отправился в музей. Превратился в руины и он. Этот музей, а также настоящие руины, протянувшиеся на километры по склону горы, курирует всего один человек. Работа у него, казалось бы, не сложная, однако мое появление его, судя по всему, не обрадовало. В музее много очень интересных скульптур, и я их разглядывал до самого обеда. Обед и на этот раз был превосходен. После обеда ходил смотреть Гермеса Праксителя (или, как называет его Р., — Праксилита) — его держат в специальном сарае на бетонной подставке, за серой плюшевой занавеской, и надзирает за ним деревенский дурачок. Пракситель великолепен, и я нисколько не жалею, что приехал сюда специально ради него. Потом погулял среди коз и оливковых деревьев, дважды неудачно наведался на почту в надежде получить от Аластера телеграмму относительно его дальнейших планов и вернулся в отель.

Сегодня вечером ожидается приезд некоей американки. Молодой человек в бабочке весь день провел на рынке в Пиргосе. Не исключено, что Аластер приедет сегодня — хотя вряд ли.

Завтра опять пускаюсь в путь. Успеть бы на пароход — отходит в Бриндизи в пять утра в воскресенье.

Олимпия–Бриндизи, суббота, 8 января 1927 года

Аластер не приехал. Американка оказалась одинокой старой девой, совершающей трехнедельное путешествие по Греции. <...>

Дорога в Патрас, если б не веселые, несуразные “americanos”, была бы очень тягостной. На каждой станции все пассажиры вы-

ходят из вагонов и пускаются в разговоры, потом звонит колокол, кондуктор трубит в трубу, паровоз свистит, и тут все принимаются что-то наперебой кричать, снова прощаться, а поезд тем временем отползает от перрона с черепашьей скоростью. В Патрасе на ужин у меня был плохой, зато дешевый табльдот. Услужливый портье в отеле с кем-то договорился, что мой чемодан отнесут на пристань и предупредят о приходе парохода. Меня одолел безумный переводчик, изъяснявшийся на каком-то никому неведомом языке. Чтобы от него отделаться, пришлось его напоить. Уходя, пообещал на чудовищной смеси французского и английского, что пароход "приедет за мной в кинотеатр". Этого не случилось, но все прошло гладко: я уже отсмотрел три четверти превосходного немецкого фильма "Пожар", когда за мной пришли и отвели на пароход. Преодолев паспортные препоны, поднялся на палубу и отыскал пустую каюту во втором классе. Пароход невелик и, конечно же, грязен, но в любом случае лучше, чем тот, на котором я плыл в Итэа.

Бриндизи–Рим, понедельник 10 января 1927 года

В поезде; до Рима час. В Бриндизи приплыли сегодня в четыре утра и после тщательного военного и медицинского осмотра были в конце концов выпущены на берег. Поезд отходил в девять. Нашел славного переводчика из Измира; отвел меня позавтракать, поменял мне деньги и до отхода поезда водил по Бриндизи.

<...> В Италии мы, судя по всему, останавливались на каждой станции; на всех без исключения — одинаковые портреты дуче; впечатление такое, будто рекламируется художественная школа "Хэсселз-пресс".

У всех простых итальянок голоса, как у попугаев.

Рим, вторник, 11 января 1927 года

Вчера вечером прямо с вокзала поехал в "Hôtel de Russie"[1], однако ни Аластера, ни Леонарда там не обнаружил. Тем не менее снял относительно дешевый номер, принял ванну и, очень собой довольный, отправился спать.

Сегодня встал часов в десять, отбил отцу телеграмму с просьбой прислать 5 фунтов и поехал в собор Святого Петра. По пути на каждом углу попадалось что-нибудь красивое. Точно крестьянин, глазел, разинув рот, на громаду Святого Пет-

1. Отель "Россия" (*франц.*).

ра; фрески, однако, не идут ни в какое сравнение с теми, что я видел в Дафни. Забрался под самый купол. За 11 лир пообедал в маленьком ресторанчике напротив собора. Взял такси и поехал на Форум, где расхаживал среди руин, позорно сверяясь на каждом шагу с туристическим справочником. <...>

Пятница, 14 января 1927 года

И опять в поезде — из Рима в Париж. Во вторник ужинал в "Russie"; не самый лучший ужин, если учесть, во что он мне обошелся. Потом пустился было на поиски римской ночной жизни, но оказалось, что она отсутствует — запретил дуче. Пошел в нечто похожее на мюзик-холл, где дамы в сморщенных трико танцевали непристойные танцы, а мертвенно-бледный господин во фраке жонглировал какими-то сверкающими предметами.

В среду ходил на экскурсию, и должен сказать, что смотреть город с экскурсоводом не так уж плохо. Состояла наша группа почти полностью из женщин (гувернанток, скорее всего); они задавали идиотские вопросы и, когда им что-то нравилось, издавали свистящие звуки. Экскурсовод попался знающий. Утром ходили в Ватикан. Сикстинская капелла меня разочаровала. Потолок великолепен, но День Страшного суда утратил весь свой насыщенный цвет и перекрашен в блекло-голубой. Да и композиция оказалась не столь безупречной, как я ожидал. Огромные скопления фигур сильного впечатления не производят. После обеда — в Колизей, в катакомбы Святого Каликста и в церковь Святого Себастьяна за городской стеной. В тот же вечер переехал в мансарду в устрашающем пансионе "Nuova Roma"[1]. Впрочем, стоила комната всего 11 лир, так что жаловаться не приходится. Я бы уехал в тот же вечер, но не смог обналичить отцовский денежный перевод. Утром — на заутреню к Святому Петру, потом в Санта-Мария Маджоре и Санта-Джованни-в-Латерано. Денег было так мало, что ничего не клеилось. <... >

Воскресенье, 20 февраля 1927 года

В четверг на очень быстром и удобном поезде ездил в Лондон и шлялся по магазинам. В следующий четверг собираюсь поговорить с отцом Андерхиллом о том, чтобы стать священником. Вчера вечером напился. Забавно смотрятся рядом два последних предложения. <...>

1. "Новый Рим" (*итал.*).

Минут через пять, после того как я записал эти слова, когда мы с Аттуэллом сидели у камина и, смеясь, вспоминали, как напились накануне, внезапно в комнату ворвался Кроформ и в одно мгновение уволил нас обоих, оговорив, что Аттуэлл проработает до конца семестра. По всей вероятности, донесла сестра-хозяйка[1]. День получился напряженный. Апуорд был со мной суров, но предупредителен, ученики же меня сторонились: боялись, как бы не увидели, что они со мной разговаривают. <...> Я поспешно сложил вещи, книги оставил — пришлют по почте, и тихонько, точно горничная, которую уличили в краже перчаток, улизнул. С вокзала позвонил родителям предупредить о своем неожиданном приезде. Ужин в окружении удрученных членов семьи.

Хэмпстед, понедельник, 21 февраля 1927 года

Сегодня, 21 числа, весь день провел в поисках работы; устал, обескуражен. Пустые хлопоты. Написал Эдмунду и Чарльзу прощальные письма. Пришло, мне кажется, время попробовать стать литератором.

Понедельник, 28 февраля 1927 года

<...> Сегодня утром, в понедельник, в "Ассоциации будущей карьеры" мне сообщили, что директору школы в Ноттинг-Хилл на несколько недель требуется младший преподаватель. Я туда отправился и был принят на работу за 5 фунтов в неделю. Дышать стало легче, но работа, боюсь, никуда не годится.

Понедельник, 7 марта 1927 года

Школа в Ноттинг-Хилл совершенно ужасна. Все учителя говорят на кокни, сплевывают в камин и чешут у себя в промежности. У учеников коротко стриженные головы и подвязанные бечевкой очки в железной оправе. Ковыряют в носу и истошно кричат друг на друга — тоже на кокни. Первые три дня делать было решительно нечего — разве что "надзирать" за одним из учеников, который писал экзаменационную работу. В дальнейшем меня использовали в качестве репетитора.

1. В книге "Оксфорд в двадцатые годы" (1976) Кристофер Эллис пишет, что матери Во сказал, что уволен за пьянство, тогда как на самом деле "его, по его собственным словам, уволили за попытку соблазнить сестру-хозяйку".

В среду ходил с Энн на пьесу “Дракула”, был у Гаролда Эктона[1]. В пятницу ходил на собеседование в “Дейли экспресс”. Готовы взять в конце семестра на трехнедельный испытательный срок за 4 фунта в неделю. Не знаю, подойдет ли мне, но попробовать стоит. <...>

Четверг, 7 апреля 1927 года

Работа в Холланд-парке[2] завершена, однако зарабатывать на жизнь, судя по всему, труда не составит. Колеблюсь: то ли идти в “Дейли экспресс”, то ли сесть за биографию[3]: Дакуорт[4] проявляет к ней некоторый интерес. Ходил по гостям, потратил кучу денег. Познакомился с очень милой девушкой Ивлин Гарднер[5]...

Понедельник, 9 мая 1927 года

Пошла пятая неделя моей работы в “Дейли экспресс”.

Дакуорт заказал мне биографию Россетти и немедленно выдал 20 фунтов, которые я спустил за неделю. С тех пор я не заработал ни пенса, если не считать тех 5 фунтов, которые мне платят на Шу-лейн. Работа в газете веселей некуда, хотя от меня требуется всего-навсего сидеть в редакции; шумно, а теперь еще и очень жарко.

Работает в газете очаровательная девушка Иньес Холден. Хожу по гостям. Вступил в клуб “Горгулья”.

На выходные ездил в Плимут, на один день — в Париж. Когда светит солнце, кругом все так славно.

Понедельник, 23 мая 1927 года

Уволен из “Экспресс” и жду не дождусь каникул. <...>

1. Гаролд Эктон (р. 1904) — выпускник Оксфорда, одна из наиболее колоритных фигур в среде оксфордцев 30-х гг.; участник Второй мировой войны; литератор, автор стихов (сборник “Аквариум”), двухтомной автобиографии (“Мемуары эстета”), художественной и исторической прозы. Близкий друг И. Во, Эктон сыграл немалую роль в становлении идеологических и литературных взглядов писателя. В образе Энтони Бланша Эктон выведен в “Возвращении в Брайдсхед”.
2. В Холланд-парке, на Шу-лейн, в Ноттинг-Хилл, находилась школа, где в марте—апреле 1927 г. работал И. Во.
3. Одно время Во собирался написать биографию Россетти.
4. Издатель; многие “нехудожественные” произведения И. Во (путевые очерки, автобиография) вышли в его издательстве.
5. Ивлин Гарднер (р. 1903) — первая жена Во, на которой он тайно женился 27 июня 1928 г., с которой разошелся в 1929 г. и развелся в 1930-м.

Пятница, 1 июля 1927 года

После месячных каникул сел за книгу о Россетти. <...>

Хэмстед, пятница, 22 июля 1927 года

Написал около 12 ооо слов книги о Россетти — без особого труда. Получается вроде бы довольно забавно. К сожалению, в следующем году о нем выйдут еще несколько книг[1]. <...>

Барфорд-хаус, Уорвик, пятница, 26 августа 1927 года

В Барфорд приехал к обеду. Помимо Аластера и миссис Г. здесь полный сбор: гувернантка миссис Х., Джейн и мисс Гудчайлд. За столом высокое напряжение.

Миссис Х. (*ничего не ест, взбивает в винном бокале соус к салату*). Нет оливкового масла.

Миссис Г. Того, что надо *вам*, в доме никогда нет.

Уходят дворецкий и миссис Г. Дворецкий возвращается с маслом. Спустя десять минут входит миссис Г. с маслом.

Миссис Х. Сейчас оно мне уже не нужно.

Миссис Г. Разумеется, теперь, когда я вам его *принесла*, оно вам больше не нужно.

Миссис Х. (*в сторону, выходя из комнаты*). Она делает это специально, чтобы отвлечь нас от ужина и сэкономить деньги.

Суббота, 3 сентября 1927 года

Как же я ненавижу этот дом, как плохо себя здесь чувствую. Все сотрясается, идет ходуном от проезжающего транспорта. Не могу ни спать, ни работать.

Рецензировал книги; начал писать комический роман ["Упадок и разрушение". — *А. Л.*]. Мать уехала в Мидсомер-Нортон, где умирает тетя Трисси. Непрерывно звонит телефон, отец носится вверх-вниз по лестнице, Гаспар лает, садовник рыхлит под окном гравий — и безостановочно несутся машины. Еще одна такая неделя — и я сойду с ума.

Барфорд-хаус, Уорвик, сентябрь 1927 года

Воскресенье. Делал наброски для книги о Россетти, обедал, ездил в поле, где бегают собаки. <...>

1. В 1928 г. в Англии отмечалось столетие со дня рождения Россетти.

Четверг, 6 октября 1927 года

После чая ездили в Келмскотт[1]. Дом гораздо меньше, чем я думал, подъездная аллея отсутствует, лишь небольшие запирающиеся ворота, выходящие прямо на дорогу. К дому ведет мощеная дорожка с большими тисовыми деревьями по бокам; из одного Уильям Моррис вырезал дракона. Комнаты темные, с очень низкими потолками, не покидает ощущение какой-то стиснутости. Невозможно представить, что когда-то здесь жило столько людей. Мисс Моррис[2] — отталкивающего вида женщина, очень застенчивая, нелепо и неряшливо одетая в неизменные платья ручной вязки. С ней живет гермафродит. Два изысканных карандашных наброска Россетти: изображены мисс Моррис и ее сестра — еще детьми. Бессчетное число набросков самой мисс Моррис, большая картина маслом и эскизы для пределлы "Сон Данте". Мебель и отделка нетронуты со дня смерти Морриса. Гобелены, что так волновали Р. [Россетти. — *А. Л.*], принадлежат не Моррису — это работы старые, они висели в доме, когда Моррис его купил. В саду тоже места мало, тропинки ужасно узкие. А ведь я представлял его себе таким просторным — быть может, это потому, что вместо Морриса здесь живут эта странного вида женщина и ее гермафродит.

Хэмпстед, суббота, 22 октября 1927 года

<...> В понедельник ходил в Академию мебельного дизайна на Саутгемптон-Роу[3]. Познакомился с очень грубой секретаршей и симпатичным директором; договорился, что буду посещать великое множество самых разнообразных кружков. Чай с Ивлин и Пэнси[4].

Вторник, 25 октября 1927 года

Начал рисовать и чертить. По вечерам занимался резьбой по дереву. Ужинал с Тони Пауэллом[5].

1. Келмскотт Мэнор-хаус в графстве Оксфордшир — дом Уильяма Морриса, купленный им в 1871 г.
2. Мэй Моррис (1862—1938) — дочь Уильяма Морриса.
3. Имеется в виду отделение по изготовлению мебели красного дерева в Центральной школе искусств и ремесел, основанной в 1896 г.
4. Леди Пэнси Пэкенхем — подруга Ивлин Гарднер; снимала вместе с ней квартиру сначала в пансионе на Эбьюри-стрит, потом на Слоун-сквер.
5. То есть с писателем Энтони Пауэллом (1905—2000), оксфордским другом Во, автором многотомного романа "Танец под музыку времени" (1951—1975).

Среда, 26 октября 1927 года

Рисовал орнамент на гипсовых слепках. Ужинал с Теренсом.

Четверг, 27 октября 1927 года

Чертил секции и проекции. Чай и кино. Иньес.

Пятница, 28 октября 1927 года

Строгал доски. Чай с Дадли. Пэнси. Обед с Фулфордом.

Вторник, 29 ноября 1927 года

До смерти надоел Лондон и его нескончаемые туманы. Последнее время ничего особенного не происходило. Часто вижусь с Ивлин и иногда — с Оливией. <...>

Понедельник, 12 декабря 1927 года

Ужинал с Ивлин в "Рице". Сделал ей предложение[1]. Определенного ответа не получил. Отправился на вечеринку к Урсуле. Звонил Пэнси — говорит, чтобы женился. Поехал на Слоун-сквер посоветоваться. Поехал на Бурбон-стрит и рассказал Оливии. Домой вернулся поздно; долго не мог заснуть.

Вторник, 13 декабря 1927 года[2]

Звонила Ивлин: мое предложение принято. Ездил в Саутгемптон-Роу, но работать был не в состоянии. Ходил в паб с Дадли — сообщил ему о помолвке. Чай с Ивлин. Пэнси — она на моей стороне — пытала Алетею Фрай[3]. Пьеса Фила Коддингтона. Домой. Устал, как собака.

1. Когда Ивлин Во сделал Ивлин Гарднер (чтобы отличить жену от мужа, ее называли "Ивлин-она") предложение, он сказал: "Давай поженимся и посмотрим, как пойдет".
2. На этой записи дневник прерывается на полгода, до конца июня 1928 г. В начале 1928 г. Ивлин Гарднер и Пэнси Пэкенхем уезжают из Лондона в Уимборн, графство Дорсет. Во снимает комнату в Барли-Моу, в двух милях от Уимборна, где начинает писать свой первый роман "Упадок и разрушение".
3. Алетея Фрай — старшая сестра Ивлин Гарднер; жена политика сэра Джеффри Фрая.

Среда, 27 июня 1928 года

Обвенчались с Ивлин в церкви Святого Павла на Портмен-сквер в 12 часов. Какая-то женщина в алтаре печатала на машинке. Гаролд — шафер. Роберт Байрон выдавал невесту, Алек и Пэнси — свидетели. На Ивлин был новый, черный в желтую полоску джемпер, на шее шарф. Пошли в клуб "500" и выпили шампанского "под прицелом" подозрительных взглядов Уинифред Макинтош и князя Георгия из России. Оттуда на обед в Бульстене. Обед удался. Потом — на Паддингтонский вокзал, поездом в Оксфорд и на такси в Бекли.

6 июля

Наш медовый месяц подошел к концу. Все в Бекли были с нами очень милы. Женщины приносили нам в комнату букеты цветов. У мистера Хиггса Ивлин пользовалась большим успехом. <...>

В субботу рисовал обложку для романа в "Чепмен-энд-Холл"[1], одновременно держал корректуру "Упадка". С Чепменом иметь дело не так-то просто.

Излингтон, четверг, 4 октября 1928 года

Сразу после завтрака позвонили из "Чепмен-энд-Холл" и сказали, что Даблдей и Доран[2] хотят издать "Упадок" в Америке и дают мне аванс — 500 фунтов. К концу дня сия блестящая новость существенно потускнела: выяснилось, что придется делиться с Брандтом[3], издательством "Чепмен-энд-Холл" и Соединенными Штатами, и получу я поэтому чуть больше половины указанной суммы, причем не раньше весны следующего года. Пусть так; новость все равно — из лучших. После обеда привезли изготовленную на заказ мебель. После ужина приходил Тони Пауэлл; рассказывал сплетни про Ситуэллов.

1. Дакуорт, который издал эссе Во о Россетти, счел "Упадок и разрушение" романом непристойным и печатать его отказался. В результате Во опубликовал книгу в издательстве "Чепмен-энд-Холл", где работал его отец. В дальнейшем путевые очерки Во печатались у Дакуорта, романы же — в "Чепмен-энд-Холл".
2. Объединенное нью-йоркское издательство Фрэнка Нельсона Даблдея (1862–1934) и Джорджа Генри Дорана (1869–1956) — "Даблдей, Доран и компания".
3. Американский агент Во.

Воскресенье, 7 октября 1928 года

Ходил в церковь на Маргарет-стрит, но внутрь не попал. Обедал и ужинал в Хэмпстеде. Читал новый роман Олдоса Хаксли[1]: нескончаемо длинный, герои те же, что и в "Шутовском хороводе", те же невнятные социальные прогнозы и унылые любовные связи, та же миссис Вивиш, тот же Колмен[2], нескончаемые прения и биология. Такой роман мог бы написать, получи он сносное образование, какой-нибудь Алек Во.

Понедельник, 8 октября 1928 года

Обедал в "Сэвиле"[3] с Гарольдом, Регги Тернером и Реймондом Мортимером[4]. Хороший обед запивали хорошим вином. Регги Тернер – очень уродливый, забавный человечек, изо всех сил старается не отстать от жизни: "Скажите, что вы и Марго Оксфорд думаете об Олдосе Хаксли?" Рассказывает истории про Уайльда и Бози[5] и про то, как, побывав у Уайльда в тюрьме, он спросил его, хватает ли ему еды. "Они бросают мне сосиски точно так же, как британцы в зоопарке бросают булки медведям". <...> Пил чай с Оливией, а когда вернулся, у Ивлин поднялась температура. Грипп, надо полагать. "Упадок и разрушение" попал в список бестселлеров. <...>

Пятница, 12 октября 1928 года

Врач, чья внешность представляет собой компромисс между мясником и ветеринаром, на основании высыпавшей на лице сыпи объявил, что у Ивлин корь. Леди Бергклир[6] заходила, пока меня не было, и порадовала дочь виноградом, цыпленком, а также сдержанно положительным отзывом о нашей квартире. Рисовал. Бедному Чепмену [Артуру Во. – *А. Л.*] предстоит рецензировать книгу о гориллах. За неделю продано 157 экземпляров "Упадка и разрушения", а всего – 1093. Когда доберемся до 2 000, перестану так волноваться.

1. Имеется в виду роман О. Хаксли "Контрапункт" (1928).
2. Герои первого романа О. Хаксли "Желтый Кром" (1921).
3. Отец и сын Во были членами престижного столичного литературного клуба "Сэвил" на Пиккадилли.
4. Регги Тернер – прозаик; друг Оскара Уайльда. Реймонд Мортимер – критик.
5. Лорд Альфред Дуглас (Бози) – второстепенный поэт, друг и сожитель О. Уайльда.
6. Леди Бергклир – мать Ивлин Гарднер, теща И. Во.

Пятница, 19 октября 1928 года

За неделю продано 827 экземпляров “Упадка”. Второе издание, можно считать, в кармане.

Суббота, 20 октября 1928 года

Написали из “Ивнинг стандард”; просят статью на тему: “В Англии есть молодежь. Дайте же ей ход”. <...>

Понедельник, 22 октября 1928 года

Постригся и встретился с Мартином Уилсоном. К “Упадку и разрушению” относится вроде бы неплохо. От него — на выставку Майоля. Скульптура великолепна, а вот резьба по дереву оставляет желать... <...>

Пятница, 26 октября 1928 года

Дождь. Рецензирую книги, а также пишу статью про “Старость в сорок лет” для “Ивнинг стандард”; за статью обещали заплатить 10 фунтов. <...>

Вторник, 30 октября 1928 года

Письмо от Чарльза Скотта Монкриффа; хвалит “Упадок и разрушение”; хочет, чтобы я нарисовал иллюстрации к его балладе. Сегодня днем ездили в Мальборо. Прекрасный солнечный день. Ивлин увлечена “Упадком” и статьями для “Ивнинг ньюс”.

Пятница, 23 ноября 1928 года[1]

За две недели продано 398 экземпляров. Второго уже издания. <...>

1. Следующая запись в дневнике датируется лишь 19 мая 1930 г. В феврале 1929-го чета Во отправляется в круиз по Средиземному морю, впоследствии описанный в книге путевых очерков Во “Наклейки на чемодане”, однако в пути “Ивлин-она” серьезно заболевает. По возвращении из круиза Во оставляет жену в Лондоне, сам же уезжает из города и начинает писать свой второй роман “Мерзкая плоть”, который выходит в начале 1930 г. и сразу же завоевывает всеобщее признание. В июле 1929-го Ивлин Гарднер уходит от Во к редактору отдела новостей Би-би-си Джону Хейгейту. Разводятся супруги спустя полгода, в январе 1930-го.

Хэмпстед, понедельник, 19 мая 1930 года

Звонит Диксон из "Дейли мейл", просит приехать. Приезжаю. Спрашивает, не соглашусь ли я вести ежемесячную колонку; каждая статья – 15 гиней. Говорю "да". Не успеваю вернуться в Хэмпстед, звонит снова, просит немедленно приехать: меня хочет видеть главный редактор. Переодеваюсь в вечерний костюм, еду. Главный редактор интересуется, не соглашусь ли я вести еженедельную колонку. Говорю: "Да". "А не подпишите ли, – спрашивает, – с нами договор о том, что три месяца не будете писать в другие газеты?" – "Должен, – отвечаю, – спросить Питерса"[1]. – "Какую минимальную сумму вы бы хотели получать?" – спрашивает. Если бы дали пятнадцать фунтов, я был бы на седьмом небе от счастья. Называю двадцать. Он на седьмом небе от счастья. Еду в "Савой", звоню Питерсу: "Называйте двадцать пять". Потом выпиваю и еду ужинать в Рэднор-плейс. <...>

Вторник, 20 мая 1930 года

Питерс уговорил Диксона заплатить тридцать фунтов, отчего мой годовой доход, пусть временно, достигнет 2 500 фунтов. Что вселяет некоторый оптимизм. "Уикэнд ревью" настойчиво напоминает про статью, которую я обещал им написать и забыл. Обед в "Плюще" с Джонатаном Кейпом[2] и моим американским издателем. Заходил к Оливии <...> Вечеринка с коктейлями у Сирила Коннолли[3]. <...> Написал статью в "Уикэнд ревью". Очень плохую.

Среда, 21 мая 1930 года

Вечеринка с коктейлями у Сесил Битон. Ужинал с Элеанор Смит[4] в "Куальино", оттуда – в кино, из кино – в "Эйфелеву башню". Вернулся и сел за статью для "Дейли мейл". Пишу о лесбиянках и запоре.

1. А. Д. Питерс – литературный агент Во.
2. Джонатан Кейп (1879–1960) – издатель; вместе с Джорджем Реном Ховардом основал издательство, носящее его имя.
3. Сирил Коннолли (1903–1974) – писатель, критик, журналист; в 1939 г. вместе с поэтом Стивеном Спендером основал литературный журнал "Горизонт", где печатались Джордж Оруэлл, И. Во, У. Х. Оден.
4. Леди Элеанор Смит (1902–1945) – журналистка, писательница; в 20–30-е гг. вела светскую колонку в лондонских периодических изданиях.

Понедельник, 26 мая 1930 года

Родители уехали в Мидсомер-Нортон. Обедал с Энн Талбот в "Куальино". Обед так себе. Вернулся за письменный стол. Ужинал в "Уолдорф" с моим американским издателем. После ужина — в театр "Савой". Подхожу к кассе и говорю: "Я — Ивлин Во. Посадите меня, пожалуйста". Сказано — сделано.

Посмотрел два последних действия "Отелло" с Робсоном[1]. Постановка безнадежно плоха, но его черное, открытое, простецкое лицо мне нравится. Будь он умнее, вся эта дурацкая сцена с носовым платком выглядела бы куда менее убедительно. <...>

Среда, 28 мая 1930 года

Почти весь день читал первую часть "Истории последних Медичи" Эктона. Сочинение в высшей степени неудовлетворительное, прославит его ничуть не больше, чем роман. Напыщенно, банально, продираешься через запутанные, безграмотные описания. Временами проскакивает искра дарования, ему свойственного, но по большей части — уныло. <...>

Суббота, 31 мая 1930 года

Дважды ходил в кино и прочел несколько страниц очень интересного труда об "Улиссе" Джеймса Джойса. Держал корректуру "Наклеек на чемоданах"; полно опечаток, которых в гранках не было. <...>

Среда, 18 июня 1930 года

<...> Пил чай в "Рице" с Нэнси Митфорд[2]. Пребывала в волнении: в воскресенье вечером Хэмиш[3] сказал ей, что ему вряд ли когда-нибудь захочется спать с женщиной. Пришлось долго объяснять, что сексуальная робость мужчинам свойственна.

1. Поль Робсон (1898—1976) — американский певец, актер, общественный деятель. Выступал в различных театральных ролях (в том числе — Отелло), снимался в кино.
2. Нэнси Митфорд (1904—1973) — одна из шести дочерей второго барона Ридсдейла. Близкая приятельница и постоянная корреспондентка Во и его первой жены Ивлин Гарднер, автор многих романов и биографий.
3. Хэмиш Сент-Клэр-Эрскин (1909—1973) — как и Во, выпускник Оксфорда; одно время был помолвлен с Нэнси Митфорд. Типичный представитель "золотой молодежи", описанной в романах Во.

Лондон, понедельник, 23 июня 1930 года

Утренним поездом из Сезинкота в Бирмингем. Побывал в картинной галерее. Валлиец, хранитель музея, спросил, не был ли валлийцем и Огастес Джон[1]. Голова персидского мальчика кисти Россетти, ранняя работа — ничего мне про нее сказать не смогли. На другие картины Россетти не похожа абсолютно. Обедал с Генри, потом — на его фабрику, где видел медное и железное литье. Был совершенно потрясен сноровкой рабочих. Ничего общего с массовым трудом или механизацией — чистое искусство и ремесло. Особенно красива медная отливка: зеленый расплавленный металл из докрасна раскаленного котла. Вернулся в Лондон и переехал к Ричарду.

Понедельник, 7 июля 1930 года

Обедал в "Рице" с Ноэлом Коуордом[2]. По натуре прост и дружелюбен. Мозги отсутствуют. Прирожденный актер. Говорили о католицизме. "Совершите кругосветное путешествие", — посоветовал он мне. Рассказал, что знает настоятеля в доминиканском монастыре, который больше всего на свете хотел стать актером и на этом помешался. Кончилось тем, что его обнаружили в нижнем белье своей хозяйки. <...>

Вторник, 8 июля 1930 года

В одиннадцать ходил к отцу Д'Арси[3]. Синий подбородок, тонкий, скользкий ум. Иезуитская часовня на Маунт-стрит обставлена хуже не придумаешь. Англиканам до такой безвкусицы далеко. Говорили о литературном вдохновении и Ноевом ковчеге. <...>

Пятница, 11 июля 1930 года

Ходил к отцу Д'Арси; говорили о непогрешимости и отпущении грехов. <...>

1. Огастес Джон (1878—1961) — английский художник-портретист.
2. Ноэл Коуорд (1899—1973) — актер, драматург, сценарист, композитор, автор стихов, рассказов, романа и двухтомной автобиографии.
3. Мартин Д'Арси (1888—1977) — выпускник Оксфорда, священник-иезуит, автор ряда богословских трудов. В 1930 г. Д'Арси обратил Во в католичество, а в 1937-м совершил обряд бракосочетания Во с его второй женой; двумя годами ранее писатель получил официальное разрешение из Ватикана на развод с Ивлин Гарднер.

Пятница, 15 августа 1930 года

Приехала со своей собакой Оливия. Театральный антрепренер хочет, чтобы я переделывал пьесы для сцены. Не такой уж сложный способ заработать много денег. <...>

Хэмпстед, пятница, 22 августа 1930 года[1]

Приехал на Норт-Энд-роуд переночевать. Отца, накануне его дня рождения, искусала его же собственная собака. <...> Вечером пошел в кино, отчего отец был безутешен.

Лондон–Аддис-Абеба, пятница, 10 октября – воскресенье, 26 октября 1930 года

Французский кинооператор в поезде: обувь снял, но всю ночь проспал в лайковых перчатках. Рука в перчатке свешивалась с couchette[2] и покачивалась в такт движению. Медный пол раскален докрасна. В ресторане маршал Петен[3]. Только он и я лицезрели jour maigre[4], за что были вознаграждены oeufs au plats[5].

"Café de Verdin" в Марселе. Превосходный обед.

"Azay le Rideau". Пароход — видавший виды и не слишком чистый. В коридорах голые полы. У меня двухместная каюта с наружной стороны. Пассажиры: французские колониальные чиновники с совершенно неуправляемыми детьми, офицеры Иностранного легиона — дурно одеты, небриты, с оттопыренными, как у коммивояжеров, животами. Люди спят в трюме, едят и живут на палубе. Очень неопрятны — с виду каторжники. Бородатый sous-officier[6]. В основном немцы; один — американец. Двое за час до Порт-Саида выпрыгнули из иллюминатора и исчезли. Еще один перед обедом, возле

1. В конце августа (последняя запись от 23.08) дневник прерывается почти на два месяца. 29 сентября Во принимает католичество. Возобновляется дневник 10 октября во время поездки Во в Эфиопию (тогдашнюю Абиссинию) на коронацию Рас Тафари, провозглашенного императором Эфиопии Хайле Селассие I (1892–1975). Это путешествие послужило материалом и вдохновением для двух книг Во — путевых очерков "Далекий народ" (1931) и романа "Черная напасть" (1932).
2. Кушетка (*франц.*).
3. Филипп Петен (1856–1951) — французский политик, маршал Франции. Герой Первой мировой войны, коллаборационист — во Второй.
4. Хмурый рассвет (*франц.*).
5. Яичница-глазунья (*франц.*).
6. Унтер-офицер (*франц.*).

Суэца, у всех на глазах выпрыгнул за борт; был схвачен египетской полицией, на пароход не возвращен.

На борту польские и голландские делегации; деловито расхаживают с портфелями, набитыми, надо полагать, поздравительными адресами. В Суэце на борт поднимаются французы и египтяне. Рас[1] — с сыном, двумя слугами и секретаршей-переводчицей; одета по-европейски, идет с ним под руку.

Англичанки (наполовину малайки?), мать и дочь. Из Канн в Мадрас. Поначалу решил, что дочь наше путешествие оживит. Обе абсолютно ничего не соображают. Дочь, Дениз Гарисон, не гнушается косметикой: густо подведены глаза, алый маникюр — но не для того чтобы соблазнять самцов; просто по-детски подражает светским львицам в Каннах. Обе так глупы, что, хоть и играют целыми днями в детские карточные игры, даже пересказать правила не в состоянии; все игры, которым они нас учили, перемешались у них в голове. <...>

Тот, кто на пароходе переедает, пьет, курит и не совершает прогулок по палубе, — живет в свое удовольствие. Те же, кто ведет "здоровый образ жизни", мгновенно заболевают.

Стоит мне оказаться вне своего привычного круга, как я начинаю лицемерить, говорю и рассуждаю в несвойственной себе манере.

И в первое, и во второе воскресенье проспал утреннюю мессу. Священники и монашки плывут вторым классом. Рыбу по пятницам на ужин не подают.

Голландский проповедник играет в какой-то особенный бридж, где misére[2] называется "Лулу".

Два дня fête: course de chevaux — играли только французы; pari mutuel[3], шансы почти равные. Пароход разукрашен; кинофильм еще хуже, чем обычно. Когда вошел маршал, все встали; очень приветлив, раздает автографы, на аукционе подписанная им фотография стоит 900 франков. Пассажиры второго класса приходят на бал и на концерт. Джаз-банд "Legionnaires"[4]: губная гармоника, барабан и банджо; на барабане наклейка "Mon Jazz"[5]. Пела девица, Бартон назвал ее "Люси всеми любимая". Относительно поездов "Джибути—Аддис-Абеба"[6] полная неясность; слухи противоречивы: дело в

1. То есть Рас Тафари (рас — высший княжеский титул в Эфиопии).
2. Мизер (*франц.*).
3. Празднеств... скачки... взаимные пари (*франц.*).
4. "Легионеры" (*франц.*).
5. "Мой джаз" (*франц.*).
6. Железная дорога "Джибути—Аддис-Абеба" проходила по территории французского Сомали.

том, что бельгийский консул не может связать по-английски двух слов. Горячий ветер. Жившие в тропиках не выдерживают. За день до Джибути на море волнение. “Azay” очень прочен. Драка между стюардами. Китайца посадили под замок; в камере, кроме него, уже два солдата. Потею. Подарил библиотеке книги сомнительного содержания.

В Джибути прибыли на рассвете. Одна пара еще танцевала; лица серые. С поездами по-прежнему неизвестность; начальник интендантской службы заверяет, что поезда есть: один — рано утром, другой — вечером. “Специально для делегаций”. И еще один вечерний, и тоже специальный. Бартон и я сходим на берег; встреча с британским консулом Лоу, молодым агентом по погрузке и разгрузке судов. Действительно, имеются два поезда, оба специальные, для делегаций. Говорит, что и на тот, и на другой достать билеты “затруднительно”. Проливной теплый дождь, плащей нет, тропические шлемы мокнут. “Hôtel des Arcades”[1], очень славная французская управительница. Дала нам номер с балконом, чистым бельем, ванной. Оставил на пароходе губку, бритву и пр. Дождь прекратился. Едем на машине по залитым водой улицам. Нищие, инвалиды, прокаженные. Европейский квартал: ветхая лепнина, широкие улицы, штукатурка осыпается на глазах. Людей охватывает внезапный испуг — не мог сначала понять, в чем дело; машину встряхнуло — землетрясение. Туземный квартал: глиняные хижины. Поменял деньги — норовят обсчитать. Сомалийцы: у одних бритые головы, у других крашеные рыжие кудри. Вернулись в отель; Лоу добыл нам билеты на пассажирский поезд со всеми остановками. Chasseur[2] в отеле заверил: на таможне наш багаж проверять не будут. <...> Обедали на террасе; маленькие мальчики обмахивали нас веерами в надежде на чаевые.

Сели в поезд: египетские, польские, японские, голландские делегации; вагон первого класса пустует. По соседству американские репортеры. Едем ночью. В Дире-Дауа приехали рано утром. Длиннейший кортеж, войска на всем пути к губернаторской резиденции, для делегатов завтрак с шампанским. Мы с Бартоном завтракаем в гостинице. Повидать нас явился Зафиро, секретарь по делам Востока. Абиссинский костюм — вижу впервые. Повсюду почетный караул — численность варьируется. Обед в Афдеме; четыре мясных блюда. Ужин в Хаваше. Праздничные танцы — египтяне в восторге; четырехчасо-

1. Отель “Аркады” (*франц.*).
2. Ливрейный лакей в гостиницах (*франц.*).

вое ожидание; нет электричества. Идти некуда. Опять мясо. Предупреждали, что ночи холодные, но нет — всего лишь приятная прохлада; одеяла взяты напрокат в "Hôtel des Arcades". Между Дире-Дауа и Хавашем устрашающего вида карликовые деревья. Плодородная земля. Поезд всю ночь взбирается в гору; утром — горный пейзаж, туземные деревушки. Остановились на рассвете; завтрак в Моджо, потом Акаки; члены делегаций могут переодеться.

Аддис [Аддис-Абеба. — *А. Л.*], 10.30. Императорская гвардия в хаки, ноги голые, вооружены, военный оркестр из черных мальчишек бесконечно долго играет все гимны подряд; официальные приемы. Племянницы Бартона потрясены: как это, я не озаботился жильем. В посольстве; всеобщее возбуждение. Поехал в "Hôtel de France"[1] забрать вещи и оставить визитки. Встретил Траутбека, просил о встрече, в интервью отказано. Все последующие дни кошмарная неизвестность: добыть информацию невозможно никакими силами. Круг общения: Холл — полунемец, возглавляет bureau d'étrangers[2]; Колльер — будущий директор банка, вступит в должность в январе — если абиссинцам будет чем платить; Тейлор — секретарь по делам Востока, его жена — славная, неказистая. Племянница Бартона — нечто совершенно непереносимое, дочь — истеричка. Британская миссия прибывает 28-го. Прием в саду в субботу. Вечерний прием в пятницу. <...>

Аддис: широкие улицы, недостроенные дома. Казино незакончено. С появлением именитых гостей люди в цепях куда-то с улиц исчезают. <...>

Коронация в воскресенье; нескончаемая служба — с 6.30 до 12.30. Из-за кинооператоров ритуал смехотворен.

Аддис-Абеба, понедельник, 3 ноября 1930 года

Встал в семь, пошел в католическую церковь: островок здравомыслия в обезумевшем городе. Вернулся, разогнал прислугу <...>. Ходил в ратушу, сказал, что хочу попасть на геббур [праздник. — *А. Л.*]. Ответили: приходите позже <...>. Ходил в мавзолей [императора Менелика II. — *А. Л.*]: устрашающего вида здание, чем-то напоминает византийское. <...> С профессором Уиттмором[3] осмотрели церковь Хайле Селассие: зда-

1. Отель "Франция" (*франц.*).
2. Иностранное бюро (*франц.*).
3. Профессор Томас Уиттмор — американский ученый, специалист по церковной архитектуре; реставрировал мозаику в Святой Софии, в Стамбуле.

ние круглое, крытое соломой, аркада, внутри — картины маслом, снаружи клеенка, турецкие узоры, колонны с каннелюрами. Солнце село так быстро, что многого не увидели. Пошел в лавку, купил фотографии: оскопление побежденных в бою. Вернулся в отель, предъявил счет на 18 талеров. Перепалка. Пошел на попятный. <...>

Из английского посольства в итальянское. Фейерверк: европейцы в восторге. Его королевское высочество в баре. Вручение орденов; многие европейцы не скрывают своего разочарования. Бартону вручают "Звезду Эфиопии первого класса". Всем остальным — награды более высокие.

Вторник, 4 ноября 1930 года

Спал до девяти, ходил смотреть парад; отправили на места для прессы <...>. Начался с опозданием; скука смертная. Вернулся обедать в гостиницу. По церквям с Уиттмором. Фрески с изображением святых мучеников[1]: кровь льется рекой. Писал репортаж о параде, спал на ходу, общался с журналистами <...>. Телеграмма из "Дейли экспресс": "Сообщение коронации безнадежно устарело. Нас опередили все газеты Лондона". <...>

Суббота, 8 ноября 1930 года

Ходил с Айрин в новый музей. Ничего лучше здесь не видел. Отличные экскурсоводы. Айрин в бриджах для верховой езды, я — во фланелевом костюме. По возвращении получили приглашение на обед во дворец. Переоделся в утренний костюм и отправился. Обед: столпотворение, вся местная знать плюс американские кинооператоры в зеленых костюмах, плюс французские журналисты во фраках. Подрядчики, школьные учителя, миссионеры. Сидел между фоторепортером и английским летчиком. <...>

Понедельник, 10 ноября 1930 года

В шесть утра выехали с Уиттмором в монастырь Дебра-Либанос[2]. Пустые бутылки для святой воды. Великолепное утро. Вверх на Энтото, потом — через долину, вдоль многочислен-

1. Речь в данном случае идет о соборе Святого Георгия — главной церкви эфиопской столицы.
2. Дебра-Либанос — самый почитаемый в Эфиопии монастырь, центр религиозной жизни христианской части страны.

ных речушек. Обогнали караван осликов; везли шкуры. Обедали около одиннадцати. Уиттмор жевал сыр. Я съел мяса и выпил пива. Впереди огромное пастбище. Многократно сбивались с пути. Шустрый местный мальчишка запрыгнул на подножку автомобиля. Уиттмор кланялся пастухам. Часа в два резко затормозили перед глубоким оврагом, внизу река. В окружении голых мальчишек в язвах, а также бабуинов спустились вниз по крутой тропинке. Уиттмор не устает кланяться. На полукруглом выступе несколько глинобитных хижин, пара каменных домов и церквей. Навстречу красивый бородатый монах под желтым зонтиком от солнца. Шофер отправлен на поиски патриарха Абуны. Сели в тени возле церкви. Монах что-то написал на руке красивым почерком. Уиттмор указал на букву, похожую на крест, и перекрестился. Монах озадачен. Повел нас к патриарху: коричневый плащ, белый тюрбан, черный зонт, мухобойка; подвел к квадратному каменному дому. Ждем. Собралась толпа. Через полчаса пустили. Кромешная тьма. Маленькие окна под потолком занавешены дерюгой. Свет за дверью — единственный. Собралось двенадцать священнослужителей; две покрытые тряпками табуретки. Абуна читает вслух рекомендательное письмо. Возгласы одобрения. Учтивая беседа — шофер переводит. Из шкафа белой древесины извлекаются предметы, завернутые в разноцветную шаль. Сначала две мрачные немецкие гравюры на досках, потом иллюминированные рукописи. И то и другое — современное. Затем повели смотреть святые источники на склоне горы. Под нависшей скалой разбросаны гробы — нечто вроде деревянных ящиков, куда складывают вещи, или сундуков. Святая вода из ржавых труб. Отдельная, лучшая, комната — Менелика. Маленькая хижина — императрицы[1]. Предложили хижину и нам; внутри козы и осы. Ответили, что предпочитаем палатку. Сказано — сделано: установили, землю устлали сеном, сверху — тряпки. Абуна присматривал. "Вы способны убить козу, овцу или ягненка?" — "Нет". Мед. Сидим в палатке. Вносят местный хлеб, пиво, мед — все несъедобно. Абуна садится. Разделить с нами трапезу не решается. В конце концов, уходит. Едим из плетеной корзины. На столбе лампочка. Абуна пришел пожелать спокойной ночи, стряхнул с тряпок порошок от блох. Снаружи монах с винтовкой. Промозглая ночь. Спал мало. Уиттмор храпел. Шофер взял себе мед и пиво.

1. Имеется в виду императрица Заудита — дочь Менелика II.

Вторник, 11 ноября 1930 года

Проснулся на рассвете, поел солонины, выпил пива. Охранник взял немного меда и пива. В церкви читали Библию – сразу несколько человек. Фрески за семь талеров – современные; на одной стене святые, на другой Страсти Господни, еще на одной младенческие годы. Картины Рас-Касса, Тафари и др. – писались, по-видимому, с фотографий. Святая святых: барабан из мореного дуба, старая одежда, пыль, зонтики, чемодан, чайник для заварки, полоскательная чашка. Маленький ковчег, еще один барабан получше, на нем крест, упавший с небес. Ходили искать бабуинов. Видели двоих. Отдыхали. Пришел с обыском охранник, рылся в одежде. Месса в час дня. У. все целует и ничего не понимает. Белые с золотом облачения. В 2.30 уехали. У. раздает медные деньги. Шли в гору. В машину сели в три. Стемнело в шесть. В Аддис-Абебе – в одиннадцать. Многократно сбивались с пути. У. совсем потерял голову. По всей долине бивуаки. Поднялись на Энтото, потом спустились; опасно. Шофер невозмутим. У.: "J'ai décidé. Nous arrêtons ici". Шофер: "Ca n'est pas d'importance"[1]. Лисы, кролики. "Регби" – так называется наш автомобиль.

Харамайя, понедельник, 17 ноября 1930 года

<...> Обедал с банковским клерком, французом. Тоже собирается в Харар в отпуск. Посоветовал поехать на поезде в Дар-эс-Салам, в Западную Африку. Выехал на пони Плоуменов на хараркую дорогу; забита телегами, повозками, верблюдами и мулами. После обеда спал в комнате без окон, на больничной койке. Ужинал с директором гостиницы. Чтобы получить разрешение уйти, спрашивает: "Вы не можете мне позволить?" Воспитывался в Александрии. У него affaire[2] со знатной абиссинской дамой; послала за ним трех солдат. Пока они ждали, он дал им по сигарете.

Харар, вторник, 18 ноября 1930 года

<...> Ходил по городу с мальчиком-провожатым. Видел лепрозорий. Врач – священник, очень радушный. Маленькие хижины (прокаженные вдвое ниже обычного человека). Католическая церковь. Меня благословил безумный епископ-капуцин.

1. "Я решил. Мы останавливаемся здесь" ... "Это не имеет значения" (*франц.*).
2. Интрижка (*франц.*).

Сидел у него на диване и расспрашивал про Рембо. “Очень серьезный. Жизнь вел замкнутую. После его смерти жена уехала из города — возможно, в Тигр”. <...>

Ужинал в гостинице. После ужина армянин и еще один армянин-галантерейщик, а также банковский клерк-француз повели меня на хараpскую свадьбу. Празднований два. Одно — в доме невесты, другое — у жениха. Жених гораздо богаче. В доме невесты танцуют: двое мужчин с закрытой нижней частью лица и одна девушка с платком на голове; семенят взад-вперед, иногда спотыкаются. Девушки исключительной красоты; стоят, сгрудившись, и поют хором. Барабаны. Хлопают в ладоши. Празднование в доме жениха в нескольких кварталах от дома невесты; все то же самое, но более пышно. Благовоние от курения ладана. На полках мешки с кофе, по стенам разноцветные корзины. Армянин прихватил револьвер и дубинку. Мальчик и полицейский. При виде полицейского гости разбежались: свадьбы запрещены. Улицы словно вымерли, ни души. Все двери с наступлением темноты запираются. В город, перейдя через реку, входят гиены.

Среда, 19 ноября 1930 года

Армянин и его друг галантерейщик повели меня на прогулку. Видел арабскую рисованную карту, на ней зеленые пятна от кхата. Зашли во дворец, в крошечном загоне лев; вонь несусветная. Тюрьма. Камеры выходят во двор. По пять-шесть человек в каждой камере. Цепи, язвы. Побывали в трех-четырех теджах [питейных заведениях. — *А. Л.*]. Бордели. Над дверью красный крест. Уродливые женщины. Видели удивительно красивых девушек, плетут мебель и подносы. Заходили в дома, заглядывали в чуланы и на кухни, щипали девиц и пробовали еду. Не пропустили ни одной армянской лавки. Обедали в гостинице. Потом болел живот. <...>

Аден–Момбаса, среда, 10 декабря 1930 года

Пароход пришел в шесть. На борт поднялся в девять. Транзит оформил бесплатно. Люди за столом — один хуже другого. Каюта отличная, вот только сосед — француз.

Плавание в Момбасу: на редкость удачно; море спокойное, летучие рыбы, тепло, но не жарко. Милейший американец Кики Престон — раньше ужина с постели не встает. Полненькая англичаночка, учится на биологическом факультете, собирается замуж за человека лет на двадцать старше. Ни о чем, кроме противозачаточных средств, не говорит. Ее мамаша. Еще одна девица — ры-

жеволосая. Миловидный клерк, зовут Смит, работает в “Шелл”. Вторым классом путешествуют турок и англичанин Уилвуд.

Занзибар–Дар-эс-Салам, понедельник, 29 декабря 1930 года

Покинул Занзибар на большом итальянском пароходе “Маццини”; плыву вторым классом: пароход почти совсем пуст. Последние дни в Занзибаре разбирал почту, пришедшую в субботу и воскресенье. В основном — поздравления или поношения из-за того, что стал папистом. Сегодня религиозные споры — удел низших умов; так мне кажется. Пароход кишит маленькими черными жучками. Одна англичанка (они с мужем, специалистом по обжигу кирпича, совершают кругосветное путешествие и море видят впервые за одиннадцать проведенных тут лет) рассказала мне, что один такой жучок пребольно ее укусил, однако я ей не поверил. Сделали остановку в Дар-эс-Саламе, где я купил энциклопедию Пирса и два романа Эдгара Уоллеса. В городе памятник героям войны — драчливого вида чернокожий и надпись: “Даже если ты погибнешь, сражаясь за родину, — твои сыновья тебя не забудут”. Алтарь в католической церкви, подаренный кайзером. Его герб стерся. На пароходе жарко. У мужа англичанки боли. Кинофильм; вечером еще один — “Тарзан”.

Джинджа, Уганда, воскресенье, 18 января 1931 года

Объехал Кисуму на машине. Жалкие бунгало разной формы и размера.

<...> На следующий день — в Джинджу. В гостинице свободных номеров не оказалось — спал в пансионе <...>. Видел верховья Нила, слышал гиппопотамов. В баре разговоры бывалых путешественников: “Слыхали? Носорог сорвал с женщины скальп”, и т. д. Или: “Если буйвол опустил голову — значит, собирается напасть. Тогда цельтесь в позвоночник. Почти наверняка промахнетесь”.

Четверг, 22 января, 1931 года

Поехал с отцом Янссеном в женский негритянский монастырь. Обучают своих жен европейским манерам. Побывал в школе, где мальчиков учат говорить по-английски и дают такие, например, задания: “Расскажите о связях Генуи и Венеции в XVIII веке”. Все учителя черные. Чернокожие монашки рассказывают друг другу про Японию и Аравию.

Вернулся в четыре. Редактор “Уганда геральд” повез меня на могилу Мутесы и во дворец. Кабака — многоженец, императри-

ца — шлюха. Отец Янссен не без удовольствия рассказал об отлучении от церкви священников, членов миссионерского общества, за прелюбодеяние. Всех преступников, перед тем как они поднимутся на эшафот, обращает в истинную веру. <...>

Суббота, 31 января 1931 года

Семинария. Отец-настоятель — голландец; красивая борода. Поделки из дерева одного из монахов. Двухэтажное бетонное здание на месте дома первых миссионеров. Чтобы стать священником — восемь лет учебы. Трое посвящены в духовный сан. Лаборатория с анатомическими макетами, телеграфом и пр.

Школа "Табора". Большое двухэтажное бетонное здание. Надворные постройки со сводчатой галереей для живущих в школе учителей, старые здания, ферма и пр. Земля сухая. В одном классе учатся печатать на машинке. Ученики в форме: кепки цвета хаки, фуфайки, шорты. Школьный оркестр. <...>

Школьный двор субботним утром. Доска отличия с выведенными на ней именами отличившихся учеников; по одному в год. Помост. Стулья с высокими резными спинками. Сели на помосте с префектами; школьники на земле. Префект этой недели выкрикивает: "Шари" ("Слушается дело").

Трое мальчишек обвиняются в курении. Никто их не защищает. Ложатся на землю, лицом вниз, и сержант дважды бьет каждого палкой, после чего отдает честь присутствующим при экзекуции. В большинстве случаев наказание сопровождается громкими криками. Ученик постарше обвиняется в том, что он отказался пахать поле. Сказал, что не услышал приказа. Вызываются свидетели. Префекты обсуждают этот случай и приговаривают провинившегося к четырем палкам. Объявление: "Эпидемия свинки в городе закончилась". Уходим.

Ходил с коммивояжером в индийский кинематограф. Старый добрый Чарли — "Золотая лихорадка"[1]. Полирует ногти перед едой. Еда украдена. Ест траву с солью, перцем и деликатесами; полощет пальцы. В финале возникает красавец любовник, и Чарли исчезает. <...>

Понедельник, 2 февраля 1931 года

Ехал вагоном второго класса в Кигому. В поезде сплошь бельгийцы и французы; на рассвете пахнет кофе. Кигома — город по преимуществу бельгийский; много греков. Местные дикари. Билет

1. "Золотая лихорадка" (1925) — фильм Чарли Чаплина (1889—1977).

сумел достать только в четыре. "Duc de Brabant"[1] отплывает в шесть. До пяти капитана не видать. Толстый, неопрятный мужчина с женой, да и каюта ужасная. В пять выяснилось, что без медицинского свидетельства на борт не пустят. Бегу со всех ног к дому местного врача, обнаружил его в воде: возился со своей моторкой. Справку дал, даже на меня не взглянув. Обратно, опять бегом на пристань. Отплыли только в двенадцать. Кают нет. Шезлонгов нет. Только маленькие стулья. Бельгиец — начальник интендантской службы, грек, какой-то паршивый американец, оказавшийся миссионером. Уборные во время стоянки заперты. Теплый лунный вечер. Отыскал шезлонг, задремал, но проснулся: часа в три ночи резко похолодало. Порывом ветра опрокинуло стулья. Раскат грома. Ливень. Все бросились в маленький салон, успев промокнуть до нитки. Внесли под крышу сваленный на палубе багаж. Молния — одна за другой; жуткий ветер и дождь; два окна в салоне не закрываются; вода потоками льется с крыши. До рассвета качка; у каждого второго морская болезнь. Рассвет фантастической красоты; дождь прекратился, ветер и море стихли. Палубные пассажиры с козами и свиньями разглядывают то, что осталось от их вещей. Машинное отделение залито водой. Завтрак. Ведем на буксире баржу со скотом. В Альбертвиль прибыли около десяти, но сойти на берег смогли не раньше одиннадцати: проверка паспортов и медицинских удостоверений. Потом — в иммиграционный офис: заполнить анкеты в двух экземплярах. Возраст, девичья фамилия матери и т. д. Очень жарко. Альбертвиль: на переднем плане дома вдоль озера, за домами вздымается гора. Улицы скорее неопрятны, чем грязны. Валяется бумага и пр., растет трава. Низкорослые пальмы. Много кафе, несколько гостиниц. Вместо индусов симпатичные греки. Белокожий лавочник. Девушки в железнодорожной конторе.

Принял ванну, побрился, переоделся; вполне приличная бельгийская гостиница. Дворец. Обед. На вокзал за билетом: самолетное сообщение прервано. Как добраться из Букамы в Порт-Франки, не знает никто. Вежливы, проявляют неподдельный интерес. Билет до Букамы. Днем уснул, встал к ужину, уснул опять. Ночью сначала нестерпимо душно, потом — сильная гроза.

Элизабетвиль, понедельник, 9 февраля 1931 года

Утомительный и нескладный день. До Элизабетвиля добрался в три. Отель "Глобус". Дорогóй, но хороший: во всем чувствуется порядок. В номерах вода, и т. д. Ходил в контору Кука. Билет

1. "Герцог Брабантский" (*франц.*).

на самолет — 100 фунтов. Поручиться за сервис не может никто. Автомобильное сообщение из-за дождей прервано. Самый быстрый путь в Европу — через Кейптаун. Заказал себе билет третьего класса; в Англии, таким образом, буду 7 марта.

Эти незапланированные встречи с роскошью! Как часто в Лондоне, когда пресыщенность порождает скепсис, начинаешь думать, не является ли роскошь фальшью, не путаем ли мы расточительность с совершенством. Когда же после нескольких недель лишений (не стоит их преувеличивать) приходится довольствоваться безымянными и недатированными винами, сигарами с Борнео или с Филиппин, мы вновь наслаждаемся жизненными благами и понимаем, что вкус — по крайней мере, если речь идет о чем-то конкретном, — вещь подлинная и неотъемлемая. Примиримся же с этим.

Побывал на превосходном кинофильме.

Вторник, 10 февраля 1931 года

Работалось прекрасно. Выпил хорошего вина, курил хорошие сигары.

Кейптаун, вторник 17 февраля 1931 года

Кейптаун. Прибыл в 6.30. Ванна, бритье и завтрак в отеле. Поменял у Кука билет, заказал себе шезлонг и прогулялся по Кейптауну. Большие викторианские здания. Трамваи и автобусы. Одно-два здания начала XIV века. Повсюду полукровки — худые, понурые. Поднялся на палубу в полдень; путешествую третьим классом. Еда хорошая, хоть и странная: в 5.30 к чаю подают мясо. Вечером играл в бридж. Стюарды развязны. Слишком много детей.

Четверг, 19 февраля 1931 года[1]

Мистера Харриса отвез на лондонский вокзал на "роллс-ройсе" шофер его приятеля. По приезде Харрис дал носильщику пять шиллингов. Носильщик не скрывал своего изумления. "Еще бы, — закончил свой рассказ Харрис, — он же видел, что я выхожу из "роллс-ройса" и рассчитывал, по меньшей мере, на фунт". <...>

1. На этой, последней, записи путешествия по Африке дневник И. Во опять прерывается — на этот раз почти на два года. Следующая запись — от 4 декабря 1932 г., на пути писателя в Гвиану и Бразилию, откуда Во вернулся в мае 1933-го.

На пути в Джорджтаун, воскресенье, 4 декабря 1932 года

Яркое солнце, легкий бриз, пароход тяжело покачивается на волнах, отчего дети угрюмы и сосредоточенны, а женщины не выходят из кают. Два священнослужителя, один чернокожий, оба протестанты; службе мешает погода. Чернокожий священник-пребендарий, по всей видимости, профессор какого-то университета в Вест-Индии. Голос и дикция, как у проповедника в английском кафедральном соборе, вкрадчивый клерикальный юмор. Сижу за капитанским столиком вместе с негритянкой из Тринидада; лиловые губы. Напротив — ее дородная мамаша. Вчера после ужина негритянка не выходила из каюты. Прочие пассажиры: два-три совершающих кругосветное путешествие старика, жена и дочь английского генерала. Пароход комфортабельный, но не более того; очень шумный, скрипит, как пара новых сапог; койки узкие, жесткие — зато в моем распоряжении трехместная каюта. <...>

Вчера, читая книжки про Гвиану и пребывая в лучшем настроении, чем сегодня, вдруг запаниковал: путешествие вглубь континента обещает быть либо крайне тяжелым, либо. наоборот, непереносимо пресным.

Пароход по-прежнему качает, отчего каждое движение обременительно. Все разговоры неизменно скучны и церемонны.

Понедельник, 5 декабря 1932 года

Прошлой ночью спал мало. Качает; противотуманный горн.

Попытки стюарда внести в мою жизнь ясность:

— В какое время вы меня вызовете?

— Я позвоню.

— В какое время будете звонить?

— В самое разное. Все будет зависеть от того, как я спал.

— Утром вы предпочитаете чай, кофе, какао или фрукты?

— Заранее трудно сказать. Когда чай, когда кофе. Позвоню и скажу.

— Когда вы принимаете ванну?

— Иногда вечером, иногда утром.

Чтобы хоть немного облегчить его участь, подарил ему сигару.

Воскресенье, 11 декабря 1932 года

Два дня назад погода улучшилась. Хорошую погоду нам обещали, когда мы минуем Азорские острова, однако худшая ночь была сразу же после них. Сейчас тепло, море спокойное; сидел бы

на палубе да радовался, если б не сильнейшая простуда. В столовой держу рот на замке, в палубные игры не играю и, подозреваю, в целом произвожу впечатление на редкость скучного молодого человека, кем, собственно, и являюсь. Читаю детективы: язык Ван Дайна[1] — загадка: на четырех страницах "Канареечных убийств" шесть случаев неверного словоупотребления. Написал первую страницу романа[2]. Читаю "Вступление к философии" Маритена[3].

Никогда не приходило в голову, что описанное Платоном бредовое состояние при отравлении болиголовом во многом, быть может, объясняется преклонным возрастом Сократа.

Сейчас Лондон притягивает меня куда меньше, чем в начале пути; все колебания относительно путешествия по джунглям, которые меня не оставляли, пока я ехал с Терезой[4] на пристань, остались в прошлом. Хочется быть выше всего этого.

Теперь, когда на море штиль, чувствуется, как медленно передвигается эта старая посудина. Почти весь вечер, особенно на закате, — сказочные небеса.

Барбадос, воскресенье, 18 декабря 1932 года

Должны были отплыть еще ночью, но из-за дождя разгружаться пришлось днем, и отплыли только в 11.30, отчего шансы увидеть Гренаду при дневном свете становятся призрачными. Мальчишки, как обычно, ныряют за монетками, в том числе и один белокожий парень редкой красоты. Спустя какое-то время появилась и ныряльщица, однако она служила всего лишь приманкой, сама не ныряла. До Гренады добрались только к полуночи и отплыли до моего пробуждения.

Постскриптум к Барбадосу. Покидая пароход, чернокожий пастор изрек: "Огромное спасибо за компанию".

Пятница, 23 декабря 1932 года

Первое впечатление от Гвианы: сквозь пелену дождя проступают неясные очертания пальм на переднем плане и фабричных труб — на заднем. Вошли в устье реки и спустились по течению

1. Стивен Ван Дайн — псевдоним американского писателя, автора детективов Уилларда Хантингтона Райта (1888—1939).
2. По всей видимости, речь идет о четвертом романе Во "Пригрошня праха" (1934), навеянном путешествием по Южной Америке.
3. Жак Маритен (1882—1973) — французский религиозный философ-неотомист.
4. Тереза (Крошка) Джангмен — светская львица, в начале 30-х гг. близкая подруга И. Во; Беатрис Гиннес — ее мать.

к нашему причалу. Мрачного вида незащищенные от ветра верфи, рифленые железные крыши складских помещений. “Тропическая растительность”. А вот вид на залив хорош: матовая поверхность ярко-зеленой у самого берега воды, которую видно сквозь такелаж шхун. Запах коричневого сахара и тучи пчел вокруг таможенных складов. Высадка на берег во всем, что касается иммиграционных служб и таможни, прошла безболезненно. Паспорта; неграмотный чернокожий матрос в допотопной соломенной шляпе. Сел в такси и под проливным дождем в отель “Морской вид”, где у меня зарезервирован номер. Большой пансион. Вся прислуга женская. Домоправительница: белая девица — хорошенькая, бесцветная, на редкость бестолковая. Съел ананас, рыбу и яйца. Пошел погулять по городу: жарко и утомительно. Широкие улицы с отдельно стоящими деревянными зданиями. Внушительные виллы. Отталкивающего вида универмаги. Ратуша в шотландско-фламандском стиле из модельных досок и чугуна <...>. Побывал в клубе: огромный, покосившийся амбар с бильярдными столами и баром; полуразвалившийся музей с выцветшими фотографиями и уродливыми чучелами представителей местной фауны. Встретил очень славного священника; показал мне, как пройти к дому епископа. Оставил рекомендательные письма. <...>

Дал интервью двум чернокожим репортерам. Написал домой. Общее впечатление от Джорджтауна: скучать без него не буду. Уж очень разбросан. <...>

Воскресенье, 1 января 1933 года

В понедельник у Уиллемсов познакомился с доктором Ротом, стариком самоуверенным и малоприятным. Сказал, что готов, если я возьму на себя все расходы, отвезти меня в верховья Эссекибо — единственное место, где еще сохранились исконные индейцы. Сказал, что путешествие потребует трех месяцев и 300 фунтов. Вначале к его предложению отнесся равнодушно, однако, поразмыслив, проявил больший энтузиазм, ведь по возвращении можно было бы написать хорошую книгу. На следующий день губернатор пригласил меня поехать с ним в Мацаруни, и в продолжение этого путешествия, вплоть до вчерашнего вечера, я все более утверждался в мысли, что предложение доктора Рота, скорее всего, приму.

Поездка в Мацаруни получилась удачной во всех отношениях. На машине доехали до Парики, где, спустя минут десять, пересели под проливным дождем на паровой катер “Тарпон” с каютами на верхней палубе и двумя ванными комнатами. Пообедали рано, в Бартике были в три. На борт под-

нялся мистер Вуд — лесничий из Мацаруни. Пристали к берегу в четыре и прошлись по городу; его превосходительство тем временем беседовал с добытчиками алмазов. Ветхий, полуразвалившийся городок; на главной улице строй винных лавок, где торгуют ромом, и пансион "Сюрприз". Зашли в небольшой сад с орхидеями. Маленькая больница с очень больным на вид доктором. Съездили в Мацарунское поселение; раньше здесь была исправительная колония, теперь — лесничество. <...>

На следующий день отправились на прогулку в лес; шли по стволам деревьев, которыми завалили болота. Бессчетное число муравьев, цветы, красивые бабочки, черепаха. После обеда спал. Ездили в Киктоферал, старый голландский форт на острове, вверх по реке. Смотреть не на что — если не считать отстроенной арки и миллионов муравьев. Ужинали на берегу с Вудсом и Дэвисом. Дэвис сообщил мне, что на Рота положиться нельзя: ненадежен, ни часов, ни денег не считает. Несколько раз, разъезжая по глухим местам, чуть было не погиб — пренебрегает элементарными предосторожностями. И Дэвис, и его превосходительство, и Вудс настоятельно рекомендовали с ним не связываться.

На следующее утро — в Форт-Айленд; по форме напоминает брильянт; голландские надгробия. В 12.30 вернулись в Джорджтаун. После обеда побывал у Рота в музее. Похоже, к нашей с ним экспедиции он несколько охладел. Как бы то ни было, не настолько он мне понравился, чтобы провести в его обществе три-четыре месяца. От Рота — к Хейнсу, специальному уполномоченному округа Рупунуни. Явно не в себе: рассказывает фантастические истории про каких-то подводных лошадей, говорливых попугаев и пр. Отправляется в Курупукари (несколько дней я почему-то считал, что это место называется Юпукари), найдется на катере место и для меня.

Пятница. Обедал с иезуитами. Хорошая еда, ром в изобилии, сигары и пр. <...>

Понедельник, 2 января 1933 года

Праздник. Сегодня мне получше. Может все-таки не злокачественная малярия. Ходил с Уиллемсами на скачки. Проливной дождь; скачут посредственно. В каждой скачке всего две-три лошади. "Джентльменская скачка" — все жокеи чернокожие. После ужина в сопровождении двух полицейских — на поиски "разгульной жизни". Неудачно. На Кэмп-стрит маскарад; за одетым в шкуру льва тянутся зеваки. Танцы в отеле "Король Георг". На Тайгер-бей несколько борделей, но жизни в них нет:

вероятно, деньги у клиентов кончились. Уиттингем рассказал историю шлюхи: из Бартики вернулась с толстой пачкой денег в чулке и с набитым брильянтами патронташем, вышла замуж и так загордилась, что ударила топором ухажера, который ее домогался. Со временем ее вместе с мужем тоже убили.

Джорджтаун–Нью-Амстердам, вторник, 3 января 1933 года

<...> Из Джорджтауна в Нью-Амстердам выехали в 2.30 медленным маленьким поездом. Живописные поля сахарного тростника в запустении, засажены рисом или кокосовыми пальмами. Чем ближе к Бербису, тем люди чернее. Если верить Хейнсу, в Бербисе дети называют отцов "сэр", а в Джорджтауне — хлещут по щекам. Говорит он безостановочно, однако понять, что́ он говорит, можно далеко не всегда. Кем он только не был: и инженером, и землекопом, и солдатом, и капитаном на драгере. В настоящее время исполняет обязанности временного уполномоченного, но на постоянное место очень рассчитывает. Страдает, как видно, сексуальными комплексами. Рассказал историю про упущенные возможности с красоткой из Венесуэлы: "Порхала, как бабочка". А также о том, какую отвагу проявил, оказывая сопротивление бразильским бандитам. Подозреваю, что трусоват. На закате сделалось вдруг очень холодно; нашествие москитов.

В Нью-Амстердам приехали около семи. Переправлялись на пароме вместе с монашками. Пешком в гостиницу Линча. Спросил виски, человечек с длинными усами отказал. Пришлось идти в бар. Ужин неудачен: москиты, холодно, при этом обливался потом. Прямо как в Конго. После этого вернулся в бар и попытался взять машину — не нашлось ключей. (Всю ночь Хейнс говорил сам с собой.) Слушал проповедника-джорданиста. Черная борода, белый халат, тюрбан. Основная мысль: черные будут доминировать в мире, но для этого должны сначала избавиться от дурных привычек. "Великая пирамида", "Погибшие племена Израилевы". Цитаты из Иеремии читал, сбиваясь, крошечный мальчик. Толпа проявляет умеренный интерес. "Да убоитесь человека с бледной кожей и голубыми глазами!" В руках держит металлический жезл. Джорданисты основали свою колонию в Демераре. Сам Джордан умер совсем недавно. Бетджемену[1] эта история пришлась бы по душе.

1. Джон Бетджемен (1906—1984) — поэт, эссеист, журналист, искусствовед; поэт-лауреат (1972); приятель И. Во.

Курупукари, среда, 11 января 1933 года

В Курупукари прибыли в полдень. Этапы нашего пути помечал на карте. Первые три дня тянулась саванна: редкая трава на песчаной неровной почве. Каждые десять-пятнадцать миль — гостиницы для путешественников, у некоторых — загоны для скота за колючей проволокой. Примерно каждые полмили — павший скот: одни коровы и быки облеплены вороньем, другие обглоданы до костей, между ребрами пучки травы. В последний раз Харт потерял сто голов. "Тигры сожрали", — пояснил Хейнс. "Не может быть". — "Очень даже может: когда они умирают, тигры их съедают". У Хейнса всегда так — сочинит, а потом идет на попятный. "Его судили военно-полевым судом и расстреляли". — "Расстреляли за то, что не отдал честь?!" — "Ну да, сразу после этого он вернулся во Францию, и там его убили". Издохшие коровы поблизости от жилья; вонь несусветная.

Отрезок пути "Нью-Амстердам—Такама": без происшествий. Длинный, солнечный день. Фермер, его жена-индианка, дети. Разговор о лошадях; расхваливает лошадей, которые способны сбросить седока или понести. Еда на катере — тошнотворная. Хейнс: "Здесь кончается цивилизация". <...>

Ездил верхом на ранчо Йирвуд. Стол и стулья — невиданный комфорт.

Дальше — никакой мебели. Дома часто в удручающем состоянии. Половицы и стены черные используют для костров. Пони нерадивы. Главные неудобства: отсутствие света и стульев после верховой езды; близость черных — особенно когда влажно; запахи. Но река всегда рядом — есть где помыться. Крепкий, сладкий чай. Ром, лайм.

Поклажа на мулах; на каждой станции ждем от полутора до трех часов.

В лесу: большие деревья остались, те же, что поменьше, и подлесок вырублены. Цветов мало. Глохнешь от птичьего гомона, но самих птиц не видать. Бабочки. Иногда — животные, заяц, например. Или даже медведь. Дыры в земле от армадилла. Пил речную воду и купался. В Канистере свежие лошади. Констебль Прайс ходит за мной, как тень; свое дело знает. Добрались до места в надежде застать катер с провизией, но о нем ни слуху ни духу.

Деревянный дом специального уполномоченного в Курупукари; надворные строения для заключенных. Одна большая комната, все, что требуется для суда: возвышение, место для дачи свидетельских показаний, скамья подсудимых. На веранде два стола, заваленных официальными бланками. Комната сер-

жанта, комната Хейнса и еще две; низкие деревянные перегородки; по стенам фотографии девиц из иллюстрированных журналов. “У меня висит эта девушка, потому что я с ней знаком. Говорят, она нехороша собой, ну и что, зато душа у нее красивая. А эту я повесил, потому что очень уж она чувственная”. Фермеры, если ночь застала их в дороге, всегда могут здесь переночевать. Никакой собственной “резиденции” у Хейнса нет.

За неделю нашего путешествия Хейнс не замолкал ни на минуту — разве что ночью, но и тогда не давал мне спать астматическим кашлем и рыганьем. Постоянно хвастается своей честностью, отвагой, благородством и деловыми качествами. А также умением держаться в седле. А также физической силой, ее, дескать, “почувствовали на себе бразильцы и черномазые”. Повторяет комплименты в свой адрес, которые слышит от других. Во всех подробностях описывает, как он “прижал” одну, “оприходовал” другую. С женщинами при этом не спит. В речи полно “воще”, “ну это”, “как бы” и т. д. “У черного человека очень сильный комплекс неполноценности”. “Все это я делаю ради своего короля — двух королей. Ради Того, Кто на небесах, — тоже”. Иногда принимается рассуждать об истории: “Взять хоть Наполеона. Кем он был? Всего-то маленьким капралом. Но он захотел жениться на принцессе и поэтому развелся с женой. Очень скоро большевики начнут действовать точно так же, вот увидите”. “Из-за чего так долго продолжалась война с бурами? Из-за того, что англичанам страсть как хотелось подраться. Вот они и выпустили из тюрем всех заключенных”. Лекции о морали, рассуждения о переселении душ и пр. К английскому национальному характеру питает огромное уважение; к даго лоялен. Говорит или еле слышно, или, наоборот, взвинчен и тогда подвывает.

Хорошенькая индианка Роза. Хейнс церемонно за ней ухаживает. Сказал мне, что я могу, если захочу, с ней переспать, но, когда я поймал его на слове, тему эту замял.

Четверг, 12 января 1933 года

Катера с провизией нет. И нет табака. Побывали в индейской семье на другом берегу реки. Диагноз Хейнса: у ребенка глисты. Долго щипал его и похлопывал — особого энтузиазма у младенца не вызвал. Хейнс сплетничает и постоянно учит жить своих подчиненных.

Должен прийти еще один катер, но нет и его. Хейнс слишком устал, чтобы двигаться дальше, в Аннаи. Теряет терпение, срывается. Вид вокруг великолепный. Хейнс: “Кому сопутствует Бог... Да, но что есть Бог? Любовь, а стало быть...”

Пятница, 13 января 1933 года

Катера нет как нет. Решаем завтра продолжить путешествие без провизии. Углубился в лес с ружьем в поисках дичи, но ничего не нашел. Все надоело.

Истории Хейнса опротивели; нет ни картофеля, ни сахара, ни рома, ни табака, ни консервов. Хейнс предложил печенье и сухое мясо — и вдруг появился с банкой молока и "Оувалтина"[1], сказав, что, если надо, у него есть еще. Потом выяснилось, что банка молока была последней. Но вот в шесть пополудни на реке показались оба катера. <...>

Курупукари–Бон-Саксесс, понедельник, 16 января 1933 года

Снова двинулись в путь — на этот раз в сопровождении ослика по имени Мария и юноши по имени Синклер. Кое-что из провизии взяли, но многое пришлось бросить. Доехали до знака "восьмая миля" и обнаружили там фермера майора Уэллера и двух энтомологов Майерса и Фицджералда. У Майерса дизентерия. Они пристрелили дикую индейку. Дал им рому; вместе пообедали. Майерс послан сюда компанией "Импайр маркетинг борд". Проехали четырнадцать миль и встали лагерем.

Вторник, 17 января 1933 года

Прошли за день двадцать одну милю. Мальчики [Прайс и Йетто. — *А. Л.*] к завтраку не поспели; Синклер симулирует. Попали под проливной дождь и промокли до нитки, пока добрались до полуразвалившегося дома. Разложили костер из половиц и высушили одежду. Проводник предупредил: где-то поблизости бродит свирепый бык, но мы его не видели. Нашли быка, убитого тигром. <...>

Пятница, 20 января 1933 года

Одноглазая лошадь, когда ее взнуздывали, встала на дыбы и опрокинулась на спину. Прошла пять миль, остановилась, еще дважды повторила тот же трюк и, наконец, встав на дыбы в третий раз, рухнула. В какой-то момент сбились с пути, но дорогу нашли. Невыносимо жарко. В четыре часа добрались до ранчо Кристи[2]. Рассказал, что видел сон о появлении чужа-

1. "Оувалтин" — порошок для приготовления шоколадно-молочного напитка компании "Уондер лимитед".
2. Кристи — прототип мистера Тодда из романа Во "Пригоршня праха".

ков. Перед моим приходом ему снилась фисгармония. Дал мне чаю. Заговорил о том, что римский папа и масоны погрязли в пороке, что у масонов на ягодицах выведены три буквы ДОБ [ДОБРОВОЛЕЦ. — *А. Л.*] и что в 1924 году видел в небе цифру 110, означавшую конец света. Задал ему несколько теологических вопросов. "Верю в Троицу. Без Отца, Сына и Святого Духа не мог бы жить. Но никакой тайны в этом нет. Все совсем просто, все это есть в Ветхом завете, где такой-то женился на собственной матери". Сообщил мне, что Адам прожил всего-то 960 лет. Говорил о Пятом царстве и т. п. Помывшись, я накачался ромом. Собралась семья Кристи. Трое сыновей, дочка замужем за индусом. У одного из сыновей ребенок от индианки; темная женщина, в церкви не поет. Всю жизнь Кристи стремился сойтись с "избранными", но "их мало и на них трудно рассчитывать".

Суббота, 21 января 1933 года

Двинулись в путь в 6.45 и в одиннадцать были на ранчо Вонга [китайца из Джорджтауна. — *А. Л.*]. Чудесный португалец Д'Агиар и его жена-индианка; угостили меня яичницей, кофе, говяжьим фаршем, апельсинами. Маленький коттедж из глины, веранда под тростниковой крышей с низкими стенами, на них вешается гамак. Мухи. Река. Трогательные украшения: цветные открытки, из тех, что продаются вместе с пачками сигарет, фотографии, обложки журналов. Сумасшедшая полуденная жара. Сбился с пути, потерял уйму времени, нашел дорогу с помощью А. из Падуи. Пришли бразильские соседи с многочисленными детьми; все пожимали мне руку. Два индейца (один — вылитый мистер Хайд[1]); облокотились на парапет и несколько часов неотрывно на меня смотрели.

Воскресенье, 22 января 1933 года

Выехал рано на бородавчатой, но крепкой гнедой кобыле и на ранчо Харта прибыл в одиннадцать. Несколько больших зданий; жилой дом с потолком и полом. Библиотека: книги самые разнообразные, в большинстве изъедены муравьями: "Юные гости", "Зловещая улица", "Ставка — свобода", "Что должен знать молодой человек", "Практические навыки столярного мастерства" и т. п. Принял душ. Харт отсутствует.

1. Мистер Хайд — отталкивающий персонаж повести Р. Л. Стивенсона "Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда" (1886).

Миссис Харт (Эмми Мелвилл), ее брат, шесть мальчиков и полоумный племянник, сын Джона Мелвилла и его троюродной сестры (ушла от него с неким мистером Кингом). Обед: несколько тарелок мяса, манка.

Гувернантка в шортах. Дала мне журналы с дневниками Кэрри Элвиза[1].

Интересная встреча с Кристи: “Кому придет в голову, что любовь к Богу нуждается в доказательствах?”, “Почему у меня перед глазами должно быть изображение той, с кем я говорю ежедневно? К тому же оно ничуть на нее не похоже”.

Мальчики прибыли оч. поздно. Прайс осунулся; всю дорогу толком ничего не ели — спорили, кому готовить.

Вторник, 24 января 1933 года

Месса в семь[2]. Весь день просидел на галерее в шезлонге и сплетничал с отцом Мейтером. Читал К. Грэма[3] об иезуитах в Парагвае.

Среда, 25 января 1933 года

Месса в 7 утра. Весь день читал. Сделал несколько фотографий. У отца Мейтера проживу до первого февраля: дождусь возвращения Дэвида Макс-и-Ханга, старшего vaquero[4], которого отец Мейтер дает мне в качестве проводника до Боа-Виста. Он наполовину китаец, наполовину индеец племени аравак; прекрасно говорит по-английски и по-португальски, человек очень спокойный и дельный. Появился в понедельник и договорился, что лошади и еще один проводник прибудут к среде. Тем временем отец Мейтер оказывает мне всевозможные благодеяния: отыскал змеиное дерево, срубил сук мне на посох в дорогу. Смастерил чехол для моего фотоаппарата: сначала это был всего-навсего просторный кожаный мешок, но потом он преобразился в необычайно сложную конструкцию из оцинкованного железа, телячьей кожи, оленьей шкуры и старой тряпки.

1. Катберт Кэрри Элвиз (1867—1945) — английский священник-иезуит; основатель миссии в Рупунуни (Южная Гвинея).
2. Накануне, в понедельник 23 января, И. Во прибыл в дом миссионера отца Мейтера в Бон-Саксесс, где пробыл неделю, до 1 февраля, и откуда направился в конечный пункт своего путешествия — бразильский город Боа-Виста.
3. Роберт Бонтайн Каннингем-Грэм (1852—1936) — шотландский писатель, политик и путешественник; долгое время жил в Южной Америке.
4. Пастух (*исп.*).

В воскресенье сплавали на лодке в лавку к Фигереду, с ним пообедали и, из вежливости, переели. Побывали у него в лавке, где купить было решительно нечего, и я приобрел для миссии crème de menthe. Фигереду угостил нас пивом и crème de cacao[1]. К обеду явился англичанин Гор; у него неподалеку ранчо, он женат на индианке; говорил о Диком Западе, каким его снимают в кино. Взял с собой на побережье нашу почту, и, воспользовавшись этим, я сочинил исключительно глупый очерк про Рупунуни. Чехол для фотоаппарата был готов за пять минут до отъезда, в среду. Отец Мейтер дал мне заодно каменный топор и два мундштука — попросил передать их Д. Б. Пристли[2].

Бон-Саксесс–Боа-Виста, среда, 1 февраля 1933 года

Выехал из миссии в половине второго на крепкой серой лошадке; гамак сзади, за седлом. Впереди шурин Дэвида на молодой резвой гнедой; на спине у него рюкзак, набитый книгами и консервами; в руках зонтик и змеиное дерево. Сзади, на рыжей лошади, уже с нагнётом в холке, держась следом за мной, — Дэвид. До середины дня ехали под проливным дождем. Перешли вброд Такуту и еще одну речку. Места ничем не отличаются от Рупунуни: песок, трава, фиговые деревья. Нигде ни скота, ни лошадей. До первой стоянки добирались в темноте. Амбар с тростниковой крышей отперт, но тоже погружен во тьму. В гамаках какой-то человек и несколько детей мужского пола. Пока Дэвид и Франциско поили лошадей, я сидел на ящике. Неожиданно маленький мальчик принес мне крохотную чашечку отличного кофе. А потом — лампу: огарок, плавающий в налитом в миску говяжьем жире; света не меньше, чем от свечи, но затушить — труднее. Отвратный запах отсыревшего тростника. Накрыли на стол: манка и тушеная tasso (вяленая говядина). Ел очень мало, спал плохо.

Четверг, 2 февраля 1933 года

Дэвид сказал, что за сегодняшний день надо проехать двадцать четыре мили. На рассвете оседлали лошадей, сложили вещи и в 6.45, выпив по глотку кофе, отправились в путь. В восемь добрались до хижины, согрели чаю и съели по куску черствого хлеба. Потом проехали миль восемнадцать по без-

1. Мятный ликер. ...какао со сливками (*франц.*).
2. Джон Бойнтон Пристли (1894—1984) — английский писатель, драматург, эссеист и критик.

людным местам, под палящим солнцем, пока не увидели разлившийся вонючий ручей с песчаным дном и отбрасывающей слабую тень пальмой над ним. Дэвид: “Остановимся здесь, дадим лошадям отдохнуть, а сами позавтракаем”. Я: “А может, сначала доберемся до места?”. Франциско: “Еще далеко”. Я: “Очень далеко?” — “Мы на полпути”. Пожевал черствого хлеба, консервированной колбасы, пить ничего не стал. С час просидели, облепленные муравьями, после чего опять двинулись в путь. Жара, жажда. У лошади Дэвида сильный нагнёт; приходится часто перекладывать поклажу и снимать с нее седло. Под бразильские седла подкладывают тряпки и солому. До жилья добрались только в половине шестого. Выпил три или четыре ковша воды. Помылся, переоделся. Молодой, миловидный, бородатый бразилец с сыном; тип лица негритянский, жены не видать. На ужин опять манка и tasso; так устал, что есть не в состоянии. Дэвид сварил мне какао. Лежал в гамаке — даже раздеться не в силах. Заснул; снилось, что парализован. Проснулся на рассвете усталый, как собака.

Боа-Виста, суббота, 4 февраля 1933 года

Встал совершенно больной и смертельно усталый. Ехали три часа — то по бушу, то по саванне. Маленькая ферма на Рио-Бранко, на противоположном берегу от Боа-Виста. Мелководье, посредине островки. Ждали час, пока нас не подобрал на своей лодчонке местный фермер. Вместе с двумя vaqueros переплыли (бесплатно) на другой берег; пастухи вместе со своим стадом быков переночевали на той же ферме, что и мы.

Первое впечатление от Боа-Виста: среди деревьев на высоком (теперь) берегу черепичные и тростниковые крыши. Песчаный пляж, где стирают и купаются девушки. На крутой горе бенедиктинский монастырь. Отец Мейтер дал мне с собой рекомендательное письмо на латыни. Монастырь с виду похож на больницу, вид имеет очень солидный и привлекательный: черепичная крыша, деревянные полы и потолки, скошенные с одной стороны, где дорога идет под уклон. Бетонные колонны отделены низким забором от сада с симметрично расположенными, выложенными кирпичами клумбами. Резная деревянная входная дверь и т. п. Окна остеклены, ступеньки каменные, веранда большая. Прождал на ступеньках минут десять. Немец высунулся из окна и заговорил с Дэвидом по-португальски. Такой же гость, как и я. Наконец, в монастырь с дороги поднялся священник в белой сутане; ввел нас в очень уютную, при этом скромно обставленную прием-

ную с искусственными цветами на столе и плетеной мебелью. Священник — швейцарец, немного говорит по-французски. Сказал, что парохода на Манаус в ближайшее время (возможно, несколько недель) не будет. Я послал Дэвида навести справки. Пока он ходил, принял душ, переоделся и в полной прострации повалился на кровать. Вернулся священник, сказал, что завтрак готов, — его приготовили и принесли из женского монастыря монашки. Завтрак холодный, но вкусный: суп, тушеное мясо, рис, фасоль, блины и лимонад с каким-то особенным, медицинским, привкусом. Пока я ел, священник сидел напротив; разговор не клеился. После обеда лег на пару часов.

Вернулся Дэвид: пароход специального уполномоченного отплывает 10-го, а совершающий регулярные рейсы — 20-го. Решаю остаться. Дэвид разобрал вещи, слуги подготовили комнату. Сидел в прежнем коматозном состоянии; чудовищная головная боль. Ужин в шесть. Отличная, разнообразная пища. Разговаривать не получается: английский язык немца совершенно непонятен. Он местный плантатор. После ужина ходил взад-вперед по террасе, пока я не настоял, чтобы он сел. В постель — в 8 вечера. Принял лошадиную дозу хлородина и насмотрелся впечатляющих снов.

Воскресенье, 5 февраля 1933 года

Месса в семь. Молятся в основном девушки в брачных вуалях, со всевозможными лентами и медалями. Сзади несколько мужчин. После Такуту церковь кажется очень нарядной. Как бывает в школе при женском монастыре, гимны распевают елейными голосками. Под ногами, когда идешь в церковь, хлюпает грязь и скрипит песок. Лавчонки и частные дома грязные, убогие. Поддерживать разговор необычайно трудно: плантатор-немец по-английски говорит еле-еле, а по-французски еще хуже; священник не знает английского вовсе, да и французского, в сущности, тоже. Даже когда они говорят между собой по-немецки, то понимают друг друга плохо; приходится прибегать к португальскому. На всех языках немец говорит с одинаковым произношением. Швейцарец предпочитает слова длинные и малоупотребительные. Иногда обсуждаем новости: кораблекрушения в Атлантике и т. д. “Правда, что в Джорджтауне голодают?” Иногда говорим на общие темы. “Был бы король Георг королем, не будь он масоном?” Каждое сказанное им слово священник подолгу обдумывает. Молитва в семь; очень жарко. Потом — в кафе; пил пиво с немцем и холостым лавочником.

Пятница, 10 февраля 1933 года

Четыре дня непередаваемой скуки. Читать нечего — разве что жизнеописания французских святых и проповеди Боссюэ[1]. Беседа с немцем совершенно невыносима. <...> Нашел французскую книжку путевых очерков, вот названия глав: "Le jardin du paradis", "A l'ombre de mes dieux", "Быть или не быть", Sous le signe de Mystère", "La mort qui romp", "La Vierge de solitudes"[2].

Воскресенье, 12 февраля 1933 года

Вчера написал плохую статью, но зато придумал сюжет для рассказа[3]. Пароход не отойдет до 20-го — таково общее мнение.

Вторник, 14 февраля 1933 года

Дописал рассказ. Пароход прибывает завтра, но пойдет ли он в Манаус, не знает никто. Принял решение возвращаться в Гвиану; попробую вернуться в Джорджтаун через Кайетур и Бартику. У Джона Рота родился сын; предложил проводить меня до Кайетура, но дорогой, которая, судя по всему, ничего хорошего не сулит.

Понедельник, 27 февраля 1933 года

Весь день отдыхал[4]; читал "Домби и сына", много ел и много спал. Отец Кири отбыл в субботу. В среду надеюсь, вместе с Тедди Мелвиллом, отправиться в Курупукари.

Суббота, 4 марта 1933 года

Собирался уехать сегодня, но не смогли добыть лошадей, поэтому еду завтра. Маршрут изменил: вместо того чтобы двигаться в Курупукари, попытаюсь добраться до Кайетура через

1. Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) — французский писатель; епископ. Автор проповедей: "О смерти", "О Божьем промысле", "О высшем достоинстве неимущих в церкви Иисуса Христа" и др.
2. "Райский сад", "В тени моих богов"... "Под знаком тайны", "Смерть, от которой нет спасения", "Богоматерь одиночества" (*франц.*).
3. "Человек, который любил Диккенса". Впоследствии этот рассказ стал главой "Du Côté de Chez Todd" ("В сторону Тодда") в романе "Пригоршня праха".
4. На обратном пути в Джорджтаун И. Во остановился в миссии святого Игнатия, где прожил с 27 февраля по 5 марта.

горы Пакараима. Принял решение и теперь ищу этот путь на картах, наношу маршрут, однако никто здесь этой дороги не знает, и все будет зависеть от того, удастся ли найти в Типуру проводников и носильщиков.

Чего только ни делал для меня отец Мейтер: чинил седла, смастерил седельную сумку, отмерил нам в дорогу манной крупы, муки и т. д. <...> Нашел мне проводника из Макуши, зовут Эйсебио. На все, что ему говорится, он отвечает: "Да, отец", у него нет ничего своего — ни одежды, ни чашки, ни ножа. Говорит, что умеет готовить. Беру с собой вьючного быка. И медикаменты из лавки Фигереду: бальзам "Неотложная помощь Редуэйз", канадское масло от ожогов, овощной концентрат "Лидия Пинкэм" — все это с американскими ярлыками. Одолжил у отца Мейтера барометр и "Чезлвита"[1].

Миссия святого Игнатия – ранчо Харта, воскресенье, 5 марта, 1933 года

Проснулся в 5.30. Дэвид и Эйсебио уже оседлали лошадей и быка. Уложил вещи и выпил кофе; в путь в 7.15; небо серое. До трех часов дня не жарко, пасмурно, иногда моросит дождь. Шли шагом, рядом с быком, до тех пор пока не вышли на шоссе в Бон-Саксесс, на настоящую дорогу для транспорта, а не на тропу для скота; называется миссионерская дорога, ведет напрямую в Юпукари. Обогнал быка и двинулся по следу от колес, миновал Манари и Наппи, перешел вброд две речушки и в 2.10 увидел впереди деревню с загоном для скота и стоянкой. Навел справки: оказалось, что от дороги на Пирару отклонился сильно в сторону. Только потом понял, что свернуть надо было в Наппи. След от машины Харта, на которой он развозит продукты в приграничные лавки. Пока индеец поил лошадей, сидел на крыльце; выпил бренди, сделал несколько снимков; ничего не ел. Чтобы меня позабавить, индеец продемонстрировал свое брачное свидетельство. Деревня Мараканата. В путь в 2.50. Широкая, прямая тропа. Лошадь очень устала. Устал и я; жажда; в 4.45 увидел Пирару, добрались до нее в 5.30. Харт дал мне чаю и сыру, а также полотенце, пижаму и гамак. Ужин в семь. В восемь Харт позвал на молитву. Вся семья и старая индианка ходили взад-вперед в лунном свете и совершали таинство.

В 8.30 прибыл Эйсебио с быком; на лице всегдашняя улыбка. Я решил задержаться здесь еще на день, дать отдых лошади

1. То есть роман Чарльза Диккенса "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита" (1843–1844).

и себе. По словам Харта, старуха из племени пиай, она живет в миссии святого Игнатия, притворяется, что летает. Явилась сюда в первой половине дня с предвестием о скором моем появлении.

Понедельник, 6 марта 1933 года

Спал беспокойно, проснулся в каком-то оцепенении. Отправил Эйсебио к Мануэлю Луису. Кофе — в семь. Занятия с детьми — в восемь. Слышал, как чернокожая гувернантка стращает детей моим именем. Над таблицей умножения пролито много слез. Вечером явился Тедди Мелвилл — и очень кстати, ведь наутро я отправлялся в путь. Опять молебен, на этот раз не снаружи, а в доме. <...>

Пятница, 17 марта 1933 года

Всякий раз когда отец Кири не молится за наше благополучное путешествие, день складывается благоприятно. Вот и сегодня он пригрозил, что за нас помолится, но мне удалось его отговорить. На этот раз мы вышли относительно рано. Весь день ехали бушем. Мне удалось нанять у индейцев плотного серого жеребца. Вел его Марко, без седла и уздечки. Я сумел проехать на нем лишь половину пути, то садясь, то спешиваясь. Не говоря уж о том, что часами ехать верхом без седла утомительно, тропа была слишком узкой и предназначалась лишь для пешеходов, лошади же натыкались на деревья. Путешествие, тем не менее, оказалось вполне сносным, время прошло незаметно: пока ехал верхом, мечтал, что спешусь и пойду ногами, и наоборот. Мы шли, вопреки карте, по реке Тумонг, трижды переходили ее вброд и в конце концов оставили ее справа. Остановились перекусить на скалистом выступе посреди реки и в 3.30 прибыли в Анандабару, в деревянный дом, построенный Хейнсом, когда он промышлял алмазами. На дороге нас встретил посланец от Винтера. На пути из Курукубару он остановился на ночь и не сумел отложить отплытие парохода, шедшего сегодня утром в Кайетур. Анандабару окружен папоротником, где из-за местного ботаника начался лесной пожар. Блох вокруг столько, что, даже когда идешь, а не стоишь, они облепляют штаны толстым слоем. Винтер передал нам ключи от комнат, и мы повесили гамаки и выкупались. Рядом росла липа, мы допили бренди с лаймовым соком, доели последние бутерброды, остатки солонины и риса и удалились на покой вполне довольные жизнью. В девять вечера на нас обрушились потоки дождя, удержать его крыша оказалась бессильной. Отыскал

один сухой уголок, куда, перевесив гамак, забился; просидел там всю ночь. За стеной, перекрывая громогласным храпом шум ливня, крепко спал отец Кири.

Вторник, 28 марта 1933 года

Винтер договорился было, что меня и еще нескольких человек с сахаром и мукой отправят на плоту в Кайетур. Однако вчера явился с почтой и всем прочим какой-то чернокожий, и было решено, что отправлюсь я завтра вместе со всеми. За последние десять дней не произошло ничего особенного, съестные припасы тают на глазах. Охотникам ничего подстрелить не удалось. Съели красивую птицу — похожа на фазана. И какого-то грызуна, здесь он зовется лабба, на вкус как свинина. А еще — оленину и малосъедобную дикую индейку, а также — дикого кабана. <...>

У всех индейцев есть домашние животные: попугаи, домашняя птица, голуби-трубачи, варакабра с ломкими ногами, свиньи и т. д. Особым спросом в лавке пользуется моя шляпа, а также одеяло и носки. Ручные часы привлекают повышенное внимание. Индейцы обожают все непривычное.

Винтер: незлобиво поругивает чиновников, рассуждает о взяточничестве и некомпетентности, об алмазах, которые продаются и перепродаются каждому вновь прибывшему, трещинки замазываются чем-то белесым. Покупатели возвращают агенту фальшивые камни и, за отсутствием денег, алмазами больше не промышляют.

Томас — строил дом с помощью маленького мальчика, носит белый жилет, а иногда подштанники и всегда шляпу и сандалии — ушел от жены из-за того, что та родила ему близнецов. Его пытается заарканить какая-то девица; семья в расстройстве.

Агнес училась в Джорджтауне, вернулась и поняла, что не переносит ни свою мать, ни своего любовника. В результате любовник женился на матери и душу из нее вынимает, а сама Агнес спит с учителем португальского.

Чтобы индейцы работали, необходимо их улещивать.

Смешивал коктейли из купленного для притираний спиртного. В воскресенье ноготь на большом пальце наконец сошел, и дела пошли на лад[1].

Многие против строительства губернаторской дороги: сплошной песок и корни, да и поддерживать ее будет дорого.

1. На обратном пути в Джорджтаун Во повредил ногу и передвигался с трудом.

По словам одного черномазого, грузового сообщения нет уже две недели. Обочину горной дороги обработать невозможно. <...>

Слово "история" употребляется здесь в широком смысле. "Конец истории" означает "вот и всё"; "плохая история" — "плохо дело" и т. д.

Вторник, 4 апреля 1933 года

С помощью угроз и подкупа катер удалось отправить спустя два часа сорок пять минут после назначенного времени. Уютно устроился в средней части судна вместе с тремя негритянками, которые непрерывно что-то ели, и четвертой в парусиновых туфлях, с термосом, золотыми серьгами и мешком мятных леденцов. Капитан преклонных лет. В Рокстоун прибыли в 8.30 вечера и отплыли в половине двенадцатого. Билетер никак не мог сосчитать билеты, машинист — завести мотор. Двенадцать человек вместе с багажом набились в один грузовик, прицепленный к трактору. В Висмаре были в четыре утра. Повесил гамак на палубе и проспал два часа, не обращая внимания на орды москитов. Рокстоун совершенно обезлюдел. Висмар — маленький, оживленный городок; населен черными, индусами и китайцами.

Среда, 5 апреля 1933 года[1]

Расплатился по счетам. Пароход отошел в 8.30 утра. Дать телеграмму в Джорджтаун невозможно.

Пятница, 6 июля 1934 года

Встретился с Хью [Лайгоном. — *А. Л.*] в Холкерсе и выпил с ним джина. В "Лиллиуайтсе" приобрел лыжи, ледорубы и вязаный шлем[2]. Сэнди очень доволен: везет с собой горы шоколада и морфий. <...> Примерил в магазине в Холборне ветров-

1. Здесь дневник прерывается на год с лишним: следующая запись — 5 июля 1934 г. Во возвращается из Южной Америки в Англию в мае 1933 г., в сентябре знакомится в Италии со своей будущей женой Лорой Херберт, дочерью политика, члена Парламента Обри Херберта (1880—1923), на которой женится в апреле 1937 г.
2. Во, вместе с Хью Лайгоном и Сэнди Гленом, впоследствии председателем правления Шотландского туристического совета, решили в целях подготовки к Арктической экспедиции Оксфордского университета отправиться на Шпицберген.

ку и стеганые штаны. Какие-то туристы-спортсмены покупали палатку. Стоило мне войти, как продавец догадался: "Экспедиция на Шпицберген". Купил спальный мешок и подстилку из прорезиненной ткани. После ужина у родителей собирал вещи. Часов в десять вернулся в "Сэвил". Позвонил в "43"[1], попросил к телефону Уинни. Ответили, что ее еще нет, тогда поехал к ней домой. Разыграла спектакль под названием: "Как мне грустно, что ты уезжаешь".

Суббота, 7 июля 1934 года

<...> Поезд отходил в половине второго. Поначалу пребывали в отличном настроении, опорожнили в вагоне-ресторане кувшин шампанского с портером и несколько рюмок ликера. А потом, разомлев от жары, взялись за джин и выпили его столько, что стюард устал ходить взад-вперед. К шести вечера поутихли; сидели, засучив рукава, в полной прострации, и жена священника поедала нас глазами. В Ньюкасл поезд прибыл с часовым опозданием.

Сэнди получил разрешение из Министерства внутренних дел на вывоз морфия; должен был предъявить его на таможне, таможенники были предупреждены.

Плыли вторым классом. Каюты хорошие, но на пароходе отсутствовал бар и не хватало прислуги. Ужинать сели только в десятом часу. На столе стояли маленькие металлические тарелочки с сардинами, помидорами, сыром и пр. Мы было решили, что это hors d'oeuvres[2], но потом обнаружили на столе блюдо с разогретой тушенкой и поняли, что это и был весь ужин.

За нашим столом сидел норвежец.

— Вам нравится норвежская селедка? — спрашивает.

— Да.

— Она очень дешевая.

На следующий день мы предложили ему целую тарелку селедки.

— Слишком много разговоров о рыбе, — сказал он. — Она *очень* дешевая.

Наверху в курительной Сэнди разговорился с человеком с Гебридских островов, а Хью — с врачом, который должен был пересесть на "Родни". Я устал. Спать лег рано и принял снотворное.

1. В книге "Роковой дар" (1974) Алек Во называет "43" "наполовину питейным заведением, наполовину борделем".
2. Закуска (*франц.*).

Воскресенье, 8 июля 1934 года

Норвежец, который жаловался на дешевую рыбу, напился еще до завтрака. Сидел в курительной, пел народные песни и повторял: "Ку-ку, ку-ку". Сначала это было смешно. Попытался пройти по стульям, но разбил головой электрическую лампочку, та лопнула с оглушительным грохотом. Потом очень расстроился: стюард был с ним груб, и твердил, что за билет заплатил не меньше других и что пиво и сигареты нам дают только потому, что мы англичане. "Это несправедливо, это несправедливо", — повторял он. Норвежец сошелся с еще одним пьянчугой, и они принялись танцевать. Если верить второму пьяному, его ждала любимая девушка, и, в подтверждение своих слов, он продемонстрировал флакон купленного ей парфюма. Потом попытался затеять ссору на том основании, что мы, мол, "еще сосунки". После обеда и тот и другой скисли. В Бергене, в шесть утра, вид у них был не ахти, но свою шутку про "ку-ку" они не забыли. Еще на пароходе были мужчина в килте и замужняя пара в зеленых кожаных шортах.

Прежде чем войти в порт, полчаса плыли среди фьордов. Вначале мне показалось, что Берген некрасив: среди зеленых холмов торчат красные фронтоны, складские помещения, как на Темзе, — прямоугольные.

Laisser-passer[1] Сэнди пригодилось, и наш багаж без всякого таможенного досмотра переправили на пароход, следующий в Тромсё. "Венере" это судно уступало во всех отношениях: угрюмые офицеры, неудобные каюты на четыре койки. Свои вещи нам пришлось таскать самим. Разместившись, вышли на берег. Вдоль гавани выстроился ряд прелестных бревенчатых домов XVIII века с псевдоклассическими фронтонами. Поискали глазами какой-нибудь веселый ресторанчик, но не нашли ничего, кроме громоздкого, пустого отеля с оркестром; назывался отель "Розенкранц". Хороший ужин и плохое кьянти. После ужина безуспешно искали кафе. Хью отправился спать на берегу. На нашем пароходе свет выключали в двенадцать, в это время еще только смеркалось, а в 10.30 было светло как днем.

10, 11 и 12 июля 1934 года

Медленно двигаемся по фьордам на север, скользим между островками, останавливаясь три-четыре раза в день у деревенек с

1. Разрешение (*франц.*).

деревянными домами. Когда на первой же пристани сходил на берег, рассек себе голову; кровь лилась рекой. Из Молде в Геннес ехали в лютый холод на машине, на пароме переправились в Кристисунн, где снова поднялись на пароход. В Тронхейме приняли ванну и позавтракали в отеле с пальмами во дворе. Все утро шел дождь, и собор с могилой святого Олафа[1] был закрыт. Чем дальше продвигаемся на север, тем пейзаж все больше напоминает времена короля Артура. В эту минуту на пути в Будё светит солнце (накануне дождь шел целый день), и горы по правому борту склоняются, как на гравюре Доре[2].

Пароход забит до отказа. В третьем классе гомонят дети. Вместе с нами в каюте плывет лютеранский пастор из Провиденс, штат Роуд-Айленд. Спит не раздеваясь, целыми днями лежит на своей койке и читает английских мистиков. На борту можно встретить американцев, англичан и даже французов, но больше всего — норвежцев. Все они хороши собой — и молодые, и старые. Читаем Эдгара Уоллеса, смотрим на карту и играем в пикет и бридж; в пикет — только мы с Хью, в бридж — втроем. И отпускаем бороды — это наше основное занятие. У Хьюи борода золотистая, растет ровно. Моя — черная и неровная: на щеках густо, а вот на подбородке пустовато. Сэнди бреется. <...>

В пятницу 13-го бросили якорь в Тромсё и с "Принцессой Рангильдой" расстались. <...>

В Тромсё в жизни нашего лидера [Сэнди Глена. — *А. Л.*] существенную роль стали играть старики. Стоило нам сойти на пристань, как он исчез, буркнув, что должен найти "какого-нибудь великолепного старика". В течение двадцати четырех часов нашего пребывания в Тромсё он предпринимал эти поиски, при этом нельзя сказать, чтобы ему сопутствовал успех. Вечером вернулся пьяный и принялся сбивчиво рассказывать про какого-то "совершенно уникального" старика, который считается лучшим ледоходным шкипером в Арктике. По его словам, старик этот пропил 60 000 фунтов и спас от смерти самого Ротшильда. В Тромсё было необычайно жарко, и в карты мы играли, засучив рукава рубашек. Одного из стариков нашего лидера звали Рёте; глухой норвежец, служил в американской армии, а теперь был британским вице-консулом. Рёте очень нам пригодился: ходил с нами в магазин, обналичивал наши чеки, при

1. Олаф II Святой (ок. 995—1030) — король Норвегии (1015—1028); причислен к лику святых; считается покровителем Норвегии.
2. Гюстав Доре (1832—1883) — французский график и гравёр; автор иллюстраций к Библии и "Дон Кихоту".

этом не пил ни капли и даже не заходил в винную лавку. Вечером пошли с ним в кино. Надо было сделать кое-какие запасы — купить картошку, апельсины, ром, носки и т. п.

Во второй половине дня 14-го числа, в сопровождении нескольких стариков, отобранных нашим лидером, мы поднялись на борт "Люнгена". Лидер предупредил нас, что нам предстоит самая неинтересная часть нашей экспедиции, но, как и все его предсказания (например, что Тромсё — международный курорт с многочисленными барами и отелями), и это тоже оказалось не вполне соответствующим действительности. В субботу утром мне удалось послушать мессу. "Люнген" — маленький пароход, находящийся на государственной субсидии. Совершает он пять рейсов в год; в летние месяцы выходит в море каждые две недели. Зимой Шпицберген отрезан от Норвегии. На борту было всего три-четыре пассажира, поэтому в распоряжении каждого из нас имелась двухместная каюта. Обогнув острова, мы взяли курс на Хаммерфест, куда приплыли вскоре после полуночи. Днем было тепло, а ночью в иллюминатор каюты пробивались ослепительные лучи солнца, и спать было почти невозможно.

Утром небо заволокли тучи; похолодало. Пароход довольно сильно качало, и у всех пассажиров, у Хью и лидера в том числе, развилась морская болезнь. Вот и я большую часть дня пролежал у себя в каюте, читая Саки[1]. Ночью принял тройную дозу снотворного и проспал тринадцать часов. Во вторник 17-го было по-прежнему холодно, но к вечеру море успокоилось, и Хью с лидером сели играть в пикет; Хью выигрывал партию за партией. Около семи вдали появилась южная оконечность Шпицбергена, и с этой минуты со стороны нашего правого борта тянулась земля. Черные горы; среди них плывущие в море ледники; иногда между свинцовым небом и свинцовым морем пробивалась узкая серебряная полоска яркого света. Ослепительно белые ледники; облака, срезающие верхушки гор. После ужина море успокоилось. Пишу эти строки около одиннадцати вечера; часа в два ночи должны бросить якорь в Бухте Пришествия.

18 июля 1934 года

В Бухту Пришествия вошли рано утром. Безрадостный пейзаж. Низкие облака, гряда холмов, бесцветных и темных; холмы голые, травой поросли только на склонах, у самой воды. Упираю-

1. Саки — псевдоним английского писателя-юмориста и журналиста Гектора Хью Манро (1870—1916).

щиеся в облака вершины гор белой грядой снега на черном фоне напоминают зебру. У самого берега плещутся небольшие айсберги цвета купороса. Выгрузили поклажу, и Хью с лидером решили перевести ее на шлюпке на вельбот, который часов семь-восемь не мог сдвинуться с места. Спустился к себе в каюту и лег спать. Вышли в море около одиннадцати и прибыли на место без каких-то минут пять. Целый день простояли на баке, жуя сыр и запивая его жидким чаем. Пристали к берегу в месте, которое одни называют Шотландским лагерем, другие — Брюс-Сити. Четыре сруба у подножья ледника: дома брошены, но в состоянии вполне приличном. Самый большой сруб использовался в прошлом году членами Оксфордской экспедиции в качестве опорного пункта. После них остались кое-какие вещи, в том числе несколько тетрадей с не представляющим никакого интереса акварельным рисунком; пролежали здесь эти тетради целый год, из них полгода — под снегом, и нисколько не пострадали. Построен был лагерь в 1907 году какой-то сомнительной горнорудной компанией. По рельсам ходит наверх вагонетка, мы и загрузили ее своими припасами. Вернулись на вельбот и выпили рому. Наш лидер передал бутылку матросам: им ром особого удовольствия не доставил, а вот у нас с Хьюи вызвал немалое беспокойство. Вокруг домов гнездятся крачки; стоило нам появиться, как они с пронзительными воплями принялись пикировать у нас над головами[1].

Пятница, 10 июля 1936 года

Писал рецензию на "Слепого в Газе"[2]. Обедал с Хью. Зашел к Лоре; пили чай и перекусывали. Ужинал на Брутон-стрит с Мэри и Габриэл[3]. Ходили с Беллоком[4] на пьесу Л. Выглядела

1. На этой записи шпицбергенский дневник И. Во обрывается. Писатель возвращается в Англию в конце августа, однако следующая запись появляется только спустя два года, в июле 1936-го, когда Во получает долгожданную телеграмму от архиепископа Годфри, где сообщается, что первый брак писателя Ватиканом аннулирован, и теперь он может сочетаться "законным" церковным браком с Лорой Херберт, как и Во, католичкой. В 1934 г. выходит роман Во "Пригоршня праха", писатель начинает работу над биографией иезуита-мученика Эдмунда Кэмпиона. В 1935 г. Во вновь посещает Абиссинию — на этот раз в качестве военного корреспондента "Дейли мейл", освещающей итало-абиссинскую войну, а летом 1936 г. едет в Абиссинию в третий раз для завершения работы над книгой путевых очерков "Во в Абиссинии".
2. Роман Олдоса Хаксли (1936).
3. То есть в доме Лоры Херберт — с ее матерью Мэри и старшей сестрой Габриэл.
4. Хилер Беллок (1870—1953) — поэт, прозаик, критик, журналист; автор многочисленных романов, биографий, исторических сочинений и путевых очерков.

Л. чудесно — как будто шла на эшафот, да и говорила прекрасно. <...>

Лондон–Рим, среда 29 июля 1936 года

Проснулся рано, еще не протрезвел; утро провел в трансе. В два сел в "Римский экспресс". Приятное путешествие в пустом спальном вагоне. Послал Лоре телеграмму — очень может быть, предосудительного содержания. <...>

Ассизи, среда, 5 августа 1936 года

С каждым днем все жарче. И все скучнее без Лоры. Вечер неописуемой красоты. Побывал в Сан-Доминиано.

Неаполь–Джибути, понедельник, 10 августа 1936 года

Даже сейчас, когда на палубе веет приятный ветерок, в каюте находиться невозможно. То ли еще будет в Красном море? В субботу почти весь день провели в Мессине — грузились. Теперь нагружены так, что двигаемся еле-еле. Для тропиков пароход не предназначен совершенно. В нашей каюте задраены все иллюминаторы, кроме одного; вентиляции никакой. Зато еда, хоть и простая, но сносная, да и мои соседи по столу поняли, что поддерживать общую беседу я не охотник. Один из членов команды разгуливает по палубам в сапогах для верховой езды со шпорами. Другой офицер спит у меня в каюте; на нем сетка для волос. В свободное время они стреляют по тарелочкам и, как правило, промахиваются. Вчера на палубе служили мессу; присутствовали исключительно пассажиры второго класса; из первого — всего несколько человек. На пароходе пятеро детей. По вечерам — кино. С утра до вечера зубрю итальянский — пока добился лишь того, что позабыл французские слова, все до одного.

Пятница, 14 августа 1936 года

Из экономии решил ехать прямо в Аддис-Абебу. Всю ночь проспал на палубе. Стоянка в Порт-Судане. Во всем чувствуется порядок. Молодой назойливый офицер выговорил пассажирам за то, что сидят на перилах. В Порт-Саиде полицейский сержант, англичанин, заглянул в мой паспорт: "Так вы, значит, британец? А по-английски говорите?" В Порт-Судане на вопрос, можно ли мне сойти на берег, последовало: "Вы ведь плывете на итальянском пароходе, неужели непонятно?"

Вечером нечто вроде концерта с мороженым и любительским пением.

Джибути, вторник, 18 августа 1936 года

В Джибути прибыли рано утром. Долго швартовались. В отелях "Аркады" и "Континентальный" свободных мест нет. В конце концов, за несколько минут до появления итальянского офицера, спавшего в общей спальне на лестничной площадке, удалось получить номер в "Европе". Встретился с весьма обходительным итальянским консулом. Поехал в "Континенталь", где обнаружил Ли и Мориартиса. Последний недавно из Аддис-Абебы: в городе голод, сторожевые отряды сняты; уверяет, что Аддис еще до Машала будет в руках эфиопов, пусть и всего на несколько часов. Говорит, что казнь патриарха — непростительная ошибка. Ясно одно: итальяшкам приходится туго. Месяц назад в Хадине сошел с рельсов и был ограблен поезд; пассажиров высадили и продержали тридцать шесть часов взаперти на каком-то складе; телеграфные столбы повалены, мосты впереди и сзади взорваны, отправить следом еще один поезд невозможно. В Аддис поезд пришел только через четыре дня, несколько пассажиров умерло, гречанка с двумя детьми во время грабежа спряталась под вагоном и отделалась синяком под глазом. Войска Эритреи отведены. Дорогу на Дессе итальяшки не контролируют. Из Дессе и Дэбрэ-Бырхана они, скорее всего, свои войска вывели. Несколько недель назад бои шли в лесах вокруг английского посольства. Недавно попали в засаду тяжелые грузовики. По всей стране действуют вооруженные до зубов шифты [мародеры. — *А. Л.*] Хлеб не посеяли, поэтому голод неминуем. Тем временем железнодорожное сообщение с Аддис-Абебой восстановлено полностью. <...> Итальяшки бродят по Джибути с видом ошарашенных туристов.

Четверг, 20 августа 1936 года

<...> Местные итальяшки крайне сговорчивы, а вот англичане неуживчивы, "дерут нос". Линия обороны Вахиб-Паши так и не задействована: армия понесла большие потери еще до того, как обратиться к паше за помощью, и доукомплектовать боевой состав уже некем. Нассаху бежал вместе с пашой. Газ пускали четыре-пять раз — в основном на южном направлении и в пещерах; ослепших развезли по госпиталям. Во время обстрела в Хараре не было ни одного военного, тем не менее впоследствии мародеры отыскали спрятанные припасы про-

довольствия и оружия. Войдя в город, итальянцы отдали его на растерзание бандам туземцев, и те перебили всех христиан, каких удалось найти, в том числе трех священников неподалеку от английского посольства. После чего bandi[1] были из города выдворены. Привычные жалобы на работу телеграфа и почты. У меня за окном вьюрки.

Среда, 26 августа 1936 года

Фашистское сборище в честь немецкого консула. Славословия в адрес Гитлера и незабываемой поддержки дружественной Германии в ответ на варварские антиитальянские санкции. Выстроившиеся школьники в форме спели "Giovinezza"[2]. Беседа с Нистромом. Сказал, что ожидавшаяся в декабре победа откладывается: ежедневные обстрелы императорских позиций, войска разложены, солдаты мародерствуют. От газа погибло всего восемнадцать человек, но психологическое воздействие газовой атаки велико. Армия отступает под огнем собственных же людей (своей же артиллерии). Поехал в утопающий в грязи, вонючий лагерь морской пехоты на ферме за Гебби. Оттуда к Расу — но тот в это время находился в бою. Император скрылся с 10 000 фунтов, его жена имеет несколько сот в год и дети — тоже. Большая часть князей также находятся в бегах, но их состояние очень невелико. Сражение всю ночь. До рассвета бьют тяжелые пушки, весь вечер в воздухе аэропланы.

Четверг, 27 августа 1936 года

Завтрак под пушечные выстрелы. Вчера вечером подумал, что еще никогда не бывал в городе, где столько обездоленных. Поехал в Гебби к Грациани[3]. Кабинет очень неказист. Сидит среди останков императорской обстановки. Очень оживлен и деловит. Ни слова о римской цивилизации и преступных санкциях. Фашистская фразеология отсутствует. Расспрашивал меня, где я побывал, куда хочу поехать, располагаю ли временем. Предложил мне отправиться на юг, присоединиться к войскам, действующим на озерах. Полгода назад я бы за такое предложение ухватился, теперь же ответил отказом.

1. Бандиты (*итал.*).
2. "Молодость" (*итал.*) — песня фашисткой молодежи.
3. Родольфо Грациани (1882–1955) — маршал, главнокомандующий итальянским экспедиционным корпусом в Эфиопии.

Асмэра, воскресенье, 30 августа 1936 года

<...> В Асмэру приехал в 11.30. Был принят главой пресс-бюро толстяком и милягой Франки; отвел меня в бунгало на территории отеля. Получил много телеграмм, где говорилось о моей особе, счел, что я женщина, и весь вчерашний день, бедный, прождал меня в крайнем возбуждении. Обедал с ним в отеле. Обед плох. Изо всех сил старался мне угодить. Слава Богу, что взял с собой из Аддис-Абебы несколько книг. Ходил по городу — вид безотрадный. В городе, построенном для 2 ооо белых, сейчас живут 60 ооо черных. Толпы людей — все мужчины. Мое бунгало отвратительно: ни света, ни воды. Постель кишит блохами.

Понедельник, 31 августа 1936 года

Произвел ряд реформ и ощутил себя Элизабет Фрай[1]. Новая лампа, в ванной — карболка, новый матрас. Зато потом весь день бездельничал. Когда итальянцев упрекают, что в городе грязно, они говорят: "Мы в Африке". Раз тропики для них предлог для несоблюдения гигиены — это плохой знак. Вспомнил, что никто иной, как итальянцы, изобрели трущобы и сами же в них жили.

Вторник, 1 сентября 1936 года

Встал в 5 утра; в 5.30 с Франки и еще одним офицером выехал на бешеной скорости в Аксум. Сильно простужен. Туман. Дорога просто великолепная: гудрон, бетонные парапеты <...>. В шесть утра рабочие идут на работу. Головные уборы от солнца, спецодежда. Получают 40 фунтов в день плюс содержание. Все — средних лет, многие с бородой. Через Мареб перекинут большой стальной мост. Проехали кладбище, где лежат семьдесят рабочих — их в феврале прошлого года перебила в Маи-Ада, прямо в постелях, банда, возглавляемая монахом.

Адува. Много древностей. Дома каменные или бревенчатые, в основном двухэтажные. Стоят группами, каменные стены, приворотные башенки. Вокруг чинары, под одной из них в 1896 году пытали аскари[2]. Повсюду красные флаги, над офи-

1. Элизабет Фрай (1780—1845) — английская квакерша, благотворительница; способствовала реформам в пенитенциарной системе и в здравоохранении.
2. В итало-абиссинской войне 1896 г. Менелик II одержал победу над итальянцами и над аскари — местными племенами, примкнувшими к итальянцам.

церскими борделями флаги желтые. Никаких признаков артобстрела. За городом большой лагерь. К итальяшкам местные относятся по-дружески. Дети распевают “Giovinezza”. Поехали дальше, в Аксум. Остановились в немыслимо грязном лагере, где пренебрегают элементарными гигиеническими нормами; скауты, и те лучше. Солдаты небриты, бродяги грызут хлебные корки. <...>

Воскресенье, 6 сентября 1936 года

Хотел пойти на мессу, но в церковь войти невозможно. Весь день бродил с угрюмым видом по городу. Вечером Франки устроил в мою честь небольшой прием при участии неразговорчивых морских офицеров и псевдошампанского. После ужина побывали в борделе, где семь девиц работают с 9.30 утра до 11.30 вечера с двухчасовым перерывом на обед. Каждому клиенту они предоставляют от пяти до десяти минут и берут 25 лир. Раз в три месяца им полагается отпуск. Когда мы пришли, в помещение набилось человек восемьдесят, ожидавших своей очереди в просторном коридоре, в двух комнатах поменьше и на лестнице. Мебели никакой, за исключением скамеек, на которых сидели клиенты, и большого стола, заваленного фуражками. <...>

Лондон, среда, 16 сентября 1936 года

Спустившись, обнаружил письмо от Лоры. Пишет, что я могу ее повидать и что Мэри опять предлагает отложить свадьбу. <...> Ничего не решил, кроме одного: буду учтив.

Мэллз[1]*, понедельник, 21 сентября 1936 года*

Опять взбесился; на этот раз из-за письма от Лоры: интересуется, не хочу ли я снять в Лондоне дом вместе с Мэри. Пребываю в полном смятении. Днем ездили смотреть дома в Нанни и Уотли, о которых говорила Кэтрин. Дом приходского священника в Уотли не дурен — но от тысяч других английских домов ничем не отличается. И нет приличной гостиной. Домоправительница миссис Хейнс провела нас по дому. Увидев кран, я спросил, какая вода из него льется, горячая или холод-

1. В 1936—1937 гг. Во часто бывает в Мэллзе, в 15 милях от Бата, где живут его друзья: приятельница Хилера Беллока Кэтрин Хорнер, Роналд Нокс, оксфордский друг Во Кристофер Холлис.

ная. “Я должна спросить каноника”. — “А почему просто не пустить воду?” — “Из этого крана вода не течет”. Дом в Нанни прелестен. Очень невелик, рядом — замок и фермерские службы. Изысканный фасад XVIII века. Позвонил спросить, продается ли дом. На звонок вышла молоденькая, хорошенькая девушка: “Как это вы догадались? Мы только что, за обедом, приняли это решение. Объявления еще не давали”. Арендатор дома фермер мистер Янг, сохранив за собой одну комнату, отдал его в долгосрочную субаренду этой девушке, ее матери и, по всей вероятности, их родственникам. И внутри, и снаружи дом требует основательного ремонта, но хорош необычайно. Комнаты обшиты панелями, очень красивая лестница из дуба и орехового дерева, норманнские погреба. Выложив кругленькую сумму, из него можно сделать один из самых прелестных маленьких домов в Англии. <...>

Четверг, 24 сентября 1936 года

Приехала Мэри Херберт. После чая все вместе отправились смотреть дома в Нанни и в Уотли. Судя по всему, свыклась с мыслью, что Лора выходит замуж. Теперь остается преодолеть только одно, зато самое серьезное препятствие — тетю Веру[1]. <...>

Мэллз и Лондон, понедельник, 12 октября – пятница, 16 октября 1936 года

В Мэллз вернулся злой и подавленный. Нет отбоя от деловых телеграмм и междугородних звонков. В четверг, 15-го, написал, и, по-моему, очень удачно, первую страницу романа, где описывается раннее утро Дианы[2]. <...>

Кембридж, воскресенье, 18 октября 1936 года

Ранняя месса на Фарм-стрит. Лора проводила меня до Хатфилда. На станции встречен был вежливым старшекурсником. Выпил шерри с отцом Д’Арси и отцом Гилби. Пообедал, и неплохо, в “Юнион”. Осмотрел несколько колледжей. Гилби —

1. Когда леди Виктория (Вера) Херберт, тетка не только Лоры, но и первой жены Во Ивлин Гарднер, узнала, что Во хочет на Лоре жениться, она заметила: “А я уж думала, что этого молодого человека мы видим в последний раз”.
2. Пятый роман Во “Сенсация” начинается с визита Джона Бута к миссис Стич; ее прототипом была приятельница Во, актриса Диана Купер.

превосходный гид. День невиданной красоты, солнце после дождя, осенняя листва. В оранжерее старик в котелке поливает ландыши. Бесконечно долгое, тягостное чаепитие у католиков-старшекурсников. Ранний ужин в Тринити. Не плох. Выступал в Обществе Фишера при полном зале. В основном рассказывал всякие забавные истории. Лекция, прямо скажем, не самого высокого класса, но позабавить собравшихся удалось. Они привыкли к худшему. После лекции отвечал на вопросы.

Лондон–Мэллз, четверг, 29 октября 1936 года

Закончил вторую главу романа [“Сенсация”. — *А. Л.*], отдал ее машинистке.

Остенде, пятница 30 октября 1936 года

<...> С Вудрафами[1] и Эктонами двухчасовым поездом до Остенде. Море спокойное. Остенде пуст, почти все отели закрыты. Гуляли вдоль моря на ветру. В казино действуют всего две рулетки. Отлично поужинали в ресторане “Renommé”[2]. Выиграл 5 фунтов.

Суббота, 31 октября 1936 года

Ездили на машине в Брюгге; пришел в священный ужас от фламандской готики. <...> Шофер с необычайной гордостью продемонстрировал нам фабрику для производства ядовитого газа. Под проливным дождем — в Гент. Пообедали и посетили мрачный замок, который привел в восторг Дугласа и Дафну. <...>

Оксфорд, воскресенье, 8 ноября 1936 года

В Оксфорд поехал с Крисом, у него лекция в Ньюмене. Обедал с Ноксом; огорчен нашим приездом <...>. Побывал в Кэмпион-Холле. Видел последние приобретения Д’Арси. Отличный Мурильо — не исключено, что подлинник, красивые облачения, масса всякой ерунды: акварели студентов, вырезанные из книг репродукции, кое-какой фарфор <...>. Ходил на лекцию Криса. О выборах Рузвельта говорил с таким трагическим видом, как будто проиграл битву при Лепанто[3]. На-

1. Дуглас Вудраф (1897—1978) — издатель журнала “Тэблет”.
2. “Прославленный” (*франц.*).
3. Испано-венецианский флот разгромил турецкий флот при Лепанто (Нафпактос, Греция) 7 октября 1571 г.

чал было забрасывать его вопросами, но одумался: он был явно не в форме. Пришло известие, что Мадрид пал. <...>

Лондон, пятница, 20 ноября 1936 года

Ездил в Лондон. Обедал с Лорой у Бульстена. Был в киностудии Корда́; хочет, чтобы я написал ему пошлый киносценарий про девиц из кабаре. <...>

Мэллз, четверг, 3 декабря 1936 года

Передовица в "Таймс" про миссис Симпсон[1].

Пятница, 4 декабря – вторник, 8 декабря 1936 года

Скандал с Симпсон привел всех в неописуемый восторг. В частной лечебнице "Мэйди" взрослые пациенты, все как один, почувствовали себя значительно лучше. Это из тех редких событий, которые всем доставляют радость и очень мало кому – огорчение. Почти всю неделю читал газеты и слушал радио. Написал рецензию на скучные эссе Олдоса Хаксли и дотянул киносценарий до скучного и неубедительного финала. Завтра, в среду, еду в Лондон. <...>

Среда, 13 января 1937 года

В "Таймс" – объявление о помолвке [И. Во и Лоры Херберт. – *А. Л.*]. <...>

Отель "Истон-Корт", Чагфорд[2], 4 февраля 1937 года

Поехал в Чагфорд, где пробыл почти до самой Пасхи. Корда́ прислал очень тупого американца по имени Корнелл, с которым мы вместе должны были работать над сценарием к фильму. Его вклад был равен нулю, зато мне удалось отредактировать уже написанное, а потом, в Лондоне, продиктовать третий, более длинный вариант сценария. С тех пор от Корда́ ни слуху ни духу, и я тружусь над романом: материал хорош, а

1. Речь идет о скандале, разразившемся в декабре 1936 г., когда Эдуард VIII (1894–1972) отрекся от престола в пользу своего брата Георга VI из-за связи с американской журналистской Уоллис Симпсон.
2. В этом отеле Во часто останавливался и работал; в 1944 г. он писал здесь "Возвращение в Брайдсхед".

вот композиция пока хромает. <...> Лора дважды ездила в Париж — покупать приданое, а я пару раз — в Лондон с ней повидаться.

<...> Я назначен директором "Чепмен-энд-Холл". Инмен[1] произнес речь, и не одну, после чего мне с большой помпой вручили совершенно бессмысленный набор ножей и вилок. Разослал приглашения на свадьбу: под тем или иным предлогом отказываются почти все. Начинают приходить подарки, в основном низкого качества; исключение — Асквиты: подарили нам превосходные подсвечники и стол. <...>

Неделя в Чагфорде: держу корректуру, пишу статьи для "Нэша" и веду сложнейшую переписку с юристами, архитектором, страховой компанией и т. д. Ворвался в деревенскую лавку, где накупил массу старой мебели, каминных решеток и пр.

Суббота, 17 апреля 1937 года

К ранней мессе: Д'Арси, Лора, Херберты и Вудрафы. Завтрак в "Сент-Джеймс": Дуглас и Ф. Хауард; Генри пришел позже. Переоделся, пропустил у Паркина стаканчик — и в церковь, где был обвенчан с Лорой. <...> В Париже забрали свадебное платье Лоры, поужинали в Тур д'Аржан (утка под прессом, лесная земляника), Мюсиньи, 14, и минута в минуту сели в "Римский экспресс".

Портофино, воскресенье, 18 апреля 1937 года

Спал хорошо, Лора — нет. Таможня, паспорта и т. д. — очень суматошно. Ели из бумажного пакета, проехали на запряженном лошадью экипаже из Святой Маргариты в Портофино. Прелестный день, прелестный дом, прелестная жена — чистое счастье. <...>

Четверг, 6 мая 1937 года

День Вознесения. Достопримечательности. В "Паоли" отличные cannelloni[2]. С 4.50 до 7.50 футбольный матч в маскарадных костюмах. Лора в восторге. За ужином в подвальчике выпила лишнего, купила кошку (заводную). Оркестр неистовствовал.

1. Филип Инмен (р. 1892—1979) — исполнительный директор "Чепмен-энд-Холл"; был приглашен акционерами, чтобы вывести издательство из кризиса.
2. Сорт макарон (*итал.*).

Пирс-Корт[1]*, пятница, 12 ноября 1937 года*

Всякий раз, когда Лора напоминает мне о недавних событиях, которые привели меня в восторг, но про которые я напрочь забыл, я искренне поражаюсь тому, какой дырявой стала моя память. Вот почему я решил в очередной раз попробовать вести дневник ежедневно. <...>

Пятница, 19 ноября 1937 года

Сегодня днем, когда работал в саду, со мной произошла необычайно странная вещь: я подпрыгнул, чтобы срезать у себя над головой ветку остролиста, и получил сильнейший удар в глаз и в нос; судя по всему — собственным кулаком. Необъяснимо. Монах приписал бы случившееся дьявольскому наваждению. Как бы то ни было, боль жуткая, да и синяк во все лицо. Написал в "Харперс Базар" статью об опасности увлечения Афиной Палладой. Алекс угостил восхитительным вином — "Шато Лафори-Пейраге 1924". <...>

Вторник, 23 ноября 1937 года

Разметил колышками квадратную лужайку перед домом. Опять сел за роман; что-то начинает получаться.

Пятница, 10 декабря 1937 года

Отлично выспался, проснулся в прекрасном настроении и, как следствие, целый день не работал; занят был единственно тем, что ублажал Лору.

Понедельник, 10 января 1938 года[2]

<...> Работа над "Сенсацией" идет медленно, все время что-то мешает, отвлекает. Еженедельник "Ночь и день" вот-вот за-

1. Летом 1937 года И. Во с женой переселяются в купленный писателем дом Пирс-Корт в Стинчкоме, графство Глостершир. 12 ноября после полугодового перерыва Во вновь начинает вести дневник (последняя запись — 4 июня).
2. Следующая запись в дневнике появляется только в июне 1939 г., за три месяца до начала Второй мировой войны. В 1938 г., прервав оседлую семейную жизнь, Во едет сначала в Венгрию, а потом, вместе с женой, — в Мексику, чему посвящена его книга путевых очерков "Грабеж по закону: мексиканский наглядный урок" (1939). В послевоенный сборник своих путевых очерков Во "Грабеж по закону" не включил, поскольку "в этой книге больше политики, чем путешествий".

кроется. Мои с ним отношения складывались не лучшим образом. В последнем издании моих произведений дюжина экземпляров большого формата, половину я уже раздарил. Умерла герцогиня Ратлендская. О боях в Теруэле[1] поступает разноречивая информация; впрочем, газеты теряют к испанской войне интерес.

Пирс-Корт, пятница, 30 июня 1939 года

В рецензии, написанной из лучших побуждений и напечатанной в "Дейли мейл", говорится, что "Грабеж по закону" изобилует "отталкивающими историями об аморальности священников и монашек". Повез Диану Купер и Конрада в Стэнкомский грот.

Четверг, 27 июля 1939 года

После двух недель жизни в Пикстоне[2] беру несколько дней отпуска. Каких только гостей не было за это время. <...> Я раз шесть переписал первую главу романа[3], прежде чем она приобрела сносный вид. <...> В газетах только и пишут о бомбах ИРА, уступках японцам, нелепой зависимости от русских переговоров[4].

Пирс-Корт, пятница, 4 августа 1939 года

Вернулись домой и обнаружили, что из-за дождя все работы в саду остановлены; сорняки высотой с дерево. Прюитт поработал на славу: с помощью сажи уничтожил на кругу всю траву. Сад запущен точно так же, как два года назад, когда мы сюда приехали. На распродаже библиотеки сэра Чарльза Превоста Кук купил мне переплетенные в телячью кожу проповеди, которые мне не нужны, и два огромных парных портрета Георга III и его супруги, которые повергли меня в смятение. Эти портреты король подарил первому баронету, бывшему губернатору многих подвластных территорий, в том числе и Канады. По всей видимости, они перевозились из одного Дома правительства в другой Дом правительства и в

1. В начале 1938 г. в испанском городе Теруэле (провинция Арагон) шли кровопролитные бои между республиканцами и франкистами.
2. Хербертам, Мэри и ее мужу, принадлежал дом Пикстон-Парк в графстве Сомерсет.
3. Имеется в виду роман "Работа отложена" (1942).
4. То есть от переговоров Сталина с Гитлером.

пути сильно пострадали. Новая телефонная служба у всех вызывает неподдельный интерес.

Воскресенье, 20 августа 1939 года

<...> С каждым днем война кажется все более неминуемой. С каждым днем Алек все более погружается в себя, в свою профессию.

Вторник, 22 августа 1939 года

Россия и Германия заключили Пакт о ненападении, и теперь откладывать войну нет уже никакого резона.

Четверг, 24 августа 1939 года

Днем трудился в саду, чистил дорожку. И думал: зачем я все это делаю? Через несколько месяцев здесь и на теннисном корте я буду выращивать брюкву и картофель. Или уеду отсюда, и тогда все тут зарастет сорной травой, сад станет таким, каким был два года назад, когда мы сюда приехали.

Пятница, 25 августа 1939 года

Судя по новостям, на мир рассчитывать не приходится. Призывы папы столь общи и избиты, что у нас, где никто не сомневается, что мир предпочтительнее войны, они прошли незамеченными. Быть может, в Италии, где не все разделяют эту нехитрую мысль, призывы понтифика будут иметь больший отклик. Написал письмо Бэзилу Даффорину с просьбой связать меня с Министерством информации. У них в Лондоне сейчас, надо полагать, горячие денечки. Трудился над романом — идет неплохо.

Воскресенье, 27 августа 1939 года

Обедал с Кристофером Холлисом в Мэллзе. Мэйди заботит только одно: как война скажется на ее обязанностях домоправительницы. К причастию. Склоняюсь к тому, чтобы пойти в армию рядовым. Лорино финансовое положение лучше, чем у большинства жен, а если бы мне удалось сдать на время войны дом, оно бы упрочилось еще больше. Интересно, через тридцать лет я по-прежнему буду писать романы? Для меня как для писателя нет ничего хуже, чем работать в государственном учреждении; и нет ничего лучше, чем полностью из-

менить образ жизни. Есть символическая разница между тем, кто пошел на фронт солдатом, и тем, кто защищает отечество на гражданской службе, — даже если в этом качестве он представляет бóльшую ценность.

Пятница, 1 сентября 1939 года

Неделя тянулась очень долго. Домашние держатся на удивление спокойно. Министерство информации от моих услуг отказалось. Написал — скорее, чтобы сделать приятное Лоре, чем рассчитывая на успех, — сэру Роберту Вэнситарту[1] и Джерри Лиделлу. Отдал дом на откуп нескольким агентам <...>. Сегодня сюда должны привезти эвакуированных детей. <...>

Написав эти строки, отправился в дом приходского священника забрать стулья после чаепития в сиротском приюте. Мистер Пейдж только что слушал по радио десятичасовые новости: Германия бомбит Польшу <...>. Слушали радио в машине миссис Листер. Доктор заверил, что эвакуация организована идеально. Детей, однако, нет до сих пор. Появились пустые автобусы. Вслед за ними — полицейский в двухместном автомобиле; сказал, что детей оказалось на 400 человек меньше, и в Стинчком не доставят никого. <...>

Суббота, 2 сентября 1939 года

Судя по всему, недостатка в добровольцах вооруженные силы не испытывают. Всё как прежде — вот только до Лондона дозвониться невозможно; ждешь соединения по полтора часа. Готовим дом к приезду ответственных за эвакуацию. Из комнат, которые я им предоставляю, выносим все ценные предметы. В одиннадцать узнали, что сегодня эвакуируемых не будет. Тягостный день. Послал в "Таймс" объявление о сдаче дома в аренду; предложил свои услуги через Брюса Локарта[2]. Позвонил Питерсу; теперь он работает в Министерстве информации. Надеюсь, что поможет мне туда устроиться. Вечером прибыло некоторое количество матерей и детей. Ходили в кино в Дерсли; в новостях над Болдуином[3] открыто потеша-

1. С 1938 по 1941 гг. — главный дипломатический советник при министре иностранных дел.
2. Брюс Локарт (1887—1970) — английский дипломат и разведчик.
3. Стэнли Болдуин (1867—1947) — премьер-министр Великобритании в 1923—1924, 1924—1929, 1935—1937 гг.

лись. Начал действовать приказ о затемнении. Нас дважды останавливали и предупреждали, что следует выключить фары.

Воскресенье, 3 сентября 1939 года

Месса и причастие. После завтрака выступление премьер-министра[1]: война началась. Говорил очень хорошо. Вслед за выступлением всевозможные меры безопасности: закрытие развлекательных заведений, предупреждения о воздушной тревоге и т. д. На чердак своей конюшни мистер Пейдж пустил нищенку; она беременна, четверо детей. Принесли ей кровать и кое-что из одежды. Сидит за столом в слезах, а Пейдж безуспешно пытается продеть через перила проволоку, чтобы дети, за которыми мать не следит, не свалились вниз. По деревне бродят небольшими группами малыши; вид унылый, потерянный.

Понедельник, 4 сентября 1939 года

Среди эвакуированных есть люди, которые думают, что спасаются от ИРА. Есть и такие, кто крайне недоволен незначительной материальной поддержкой правительства, эти в раздражении возвращаются домой. Однако большинство устраивается на новых местах. Сейчас стало понятно, что нас их размещение не коснется. Вежливая записка от Вэнситарта — препоручает меня лорду Перту[2]. Пишу длинные письма Перту и Питерсу, объясняю, что мог бы осуществлять связь с иностранными военными корреспондентами. Провожу операцию по установлению готической балюстрады. Особенно тягостно вечерами; сидим за закрытыми ставнями, полиция восприняла приказ о затемнении слишком буквально: владельцев домов отчитывают за самую крошечную полоску света, которую и на бреющем полете не углядишь.

Четверг, 7 сентября 1939 года

В газетах как-то вдруг стало совершенно нечего читать. Письмо от лорда Перта; пишет, чтобы я ждал распоряжений. Власти окончательно помешались на затемнении. Бампер машины закрасил белилами, черной краской — фары. Приходили смотреть дом.

1. Премьер-министром Великобритании в это время был Невилл Чемберлен (1869—1940); в 1940 г. его сменил Уинстон Черчилль.
2. В 1939 г. лорд Перт занимал место советника по иностранным делам в Министерстве информации.

Воскресенье, 17 сентября 1939 года

<...> Последние дни очень тягостны. Все идет к тому, что Великобритании нанесут совместный удар Россия, Германия и Япония, а возможно, и Италия; Франция будет перекуплена, Соединенные же Штаты будут сочувственно наблюдать за происходящим из-за океана. Если бы мне не надо было копаться в саду, умер бы со скуки. <...>

Понедельник, 25 сентября 1939 года

Монашки доминиканского ордена подтвердили: берут наш дом с первого октября. Весь день готовлю сад и дом. Газеты смакуют захват русскими польских земель на востоке, как будто для наших союзников, которых мы призваны защищать, это более тяжелый удар, чем наступление немцев на западе. На довод итальянцев, что мы, дескать, сами себя наказали, не объявив войну России, ответить нечего.

Вторник, 26 сентября 1939 года

Явились две монашки: сестра Тереза, ее мы уже видели, и еще одна — повариха, робкая и болезненная. Не успели прийти, как тут же стали добиваться очередных поблажек: позвольте нам въехать не в воскресенье, когда мы начнем платить аренду, а в пятницу; дайте до воскресенья двум нашим сестрам пожить бесплатно; давайте мы купим у вас ваши запасы не по розничной, а по оптовой цене и т. д. Телефонный звонок: у епископа возникли трудности, и сделка в самый последний момент может сорваться. Крайне утомительные посетительницы.

Лондон, вторник, 17 октября 1939 года

Ездил в Адмиралтейство — работает как часы. Видел Флеминга[1]; сообщил мне, что в ближайшее время мои шансы получить назначение невелики. При этом обнадежил: "Вы в моем списке". Из Адмиралтейства — в Министерство обороны, где царит полная сумятица. Центральный коридор — как железнодорожный вокзал во время отпусков. Безостановочно снуют мужчины и женщины в форме и в гражданском. Нескольких офицеров, точно носильщиков, со всех сторон забрасывают

1. То есть брата Питера Флеминга Яна Ланкастера Флеминга (1908–1964) — прозаика и журналиста, автора серии романов о Джеймсе Бонде.

вопросами. Один офицер сообщил мне, что единственный способ попасть наверх — выйти на улицу и, позвонив по телефону, получить пропуск. Так я и поступил: звонил и одновременно стригся. Принял меня какой-то безумный юнец, представившийся капитаном Веррекером. Просидел у него в кабинете полчаса, присматриваясь к работе его департамента. Кроме капитана в комнате сидели еще двое. За это время не было ни одного телефонного и нетелефонного разговора, где бы речь ни шла либо о потерянных документах, либо о нарушении телефонной связи. Потерялось, кстати сказать, и мое письмо тоже. И вот наступил драматический момент:

— Представитель северного командования у телефона. — Сказано в состоянии крайнего возмущения.

— Симпсон расхаживает в гражданском, да к тому же в нарукавниках.

Выяснил, что работы для меня нет, и пошел в "Сент-Джеймс", где съел полдюжины устриц, половинку тетерева, целую куропатку и персик и выпил полбутылки белого вина и полбутылки "Понте-Кане" 1924 года. С этого момента день пошел по восходящей. Вечеринка с коктейлями у Майкла Росса. Затемнение и в самом деле чудовищно; только и разговоров об уличных происшествиях: ночной сторож в "Сент-Джеймс" рухнул с крыльца, любовница Сирила Коннолли охромела, и теперь Сирилу ничего не остается, как вернуться к жене. <...>

Пикстон-Парк, среда, 18 октября 1939 года

Отправился к валлийским гвардейцам, где два чудесных офицера весьма преклонных лет провели со мной собеседование и меня приняли. Говорят, что через полгода смогут мне что-нибудь предложить. Немного успокоившись, вернулся в Пикстон, где был встречен свежей порослью вшей.

Суббота, 21 октября 1939 года

Письмо от валлийских гвардейцев: их список пересмотрен, и я в него не вошел. Моя первая мысль: в Министерстве обороны есть кто-то, кто меня недолюбливает. Вторая мысль: полковник Литэм по своеу мягкосердечию раздает назначения налево и направо, за что получил выговор. В любом случае, больше мне рассчитывать не на что. Вечером испытал на себе новое снотворное зелье, изобретенное местным эскулапом. Впоследствии он признался, что обычно давал его женщинам, у которых начинались родовые схватки. Спал хорошо, но проснулся на пределе отчаяния.

Отель "Истон-Корт", Чагфорд, понедельник, 23 октября 1939 года

Проснулся в еще более подавленном состоянии, чем накануне. Осмотрев Лору, доктор сказал, что ребенок родится через месяц. Поэтому решил уехать в Чагфорд в надежде закончить (или почти закончить) роман до того, как придется забирать Лору из Пикстона. Поехал поездом. <...>

Вторник, 24 октября 1939 года

Писал все утро. Вторая глава уже на что-то похожа, главное же — полно идей. После обеда долго гулял в одиночестве. А потом немного работал опять.

Среда, 25 октября 1939 года

Днем восьмимильная прогулка. Абсурдное письмо в "Таймс" Герберта Уэллса. Предлагает сочинить *новую* Декларацию прав человека, что, во-первых, глупо, во-вторых, вредно. Дает банальные практические советы вроде "Никакой касторки", пишет о необходимости создать Хартию туриста, в основе которой "бережное отношение к природе".

Пятница, 27 октября 1939 года

Работалось хорошо. Идут разговоры о немецком вторжении.

День Всех Святых, 1939 год

Дождь идет не переставая третий день, и, как следствие, роман пишется хорошо, а сплю плохо. Проснувшись сегодня утром, сказал себе: "Ну вот, спал же!" Взял рукопись романа с собой в спальню из страха, как бы ночью она не сгорела. По правде сказать, я так им увлекся, что впервые с начала войны не ворчу, что не попал в армию. А раз так, назначение получу в самое ближайшее время, не иначе.

Говорят: "В прошлую войну генералы усвоили урок, поэтому на этот раз массовой резни не будет". Спрашивается, а как добиться победы без массовой резни?

Пятница, 17 ноября 1939 года

<...> Наконец-то в Министерстве обороны мне присвоили номер в Специальных резервных войсках; кроме того, вторич-

но подаю заявление в лейб-гвардию. Благодаря ходатайству Уинстона Черчилля, Бракена и бывшего генерал-адъютанта мне прислали из морской пехоты анкету, в чем раньше отказывали. Так что, вполне возможно, еще повоюем.

Написал еще 6 ооо слов романа и, соответственно, лишился сна: чем лучше работается, тем хуже спится. В субботу и воскресенье прошли слухи, что немцы вот-вот вторгнутся в Голландию, однако после выходных военные действия вновь ограничиваются разведывательными полетами. Вступил в переговоры с "Чепмен-энд-Холл", Осбертом Ситуэллом и Дэвидом Сесилем о выпуске еженедельного журнала "Срок".

В этом году 11 ноября двухминутным молчанием не отмечалось. Помню почти все Дни перемирия. Первый — когда в школе несколько часов подряд творилось бог знает что и нам по случаю праздника выдали к чаю заливное, которое мы терпеть не могли. Второй — когда двухминутное молчание было еще в новинку, воспринималось благоговейно, и дирижер школьного оркестра исполнил в Верхнем дворе "Последний рубеж". Помню этот день в Оксфорде: мы с Хьюго Лайгоном пьем шампанское в "Клубе новой реформы". В Астон-Клинтоне директор отказался устраивать двухминутное молчание, и некоторые ученики, чьи отцы погибли на войне, попросили меня отметить этот день. А в Абиссинии Стир выставил армянина из посольской часовни.

Далвертон, суббота, 18 ноября 1939 года

В девять позвонила Бриджет: "Рожает!" Выехал на машине в Пикстон. Приехал после обеда; Лоре дали морфий: весела и боли почти не испытывает. К вечеру ей стало хуже, и местный доктор обратился за помощью в Тивертон. Вскоре после полуночи у меня родился сын [Оберон Александр. — *А. Л.*].

Воскресенье, 19 ноября 1939 года

Никогда Лоре не бывать такой счастливой, как сегодня.

Среда, 22 ноября 1939 года

Последние несколько дней Лора пребывает в полном благорастворении духа. Ее клонит ко сну, она радуется жизни. Живу в деревне, в пансионе, где среди женщин распространился слух, будто в пятницу вечером я был навеселе. Из морской пехоты пришла длинная анкета; один из вопросов: страдаю ли я хроническим недержанием. Весьма вероятно, что именно в морскую пехоту меня и зачислят.

Суббота, 25 ноября 1939 года

Пошел на медкомиссию — проходила в квартире в Сент-Джеймсе. В крошечной комнатке ждали своей очереди три-четыре юнца и два красавчика уже в военно-морской форме — они проходили тщательное обследование для зачисления в морскую авиацию. В поношенных белых халатах, с сигаретами в зубах входили и выходили врачи. Начал я с того, что проверил зрение, — итог печальный. Когда меня попросили, закрыв один глаз, прочесть на расстоянии таблицу, я не разобрал не только букв, но и строчек. Ничего не оставалось, как подсмотреть. Потом вошел в соседнюю комнату, где врач мне сказал: "Ну-ка посмотрим, каким вас мама родила. А сутулый-то какой! Зубные протезы носите?" И постучал меня молоточком по разным частям тела. Когда я оделся, мне вручили запечатанный конверт, который я должен был передать в Адмиралтейство. В такси я конверт распечатал, нашел записку, где говорилось, что я обследован и признан к военной службе не годным. После такого вердикта проходить собеседование едва ли стоило. Я, тем не менее, на собеседование явился и обнаружил в приемной тех же самых юнцов. Внутрь они входили порознь, нервной походкой, а наружу вышли все вместе. Наконец, пришел мой черед. Полковник (?) в хаки был со мной крайне любезен, извинился, что заставил ждать, и тут меня осенило: я принят! "Врачи, — изрек он, — не самого высокого мнения о вашем зрении. Можете прочесть?" — И он ткнул пальцем в рекламный щит на противоположной стороне улицы. Я прочел. "А впрочем, задания вы будете большей частью выполнять в темноте". И он предложил мне на выбор либо морскую пехоту, призванную осуществлять внезапное нападение на противника, либо зенитную артиллерию на Шетландских островах. Свой выбор я остановил на морской пехоте и ушел в отличном расположении духа. <...>

Вторник, 28 ноября 1939 года

Лоре полегчало <...>. Новости в основном поступают из Финляндии. "Дейли экспресс" решила опередить события, уже на второй день русско-финской войны газета вышла с огромным заголовком: "Финляндия капитулирует". Этот заголовок, а также заголовок из "Дейли миррор": "Линия Зигфрида прорвана в двенадцати местах" — идеальные примеры неподцензурной журналистики.

<...> На следующий день — в Чатэм; еду в штатском. В поезде узнал человека, с которым вместе проходил медкомис-

сию: высокий, лысый адвокат из Плимута по фамилии Беннетт. Такому только и служить в морской пехоте — любит плавать под парусами. Повстречав других кандидатов, мы были потрясены: из 2 ооо претендентов нас осталось всего 12, и трудно было представить себе зрелище более жалкое. Тихий, незаметный бухгалтер Сент-Джон: претензия на высокий интеллект; слабый мочевой пузырь. Мертвенно-бледный молодой человек из Северного Уэльса с пышными кавалерийскими усами. Этот Гриффитс потряс подавальщиков в столовой тем, что в любое время суток пил галлонами горячую воду и требовал французскую горчицу; в мирное время был школьным учителем. Виноторговец Хэдли — холерического вида толстяк. И это еще самые лучшие. Остальные — печального вида юнцы в офицерском звании. Странно было видеть эти экземпляры в отборных частях, призванных быть несокрушимыми.

Регулярные же морские пехотинцы — чудесные люди, которые кичатся своей неизвестностью. "Откуда вы про нас услышали?" Приняли нас совсем не так, как написано в книге, которую Бриджет дала мне почитать для поднятия настроения. Старшие офицеры приветствовали нас, как приветствуют гостей смущенные хозяева с массой извинений за неудобства. И с поистине восточной учтивостью: "Не соблаговолит ли почтенный младший лейтенант отведать нашей скромной трапезы в обществе нерадивого бригад-майора". Впрочем, их учтивость, как и всякая восточная учтивость, основана на самоуверенности. Казармы и столовая оставляют очень хорошее впечатление. У меня большая комната с большим камином и одной третью нерадивого вестового. По стенам столовой развешены трофеи, лучшие же картины и серебро на время войны заперты. Еда превосходна. Без развлечений не проходит и дня. В день нашего вступления в морскую пехоту мы не трудились ни минуты; сначала долго гуляли в тумане по Чатему и Рочестеру, а потом сидели в столовой и пили виски, которым угощали нас старшие офицеры. На следующий день к нам обратились с речью командующий и другие официальные лица. "Когда мы садимся за общий стол, джентльмены, о различии в званиях следует забыть. От вас требуется только одно — уважение к возрасту". Поскольку я старше большинства офицеров, мне эта мысль полюбилась. Над нами взяли шефство некий майор Блендфорд, человек большой души, и славный сержант Фуллер, который строго блюдет честь мундира. По многу часов в день мы возились с военным снаряжением, по многу раз проходили через камеры с ядовитым газом и т. д. В субботу утром нас некоторое

время муштровали, а потом повели в казармы. После обеда поехал в Лондон и переночевал в Хайгейте. В воскресенье ходил к мессе на Фарм-стрит, обедал с Хьюбертом и Филлис в “Куальино”. Прошло совсем ведь немного времени, а уже странно слышать, как кто-то рассуждает о войне из общих соображений. В “Куальино” полно знакомых — почти все в военной форме. Обратно — в туман и в затемнение, чтобы поспеть к ужину за общим столом и на фильм в гарнизонный кинотеатр.

Жузе Эдуарду Агуалуза

Продавец прошлого

Роман

Перевод с португальского Татьяны Родименко

Если бы мне довелось родиться заново, я бы выбрал что-то совершенно иное. Мне бы хотелось оказаться норвежцем. Может быть, персом.
Только не уругвайцем, поскольку это было бы равносильно переезду в соседний квартал.

Хорхе Луис Борхес

Крохотное ночное божество

В этом доме я родился и вырос. Никогда его не покидал. На закате я прислоняюсь к оконному стеклу и гляжу на небо. Мне нравится смотреть на зарево в вышине, стремительный бег облаков, а над ними — ангелы, сонмы их: они встряхивают искрящимися волосами, машут длинными крылами, объятыми пламенем. Эта картина неизменно повторяется. Тем не менее, я каждый вечер устраиваюсь на окне и

© José Eduardo Agualusa, 2004
© Татьяна Родименко. Перевод, 2013

любуюсь ею, будто вижу все это впервые. На прошлой неделе Феликс Вентура вернулся раньше обычного и застиг меня в тот момент, когда я потешался над огромным облаком, которое там, за окном, в волнующейся лазури, носилось кругами, словно собака, пытаясь потушить огонь, лизавший его хвост.

— Ой, глазам не верю! Ты смеешься?!

Удивление этого существа вызвало у меня досаду. Я почувствовал страх, однако даже не пошевелился. Альбинос снял темные очки, спрятал их во внутренний карман пиджака, медленно, меланхолично снял пиджак и повесил на спинку стула. Выбрал виниловую пластинку и поставил ее на вертушку старого проигрывателя. "Колыбельная для реки" Доры, Цикады, бразильской певицы, которая, по-видимому, была популярна в семидесятые годы. Что наводит меня на такую мысль, так это обложка пластинки. На ней изображена женщина в бикини, чернокожая, красивая, с огромными крыльями бабочки за спиной. "Дора, Цикада — Колыбельная для реки — Хит сезона". Ее голос пылает в воздухе. В последнее время это стало звуковым сопровождением заката. Я знаю текст наизусть.

Все безмолвно, бездыханно
Прошлое —
речные блики
память — ложь,
ее обманы многолики.

Крепко спят речные воды
словно дети в колыбели
дремлют дни
и спят невзгоды
жажда смерти
спит.

Все недвижно, без сознанья
Прошлое течет рекой
воды спят, навеки стихнув
вслушайся в его дыханье
разбуди — и вмиг воспрянет
глухо вскрикнув[1].

Феликс подождал, пока заключительные фортепьянные аккорды не стихли, исчезнув вместе со светом. Затем передви-

1. Перевод Анны Земляной. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

нул, почти не производя шума, один из диванов, так чтобы тот оказался повернутым к окну. Наконец сел. С облегчением вытянул ноги:

— Опа-на! Так, значит, ваша низость смеется?! Вот это новость...

Он показался мне удрученным. Приблизил ко мне свое лицо, и я увидел близко глаза, белки с ярко-красными прожилками. Его дыхание обдало мое тело. Кислым жаром.

— Скверная у вас кожа. Должно быть, мы одного поля ягоды.

Я ждал этого. Умей я говорить, мой голос не ласкал бы слуха. Однако звуковой аппарат только и позволяет мне, что смеяться. Вот я и попытался расхохотаться ему в лицо, издать какой-нибудь звук, чтобы его отпугнуть, заставить отпрянуть, но получилось лишь слабое бульканье. До прошлой недели альбинос упорно меня не замечал. Начиная же с того момента, как он услышал мой смех, он приходит пораньше. Идет на кухню, возвращается со стаканом сока папайи, садится на диван и составляет мне компанию на празднике захода солнца. Мы беседуем. Вернее, он говорит, а я слушаю. Иногда хохочу, а ему этого достаточно. Ни дать ни взять друзья-приятели. В субботу вечером, не всегда, альбинос появляется, ведя за руку какую-нибудь девушку. Это стройные, высокие и гибкие создания, длинноногие, как цапли. Некоторые входят с опаской, присаживаются на краешек стула, стараются не смотреть Феликсу в лицо, пытаясь скрыть отвращение. Глоточками пьют лимонад, а затем молча раздеваются и ждут, лежа на спине, скрестив руки на груди. Другие, более смелые, отваживаются в одиночку осмотреть дом, привлеченные блеском серебра и благородством мебели, однако вскоре возвращаются в гостиную, оробев при виде книг, наваленных в комнатах и в коридорах, и в первую очередь — под суровым взглядом кавалеров в цилиндрах и с моноклем, насмешливым — луандских и бенгельских дам в традиционных одеждах, удивленным — офицеров португальского флота в парадных мундирах, зачарованным — конголезского принца XIX века, вызывающим — знаменитого американского писателя-негра, — все они позируют для вечности в позолоченных рамах. Ищут на полках какую-нибудь пластинку,

— У тебя есть кудуру[1], дядя?

А поскольку у альбиноса нет кудуру, нет кизомба[2], нет группы "Чудо", ни Паулу Флореша, хитов сезона, в итоге выбирают

1. Кудуру (от *порт.* cu duro — твердый зад) — название музыкально-танцевального жанра, появившегося в Анголе.
2. Кизомба (quizomba) — музыкальные группы в Рио-де-Жанейро, специализирующиеся на распространении самбы.

ту, у которой самый нарядный конверт, это неизменно оказываются кубинские ритмы. Танцуют, вышивая мелкими шажками на деревянном полу, постепенно расстегивая одну за другой пуговицы рубашки. Замечательная кожа, черная-пречерная, влажная и блестящая, контрастирует с кожей альбиноса, сухой и шершавой, розовой. Я все вижу. В этом доме я вроде ночного божества. Днем я сплю.

Дом

Дом живет. Дышит. На протяжении всей ночи я слышу, как он вздыхает. Толстые саманные и деревянные стены всегда прохладны, даже когда в самый полдень солнце заставляет умолкнуть птиц, бичует деревья, плавит асфальт. Я скольжу по ним, словно клещ по коже постояльца. Ощущаю, прижавшись, биение сердца. Скорей всего, моего собственного. Возможно, дома. Не все ли равно. Это благотворно на меня действует. Внушает уверенность. Старая Эшперанса иногда берет с собой одного из самых маленьких внуков. Она носит их на спине, крепко-накрепко примотав куском ткани, как здесь повелось испокон веков. В таком положении она проделывает всю свою работу. Подметает пол, стирает пыль с книг, готовит еду, стирает белье, гладит. Ребенок, прислонившись головой к ее спине, чувствует биение сердца и тепло, ощущает себя словно в материнской утробе и засыпает. Меня с домом связывает что-то подобное. На закате, я уже говорил, устраиваюсь в гостиной, привалившись к стеклу, наблюдая, как угасает солнце. Гостиная выходит в сад, узкий и неухоженный; единственное, что в нем есть привлекательного, так это две великолепные королевские пальмы, высоченные, страшно гордые, которые возносятся по краям, на страже дома. Гостиная сообщается с библиотекой. Из нее через широкую дверь попадаешь в коридор. Коридор представляет собой глубокий, влажный и темный туннель, который ведет в спальню, столовую и кухню. Эта часть дома обращена в сторону двора. Утренний свет — зеленый, приглушенный, пропущенный сквозь листву высокого авокадо — ласкает стены. В глубине коридора, по левую руку вошедшего, если идти из гостиной, с усилием тянется кверху небольшая лестничка из трех пролетов. Поднявшись по ней, окажешься в своего рода мансарде, куда альбинос заглядывает редко. Она забита коробками с книгами. Я тоже наведываюсь туда нечасто. На стенах спят летучие мыши, головой вниз, закутавшись в черные плащи. Не знаю, входят ли ящерицы в рацион летучих мышей. Предпочитаю и дальше оставаться в не-

ведении. Та же самая причина — страх! — не позволяет мне обследовать двор. Я вижу из окон кухни, столовой или комнаты Феликса траву, буйствующую среди розовых кустов. Прямо посреди двора растет огромное ветвистое дерево авокадо. Есть еще две долговязые, увешанные плодами мушмулы и добрая дюжина папай. Феликс верит в живительные свойства папайи. Сад ограждает высокая стена. Верх стены усеян разноцветными бутылочными осколками, закрепленными цементом. С того места, откуда я веду наблюдение, они напоминают зубы. Это жуткое приспособление не мешает мальчишкам время от времени перелезать через ограду и воровать авокадо, мушмулу и папайю. Они кладут на стену доску, а затем подтягиваются. На мой взгляд, слишком уж рискованное предприятие ради столь ничтожного результата. Вероятно, они идут на это не для того, чтобы полакомиться фруктами. Думаю, они делают это ради риска. Возможно, завтра риск будет иметь для них привкус мушмулы. В этой стране хватает работы саперам. Еще вчера я смотрел по телевизору репортаж об обезвреживании мин. Руководитель какой-то неправительственной организации сетовал на отсутствие точных данных. Никто не знает наверняка, сколько мин было зарыто в землю Анголы. От десяти до двадцати миллионов. Возможно, мин больше, чем ангольцев. Предположим, кто-то из этих мальчишек станет сапером. Всякий раз, когда он будет прочесывать минное поле, во рту будет возникать вкус мушмулы. Однажды он неизбежно столкнется с вопросом, который задаст ему со смесью любопытства и ужаса иностранный журналист:

— О чем вы думаете, пока обезвреживаете мину?

И мальчишка, которым он останется где-то в глубине души, с улыбкой ответит:

— О мушмуле, отец.

Старая Эшперанса считает, что именно ограды и порождают воров. Я слышал, как она говорила об этом Феликсу. Альбинос весело взглянул на нее:

— Вы только посмотрите — анархистка у меня дома! А дальше выяснится, что она читает Бакунина.

Сказал и больше не стал ее слушать. Разумеется, она в жизни не читала Бакунина, да и вообще ни одной книги не одолела, она и буквы-то складывает с грехом пополам. Тем не менее, я много чего узнаю как о жизни вообще, так и о жизни в этой стране, пребывающей в состоянии угара, слушая, как она разговаривает сама с собой, убираясь в доме, — то тихо бормочет, словно напевая, то говорит в полный голос, будто бранится. Старая Эшперанса убеждена, что никогда не умрет. В тысяча девятьсот девяносто втором году она уцелела в настоящей мя-

сорубке. Пришла к руководителю оппозиции за письмом от младшего сына, который служил в Уамбо, и тут начался (со всех сторон) интенсивный обстрел. Она порывалась уйти домой, вернуться в свой муссеке[1], но ей не дали.

— С ума сошла, старая, смотри, как поливает. Подожди, скоро закончится.

Какое там. Огонь, словно гроза, только усиливался, становился плотнее, рос в направлении дома. Феликс рассказал мне, что случилось в тот день:

— Заявился всякий сброд, вооруженное отребье, вдрызг пьяные, ворвались в дом и начали всех избивать. Главарь поинтересовался, как зовут старуху. Она ответила: "Эшперанса Жоб Сапалалу, хозяин", и тот расхохотался. Сказал с издевкой: "Надежда[2] умирает последней". Построили во дворе в ряд всю семью руководителя оппозиции с ним вместе и расстреляли. Когда настал черед Старой Эшперансы, кончились патроны. "Скажи спасибо, — крикнул ей командир, — логистике. Логистика — наша извечная проблема". Затем отпустили ее на все четыре стороны. Теперь она считает, что смерть над ней не властна. Может, так оно и есть.

Мне это не представляется невозможным. Лицо Эшперансы Жоб Сапалалу покрыто мелкой сетью морщин, волосы все белые, но у нее негнущийся стан, а движения уверенные и точные. По моему мнению, это колонна, на которой держится дом.

Иностранец

За ужином Феликс Вентура просматривает газеты, внимательно их перелистывает, и, если какая-то статья его интересует, помечает ее ручкой с фиолетовыми чернилами. Завершает трапезу и тогда аккуратно ее вырезает и помещает в папку. На полке в библиотеке хранятся десятки таких папок. На другой покоятся сотни видеокассет. Феликс любит записывать выпуски новостей, важные политические события, все, что однажды может ему пригодиться. Кассеты выстроены в алфавитном порядке, по имени деятеля или события, к которому они имеют отношение. Ужин представляет собой миску калду-верде[3], фирменного блюда Старой Эшперансы, мятный чай, толстый кусок папайи, приправленный лимонным соком и каплей портвейна. У себя в

1. Муссеке (musseque) — предместье Луанды.
2. Эшперанса по-португальски значит "надежда".
3. Калду-верде (от *порт.* caldo verde — зеленый бульон) — густой суп из мелко нашинкованной молодой капусты с копченой свиной колбасой.

комнате, прежде чем лечь в постель, он так церемонно облачается в пижаму, что я всегда жду, что он вот-вот примется завязывать на шее темный галстук. Сегодня вечером его трапезу прервал звонок в дверь. Это вызвало у него раздражение. Он свернул газету, с усилием поднялся и отправился открывать. Я видел, как вошел рослый мужчина благородного вида, с крючковатым носом, выдающимися скулами, густыми усами — загнутыми и нафабренными, какие вот уже лет сто с лишним никто не носит. Небольшие блестящие глазки, казалось, вобрали в себя все вокруг. На нем был старомодный синий костюм, который, впрочем, был ему к лицу, а в левой руке — кожаный портфель. В гостиной стало темнее. Словно вместе с ним через порог переступила ночь или же что-то еще сумрачнее ночи. Он показал визитку. Прочел вслух:

— Феликс Вентура. Обеспечьте вашим детям лучшее прошлое. — Рассмеялся. В смехе звучала печаль, но вместе с ней и симпатия. — Это вы, я полагаю? Сию визитку дал мне один приятель.

Мне не удалось угадать по акценту, откуда он родом. У него было мягкое произношение, с целым набором разных оттенков, едва уловимой славянской резкостью, приправленной напевной медоточивостью бразильского говора. Феликс Вентура попятился:

— Кто вы такой?

Иностранец закрыл дверь. Прошелся по гостиной, заложив руки за спину, надолго задержавшись перед замечательным портретом маслом Фредерика Дугласа[1]. Наконец уселся в одно из кресел и изящным жестом пригласил альбиноса последовать его примеру. Казалось, это он тут хозяин дома. Общие друзья, сказал он, и голос его зазвучал еще вкрадчивее, подсказали мне этот адрес. Они поведали ему о человеке, который торгует воспоминаниями, продает прошлое, тайно, как другие занимаются контрабандой кокаина. Феликс посмотрел на него с недоверием. Все непривычное его раздражало — учтивые и одновременно властные манеры, ирония в речах, старомодные усы. Он сел в великолепное плетеное кресло в противоположном конце гостиной, словно боясь заразиться вежливостью незнакомца.

— Можно узнать, кто вы такой?

На этот раз он также не получил ответа. Иностранец попросил разрешения закурить. Достал из кармана пиджака серебряный портсигар, открыл и свернул сигарету. Его взгляд

1. Фредерик Дуглас (1817—1895) — американский аболиционист.

рассеянно перескакивал то на то, то на другое, словно курица, роющаяся в пыли. Выпустил облако дыма, и оно его окутало. Неожиданно сверкнул улыбкой:

— Но скажите, дорогой, кто ваши клиенты?

Феликс Вентура сдался. К нему обращаются, объяснил он, разные люди, новая буржуазия. Предприниматели, министры, плантаторы, торговцы алмазами, генералы, в общем, люди с обеспеченным будущим. Этим людям не хватает приличного прошлого, родовитых предков, пергаментов. Одним словом, имени, которое свидетельствовало бы о благородстве происхождения и воспитании. Он продает им совершенно новое прошлое. Вычерчивает генеалогическое дерево. Прилагает к этому фотографии дедов и прадедов, персон по виду утонченных, дам прежних времен. Предпринимателям, министрам угодно, чтобы вот эти особы, продолжал он, указывая на портреты на стене: старые женщины в типичных одеяниях, настоящие бессангана[1], — оказались их тетками; они желали бы, чтобы у деда были благородные манеры, как у какого-нибудь Машаду ди Асиза[2], Круза и Соузы[3], Александра Дюма, — извольте, он продает им сию наивную мечту.

— Отлично, отлично. — Иностранец пригладил усы. — Именно так мне и сказали. Я нуждаюсь в ваших услугах. Боюсь, правда, это доставит вам немало хлопот.

— Труд освобождает[4], — пробормотал Феликс. Он изрек это, должно быть, желая прощупать, выяснить личность незнакомца; впрочем, если такова была его цель, то попытка провалилась, поскольку тот лишь согласно кивнул головой. Альбинос поднялся и исчез в направлении кухни. Затем вернулся, держа обеими руками бутылку хорошего португальского красного вина. Показал ее иностранцу. Предложил ему бокал. Спросил:

— Можно узнать ваше имя?

Незнакомец исследовал вино, поднеся его к лампе. Опустил веки и неспешно выпил, сосредоточенный, счастливый, словно меломан, следящий за переливами какой-нибудь фуги Баха. Поставил бокал на небольшой столик из красного дерева со стеклянной столешницей, прямо перед собой; наконец выпрямился и ответил:

1. Бессангана — ангольская женщина, принадлежавшая к среднему классу и носившая традиционную одежду.
2. Жоакин Мария Машаду ди Асиз (1839—1908) — классик бразильской литературы, сын мулата.
3. Жуан да Круз и Соуза (1861—1898) — бразильский поэт негритянского происхождения, был прозван "чернокожим Данте".
4. "Труд освобождает" — надпись над воротами Освенцима.

— У меня было много имен, но я хочу их все забыть. Предпочитаю, чтобы меня окрестили вы.

Феликс настаивал. Ему необходимо знать, как минимум, род занятий клиентов. Иностранец вскинул правую руку — длинную, с длинными костлявыми пальцами, — в знак слабого протеста. Затем опустил ее и вздохнул:

— Вы правы. Я репортер-фотограф. Запечатлеваю ужасы войн, голода и его призраков, природных бедствий, крупных катастроф. Можете считать меня очевидцем.

Он объяснил, что намерен осесть в стране. Хочет обрести не только пристойное прошлое, не только большое семейство, с дядьями и тетками, кузенами и кузинами, племянниками и племянницами, дедушками и бабушками, включая двух-трех бессангана, — хотя все они уже, естественно, в мире ином или в эмиграции, — не только портреты и рассказы. Ему требуется новое имя и ангольские документы — подлинные, которые бы засвидетельствовали его личность. Альбинос выслушал его с ужасом:

— Нет! — только и смог он выговорить. И помолчав, добавил: — Этим я не занимаюсь. Я фабрикую мечты, я не фальсификатор... Кроме того, извините за прямоту, было бы затруднительно придумать вам африканскую родословную.

— Вот те на! Это еще почему?!

— Ну... вы же белый!

— И что с того? Вы еще белее, чем я!

— Я — белый?! — Альбинос аж задохнулся. Вынул из кармана платок и отер лоб: — Нет-нет! Я негр. Чистокровный негр. Я коренной житель. Вы что, не видите, что я негр?

Тут уж я, все это время сидевший на своем обычном месте, на окне, не выдержал и прыснул. Иностранец вскинулся, словно принюхиваясь. Напрягся, насторожился:

— Вы слышали? Кто это хихикнул?

— Никто, — ответил альбинос и показал на меня. — Это геккон.

Посетитель встал. Я видел, как он приближается, и почувствовал, как меня буравят его глаза. Он словно уперся взглядом мне в душу (в мою прежнюю душу). Молча озадаченно покачал головой.

— Знаете, что это такое?

— Что?!

— Это действительно геккон, но очень редкого вида. Видите полоски? Это геккон-тигр или тигровый геккон, животное боязливое, пока еще плохо изученное. Первые экземпляры были обнаружены лет шесть назад в Намибии. Считается, что они могут прожить два десятилетия, может, и больше. Смех впечатляет. Вы не находите, что он похож на человеческий?

Феликс согласился. Да, он вначале тоже смутился. Затем заглянул в кое-какие книги о рептилиях — нашел их тут же, в доме, у него книги обо всем, целые тысячи, достались ему от приемного отца, букиниста, сменившего Луанду на Лиссабон через несколько месяцев после независимости, — и выяснил, что некоторые виды могут издавать громкие звуки наподобие хохота. Они достаточно долго говорили обо мне, отчего мне стало не по себе, потому что меня для них словно там и не было. В то же время я чувствовал, что они говорят не обо мне, а о постороннем существе с не очень понятной биологической аномалией. Люди пребывают практически в полном неведении в отношении мелких существ, с которыми делят кров. Крыс, летучих мышей, тараканов, муравьев, клещей, блох, мух, комаров, пауков, червей, моли, термитов, клопов, рисовых жучков, улиток, жуков. Я решил, что будет лучше позаботиться о себе. В этот час комната альбиноса заполнилась комарами, а я начал испытывать голод. Иностранец поднялся, подошел к стулу, на котором он оставил портфель, открыл его и вынул оттуда толстый конверт. Вручил его Феликсу, попрощался и направился к двери. Он сам ее открыл. Кивнул головой и исчез.

Корабль, полный голосов

Пять тысяч долларов крупными банкнотами.

Феликс Вентура быстрым, нервным движением надорвал конверт, и банкноты разлетелись, словно зеленые бабочки, выпорхнули на мгновение в ночной воздух, а затем рассыпались по полу, по книгам, по стульям и по диванам. Альбинос приуныл. Открыл дверь, намереваясь пуститься вдогонку иностранцу, но в ночи — огромной, недвижной — никого не было.

— Ты это видел?! — Он обращался ко мне. — И что же мне теперь делать?

Собрал одну за другой все банкноты, пересчитал и спрятал. Тут только он увидел, что в конверте лежит записка. Прочел ее вслух:

“Уважаемый господин, я намерен вручить вам еще пять тысяч долларов, когда получу весь материал. Оставляю вам несколько своих фотографий, как на паспорт, для документов. Через три недели вновь к вам зайду”.

Феликс лег и попытался читать книгу — биографию Брюса Чатвина[1], написанную Николасом Шекспиром и вышедшую в

1. Брюс Чатвин (1940–1898) — английский писатель-путешественник.

португальском издательстве “Кетцаль”. Через десять минут он положил ее на тумбочку и поднялся. Он бродил по дому до рассвета, бормоча отрывочные фразы. Речь сопровождалась самопроизвольным, невпопад, горестным всплеском его нежных и крохотных ручек. Коротко стриженные курчавые волосы венчиком стояли вокруг головы. Если бы кто-то взглянул на него с улицы, через окно, наверняка решил бы, что это привидение.

— Нет, что за вздор! Не стану я этого делать.

...

— Паспорт изготовить нетрудно, даже риска никакого, и стоило бы недорого. Я могу его сделать, почему нет? Все к этому и шло, это неизбежное продолжение игры.

...

— Осторожно, камба[1], осторожно, так можно встать на скользкий путь. Ты же не фальсификатор. Прояви выдержку, выдумай какую-нибудь отговорку, верни ему доллары и скажи, что это невозможно.

...

— Десять тысяч долларов на дороге не валяются. Проведу месяца два-три в Нью-Йорке. Наведаюсь к букинистам в Лиссабоне. Махну в Рио, на шествие самбы, в гафиэйра[2], к букинистам, или в Париж — покупать диски и книги. Сколько я уже не был в Париже?

...

Возбуждение Феликса Вентуры помешало мне охотиться. Я ночной охотник. Обнаружив добычу, преследую ее, вынуждая забраться на потолок. Как только комары оказываются там, обратной дороги им уже нет. Тогда я начинаю бегать вокруг них, с каждым разом описывая круг все меньше и меньше, загоняю их в угол и проглатываю. Уже рассветало, когда альбинос, рухнув на диван в гостиной, поведал мне историю своей жизни.

* * *

— Обычно я представляю себе этот дом кораблем. Старым пароходом, который с трудом проворачивает колесо в речной грязи. Вокруг лес без конца и без края. Ночь, — Феликс сказал это и понизил голос. Неопределенно махнул в сторону едва различимых книг. — Он полон голосов, мой корабль.

Мне было слышно, как снаружи скользит ночь. Стуки. Когти, царапающие по стеклу. Глядя в окна, было нетрудно пред-

1. Камба (camba) — дружище, приятель; популярное в Анголе обращение, заимствованное из языка кимбунду.
2. Гафиэйра (gafieira) — вид самбы, а также танцевальные залы, где собираются ее любители.

ставить себе реку, звезды, кружащие по ее хребту, пугливых птиц, прячущихся в листве. Мулат Фаушту Бендиту Вентура, букинист, сын и внук букинистов, однажды утром нашел под дверьми дома коробку. Внутри, на нескольких экземплярах "Реликвии" Эсы де Кейроша[1], лежал голый младенец, худой как щепка, непонятного цвета, с волосами цвета раскаленной пены и ясной ликующей улыбкой. Букинист, бездетный вдовец, оставил у себя малыша, вырастил и воспитал, уверенный в том, что божественное провидение придумало невероятный сюжет. Он сохранил коробку вместе с книгами. Альбинос рассказывал мне об этом с гордостью:

— Эса был моей первой колыбелью.

* * *

Фаушту Бендиту Вентура стал букинистом ради развлечения. Он гордился тем, что в жизни никогда не работал. Выходил с утра пораньше прогуляться — малембе-малембе[2] — по набережной, донельзя элегантный в своем парусиновом костюме, соломенной шляпе, галстуке бабочкой и тростью, приветствуя друзей и знакомых легким прикосновением указательного пальца к полям шляпы. Если вдруг сталкивался с какой-нибудь дамой своего возраста, то одаривал ее ослепительной галантной улыбкой. Шептал: добрый день, поэзия. Расточал пикантные комплименты официанткам в баре. Рассказывают (рассказал мне Феликс), что однажды к нему пристал какой-то завистник:

— Чем же все-таки вы занимаетесь по рабочим дням?

Реплика Фаушту Бендиту "все мои дни нерабочие, уважаемый, я их прогуливаю" и поныне вызывает смех и аплодисменты бывших служащих колониальной администрации, которые ближе к вечеру в знаменитой пивной "Байкер" упорно уклоняются от смерти, играя в карты и рассказывая случаи из жизни. Фаушту обедал дома, после обеда спал, а затем усаживался на веранде насладиться вечерней прохладой. В то время, еще до независимости, не существовало высокой стены, отделяющей сад от бульвара, и ворота были все время открыты. Клиентам было достаточно преодолеть несколько ступенек, чтобы получить свободный доступ к книгам, грудами наваленным как попало на полу в гостиной.

Я разделяю с Феликсом Вентурой любовь (в моем случае безнадежную) к старым книгам. В Феликсе Вентуре ее воспи-

1. Жузе Мария Эса де Кейрош (1845—1900) — классик португальской литературы.
2. Малембе-малембе (malembe-malembe) — потихоньку-полегоньку; популярное в Анголе выражение, заимствованное из одного из языков банту.

тал сначала отец, Фаушту Бендиту, а затем, в первые лицейские годы, — старый учитель, личность меланхолического склада, высокий и до такой степени худой, что все время казался повернутым в профиль, как египетская гравюра. Гашпара — так звали учителя — беспокоило то, что кое-какие слова оказались не у дел. Он обнаруживал их, брошенных на произвол судьбы, где-нибудь в языковых дебрях и старался вновь извлечь на свет божий. Настойчиво употреблял, делая на них упор, что некоторых повергало в уныние, других — сбивало с толку. Думаю, что он добился цели. Его ученики стали использовать эти слова, вначале потехи ради, а затем — как тайный язык, племенную татуировку, которая выделяла их среди прочих молодых людей. Сегодня, уверял меня Феликс, стоит им произнести несколько слов — и они все еще способны опознать друг друга, даже если никогда не виделись раньше.

"Я до сих вздрагиваю всякий раз, когда слышу, как кто-то называет 'эдредоном', отвратительным галлицизмом, пуховое одеяло; последнее, мне кажется, и, я уверен, вы согласитесь, звучит гораздо красивее и намного благороднее. Но я уже смирился с 'бюстгальтером'. 'Строфий'[1] имеет исторический налет. Звучит все же немного странно — вы не находите?"

Сон № 1

Я иду по улицам чужого города, протискиваясь сквозь толпу. Мимо меня проходят люди всех рас, всех вероисповеданий и всех полов (долгое время я полагал, что их всего два). Люди в черном, в темных очках, с дипломатами в руках. Беспрерывно смеющиеся буддистские монахи, веселые, как апельсины. Тощие женщины. Толстые матроны с продуктовыми тележками. Худенькие девчушки на роликах — редкие птицы, затесавшиеся в толпу. Дети в школьной форме, передвигающиеся гуськом: тот, кто сзади, держится за руку того, кто впереди; во главе колонны — учительница, сзади — другая. Арабы в джелабе и феске. Лысые субъекты, выгуливающие на поводке бойцовских собак. Полицейские. Воры. Интеллектуалы, погруженные в размышления. Рабочие в комбинезонах. Меня никто не замечает. Даже японцы, в группах, с кинокамерами и всевидящими узкими глазами. Я останавливаюсь прямо перед людьми, заговариваю с ними, толкаюсь, но меня не видят. Не отвечают. Мне это снится

1. "Строфий" — греческое слово, обозначающее повязку для грудей (род корсажа).

уже третий день. В другой жизни, когда я еще имел человеческий облик, такое происходило со мной с определенной частотой. Помню, я просыпался с горьким привкусом во рту и сердце тоскливо сжималось. Думаю, тогда это служило предостережением. Сейчас, вероятно, выступает в роли подтверждения. Чем бы это ни было, я не испытываю беспокойства.

Заря

Утром ее звали Альба, Аврора или Лусия; после полудня – Дагмар, вечером – Эштела[1]. Она была высокая, с очень белой кожей, но не матового молочного оттенка, характерного для североевропейских женщин, а светящейся легкой мраморной белизной, сквозь которую можно проследить стремительный ток крови. Я испытывал страх перед ней еще до того, как ее увидел. При виде же ее я лишился дара речи. Дрожащей рукой протянул сложенный пополам конверт; на обратной стороне мой отец написал: “Для мадам Дагмар”, – тем изящным почерком, благодаря которому любая, пусть даже самая немудреная заметка, включая рецепт супа, смахивала на указ халифа. Она открыла конверт, извлекла из него кончиками пальцев маленькую карточку, и, едва взглянув на нее, не смогла удержаться от смеха:

– Вы девственник?!

Я почувствовал, как у меня подгибаются колени. Да, мне исполнилось восемнадцать лет, и я никогда не имел дела с женщиной. Дагмар провела меня за руку по лабиринту коридоров, и когда я пришел в себя, то очутился, мы оба очутились, в огромной комнате, увешанной тяжелыми зеркалами. Тут она подняла руки, ни на минуту не переставая улыбаться, и платье с шорохом скользнуло к ногам.

– Целомудрие – ненужная агония, парень, я с удовольствием вам помогу.

Я представил ее себе с моим отцом в душном сумраке этой самой комнаты. Это было молнией, прозрением, я увидел, как она, умноженная зеркалами, выскальзывает из платья и обнажает грудь. Увидел ее длинные бедра, почувствовал их жар и увидел отца, его сильные руки. Услышал его смех зрелого мужчины, сопровождаемый хлопаньем о ее кожу, и пряное

1. Альба – имя латинского происхождения, означает “рассвет”; Аврора – имя латинского происхождения, означает “утренняя заря”; Лусия (Люция) – имя латинского происхождения, означает “свет”; Дагмар – имя германского происхождения, означает “солнечный день”; Эштела (Стелла) – имя латинского происхождения, означает “звезда”.

словцо. Я проживал это мгновение тысячи, миллионы раз с ужасом и отвращением. До самого последнего своего дня.

* * *

Иногда мне вспоминается печальная стихотворная строчка, автора которой я не помню. Возможно, она мне приснилась. Может быть, это припев фаду, танго, самбы, которую я услышал в детстве: “Нет ничего хуже, чем никогда не любить”.

В моей жизни было много женщин, но, боюсь, ни одну я не любил. Не испытал страсти. Как, вероятно, того требует природа. Я думаю об этом с ужасом. Мое нынешнее положение — есть у меня такое подозрение — это наказание, ирония судьбы. Может, оно и так, а может, это было сделано просто ради развлечения.

Рождение Жузе Бухмана

На этот раз иностранец дал знать о себе, прежде чем появиться — позвонил, — и у Феликса Вентуры было время подготовиться. В половине восьмого он был уже разодет, будто на свадьбу, — словно жених или отец жениха: в светлом парусиновом костюме, на котором сиял, как восклицательный знак, алый шелковый галстук. Костюм перешел к нему по наследству от отца.

— Вы кого-нибудь ждете?

Он ждал его, иностранца. Старая Эшперанса оставила уху на плите, чтобы не остыла. Она купила ранним утром замечательного морского карася, прямо у рыбаков с Острова, да еще пяток копченых сомов на рынке “Сан-Пауло”. Кузина привезла ей из Габелы душистых ягод жиндунгу — “огня в твердом состоянии”, объяснил мне альбинос, вместе с маниокой, сладким картофелем, шпинатом и помидорами. Стоило Феликсу поставить супницу на стол, по гостиной поплыл густой аромат, жаркий, как объятие, и впервые за долгое время я пожалел о своем нынешнем состоянии. Я тоже был бы не прочь сесть за стол. Иностранец ел с видимым аппетитом, словно вкушал не упругую мякоть карася, а всю его жизнь: годы и годы скольжения среди неожиданного взрыва косяков, водоворотов, толстых нитей света, в солнечные дни отвесно падающих в голубую бездну.

— Интересное упражнение, — сказал он, — попытаться взглянуть на события глазами жертвы. Взять, к примеру, рыбу, которую мы едим... замечательный карась, не правда ли?.. Вы пробовали взглянуть на наш ужин с его точки зрения?

Феликс Вентура посмотрел на карася со вниманием, которым до сего момента не удостаивал бедную рыбу; затем в ужасе отодвинул тарелку. Собеседник продолжил есть в одиночку.

— Полагаете, жизнь просит у нас сочувствия? Не думаю. Жизнь просит нас насладиться ею. Вернемся к карасю. Представьте себя на его месте, что вы предпочтете: чтобы я вас съел с неудовольствием или с радостью?

Альбинос не отозвался. Ладно, карась так карась (все мы караси), однако он предпочитает, чтобы его никогда не ели. Иностранец не умолкал:

— Меня как-то взяли с собой на праздник. Один старик отмечал столетний юбилей. Мне захотелось узнать, как он себя ощущает. Бедняга растерянно улыбнулся и говорит мне: “Да я толком и не знаю, все случилось слишком быстро”. Он имел в виду столетний срок своей жизни, и это прозвучало так, словно он говорил о несчастье, о чем-то таком, что свалилось на него несколько минут назад. Иногда я чувствую то же самое. Давит на душу груз прошлого и пустоты. Я чувствую себя, как тот старик.

Он поднял бокал:

— А я все еще жив. Я выжил. Я начал это осознавать, пусть это и покажется вам странным, высадившись в Луанде. Выпьем за Жизнь! За Анголу, которая вернула меня к жизни. За это замечательное вино, которое будит воспоминания и объединяет.

Сколько ему лет? Может, шестьдесят, в таком случае он всю жизнь неустанно следил за собой, или сорок-сорок пять, и тогда он, вероятно, годами пребывал в глубоком отчаянии. Гляжу я на него, сидящего здесь, — и весь он такой крепко сбитый, как носорог. А вот глаза кажутся намного старше, полные неверия и усталости, даже если порой — как только что, когда он поднял бокал и предложил выпить за Жизнь, — в них вспыхивает свет зари.

— Сколько вам лет?

— Позвольте, я буду задавать вопросы. Вы достали то, что я просил?

Феликс поднял глаза. Достал. У него на руках удостоверение личности, паспорт, водительские права, все документы на имя Жузе Бухмана, уроженца Шибиа, 52 лет, профессионального фотографа.

Селение Сан-Педру-да-Шибиа в провинции Уила, на юге страны, было основано в 1884 году выходцами с Мадейры, но в тех краях уже жили — и преуспевали — буры, полудюжина семей, разводя скот, возделывая землю и вознося благодарность Богу за такую милость, как позволение родиться белыми в краю негров, это сказал Феликс Вентура, ясно, что я только передаю его слова. Клан возглавлял командир Якобус Бота. Его заместителем был рыжий и мрачный великан Корнелий Бух-

ман, который в 1898 году женился на девушке с Мадейры, Марте Медейруш, которая родила ему двоих детей. Старший, Пьетер, умер, будучи еще ребенком. Младший, Матеус, стал знаменитым охотником, сопровождая долгие годы в качестве проводника группы южноафриканцев и англичан, приезжавшим в Анголу на поиски сильных ощущений. Женился поздно, уже после пятидесяти, на американской художнице Еве Миллер, и у него родился единственный сын – Жузе Бухман.

После того как они закончили ужинать, после того как альбинос выпил мятного чая (Жузе Бухман предпочел кофе), он сходил за картонной папкой и раскрыл ее на столе. Показал паспорт, удостоверение личности, водительские права. Имелось также несколько фотографий. На одной, цвета сепии, изрядно потрепанной, был запечатлен великан, с задумчивым видом восседающий на антилопе:

– Это, – показал альбинос, – Корнелий Бухман, ваш дед.

На другой – у реки, на фоне длинного, без единой вертикали, горизонта, пара, стоящая в обнимку. Глаза мужчины опущены. Женщина в платье с набивным рисунком, в цветочек, улыбается в объектив. Жузе Бухман взял фотографию и поднес к глазам, расположившись прямо под лампой. Голос его слегка дрогнул:

– Это мои родители?

Альбинос кивнул. Матеус Бухман и Ева Миллер, солнечным днем, у реки Шимпумпуньиме. Должно быть, как раз Жузе, которому на тот момент одиннадцать лет, и запечатлел сие мгновение. Он показал ему старый номер "Вог"[1] с репортажем об охоте в Южной Африке. Статья сопровождалась репродукцией акварели Евы Миллер, изображавшей сцену из жизни дикой природы – слоны купаются в озере.

Через несколько месяцев после того, как был сделан этот снимок – река, невозмутимо несущая свои воды к устью, высокая трава посередине, великолепный день, – Ева отправилась в Кейптаун, в путешествие, которое должно было продлиться месяц, но так и не вернулась. Матеус Бухман написал общим друзьям в Южную Африку с просьбой разузнать, что сталось с женой, но поскольку это не дало результата, вверил сына заботам слуги, старого слепого следопыта, и отправился на ее поиски.

– Ну и как, он ее разыскал?

Феликс пожал плечами. Собрал фотографии, документы, журнал и сложил все в картонную папку. Закрыл, перевязал

1. "Вог" (от *франц.* Vogue – мода) – журнал о женской моде, издаваемый в Нью-Йорке с 1892 г.

широкой красной лентой, словно подарок, и вручил ее Жузе Бухману.

— Полагаю, излишне предупреждать вас, — сказал он, — что в Шибиа — вам нельзя ни ногой.

* * *

Вот уже считай пятнадцать лет, как моя душа помещена в это тело, а я все никак не свыкнусь. Почти век я прожил в человеческом обличье и тоже никогда до конца не чувствовал себя человеком. До настоящего момента я познакомился с тремя десятками ящериц, пяти или шести разных видов, толком не знаю, биология никогда меня не интересовала. Двадцать особей выращивали рис или возводили постройки на необъятных просторах Китая, в шумной Индии или Пакистане — прежде чем очнуться от того, первого, кошмара, чтобы проснуться уже в другом, в нынешнем; думаю, им — что особям женского, что мужского пола, без разницы, — теперь все же немного полегче. Семеро занимались тем же самым, или почти тем же, в Африке, одна ящерица была дантистом в Бостоне, одна продавала цветы в Белу-Оризонти, в Бразилии, а последняя помнила, что была кардиналом в Ватикане. Она скучала по Ватикану. Ни одна не читала Шекспира. Кардиналу нравился Габриэль Гарсиа Маркес. Дантист признался мне, что читал Паулу Коэльо. Я никогда не читал Паулу Коэльо. Я с удовольствием меняю общество гекконов и ящериц на длинные монологи Феликса Вентуры. Вчера он признался мне в том, что познакомился с удивительной женщиной. Термин “женщина”, добавил он, кажется ему неточным:

— Анжелу Лусию можно назвать женщиной с тем же успехом, с каким нынешних людей — приматами.

Ужасная фраза. Однако имя вызвало в моей памяти другое — Альба, и я весь обратился в слух и напрягся. Воспоминание о женщине развязало ему язык. Он говорил о ней так, словно силился описать чу́до земным языком.

— Она такая... — тут он сделал паузу, разведя в сторону ладони, зажмурившись, пытаясь сосредоточиться, не сразу найдя слова. — Вся из света!

Это не показалось мне невероятным. Имя может быть приговором. Некоторые имена увлекают за собой своего носителя, словно грязные воды реки после ливней, и, как бы он ни сопротивлялся, навязывают ему судьбу. Другие, наоборот, словно маски: скрывают, вводят в заблуждение. Большинство, очевидно, не имеют никакой силы. Вспоминаю — без всякого удовольствия, но и без боли — свое человеческое имя. Я не скучаю по нему. Это был не я.

* * *

Жузе Бухман стал постоянным гостем на этом странном корабле. К голосам присоединился еще один. Он хочет, чтобы альбинос подбавил ему прошлого. Донимает его вопросами:

— Что сталось с моей матерью?

Моего друга (думаю, я уже могу его так называть) несколько раздражает подобная настойчивость. Он выполнил свою работу и не считает себя обязанным делать что-то сверх того. И все же время от времени идет на уступки. Ева Миллер, отвечает он, не вернулась в Анголу. Бывший клиент отца, из выходцев с Юга, как и Бухманы, старик Бизерра, однажды вечером случайно столкнулся с ней на улице в Нью-Йорке. Это была хрупкая, уже немолодая дама, которая медленно и понуро двигалась в толпе, "словно птичка со сломанным крылом", сказал ему Бизерра. Она упала к нему в объятья на каком-то углу, в прямом смысле — буквально упала к нему в объятья, и он с перепугу выдал какую-то непристойность на ньянека[1]. Расплывшись в улыбке, она запротестовала:

— Такие вещи приличной женщине не говорят!

Вот тут-то он ее и узнал. Они зашли в кафе, принадлежавшее кубинским иммигрантам, и проговорили, пока не упала ночь. Феликс произнес это и остановился:

— Пока не спустилась ночь, — поправился он, — в Нью-Йорке ночь опускается, не падает; а здесь, да, — прямо ныряет с неба.

Мой друг всегда стремится к точности.

— Падает камнем сверху, ночь, — добавил он, — как хищная птица.

Подобные отступления сбивали с толку Жузе Бухмана. Ему не терпелось узнать, что было дальше:

— А потом?

Ева Миллер работала дизайнером интерьеров. Жила на Манхэттене, одна, в маленькой квартирке с видом на Центральный парк. Стены крошечной гостиной, стены единственной комнаты, стены узкого коридора были увешаны зеркалами. Жузе Бухман его перебил:

— Зеркалами?!

— Да, — продолжил мой друг, — однако если верить тому, что говорил старик Бизерра, речь шла не об обычных зеркалах.

Он улыбнулся. Я понял, что он увлекся полетом собственной фантазии. Это была ярмарочная забава, кривые зеркала,

1. Ньянека — один из языков банту.

изобретенные с коварным умыслом: поймать и исказить изображение всякого, кто окажется перед ними. Некоторые были наделены свойством превращать самое что ни на есть изящное создание в тучного коротышку; другие — растягивать фигуру. Существовали зеркала, способные освещать тусклую душу. Другие отражали не физиономию того, кто в них глядется, а затылок, спину. Имелись зеркала славы и зеркала бесчестья. Так что Ева Миллер при входе в квартиру не чувствовала одиночества. Вместе с ней входила толпа.

— У вас есть адрес господина Бизерры?

Феликс Вентура взглянул на него с изумлением. Пожал плечами, словно говоря: ну если тебе так угодно, ладно, будь по-твоему, — и сообщил, что бедняга скончался в Лиссабоне несколько месяцев назад.

— Рак, — сказал он. — Рак легких. Он много курил.

Оба помолчали, думая о смерти Бизерры. Ночь была теплой и влажной. В окно веял легкий ветерок. Он принес множество хрупких слабых комариков, которые беспорядочно кружили, обалдев от света. Я почувствовал голод. Мой друг взглянул на собеседника и от души расхохотался:

— Черт, надо было мне взять с вас дополнительную плату! Я что, по-вашему, похож на Шехерезаду?

Сон № 2

Меня поджидал какой-то паренек; он сидел на корточках, привалившись к ограде. Он раскрыл ладони, и я увидел, что они полны зеленого света, тайного, волшебного вещества, которое быстро рассеялось во мраке. “Светлячки”, — прошептал он. За оградой, устало задыхаясь, скользила мутная, бурная река, превратившаяся в сторожевого пса. За ней начинался лес. Низкая ограда, сложенная из неотесанных камней, позволяла увидеть темную воду, звезды, скользящие по ее спине, густую листву в глубине — словно в колодце. Парнишка без труда взобрался на камни, на мгновение замер — его голова погрузилась в темноту, — а затем спрыгнул на другую сторону. Во сне я был еще молодым человеком, рослым, склонным к полноте. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы влезть на ограду. Затем я соскочил. Я встал на колени в грязи, и река начала лизать мне руки.

— Что это?

Парень не ответил. Он стоял ко мне спиной. Его кожа была чернее ночи, гладкой и блестящей, и по ней, как по реке, хороводом кружили звезды. Я видел, как он удалялся по металлу

вод, пока не исчез. Спустя несколько мгновений он появился вновь — на другом берегу. Река, разлегшаяся у подножия леса, наконец уснула. Я сидел там долгое время, в уверенности, что если постараться, сидеть не шелохнувшись, не смыкая глаз, если сверкание звезд каким-либо образом — как знать! — коснется моей души, то мне удастся услышать голос Бога. И тогда я и впрямь его услышал, он был хриплым и сипел, как закипающий чайник. Я напряженно старался понять, что он говорит, когда увидел вынырнувшую из темноты, прямо передо мной, тощую легавую собаку с прикрепленным к шее маленьким радиоприемником, вроде карманного. Приемник был плохо настроен. Глухой, как из подземелья, мужской голос с трудом пробивался через помехи:

— Самый худший грех — не любить, — сказал Господь, затем воркующий голос исполнителя танго пропел: — Спонсор этого выпуска — хлебопекарни "Союз Маримба".

Потом собака убежала, слегка прихрамывая, и все вновь погрузилось в безмолвие. Я перемахнул через ограду и зашагал прочь, в сторону городских огней. Прежде чем дойти до дороги, я опять увидел паренька — он сидел возле ограды, обняв собаку. Оба смотрели на меня, словно единое существо. Я повернулся к ним спиной, однако продолжал ощущать (как будто что-то темное толкало меня в спину) вызывающий взгляд собаки и парня. Внезапно я очнулся от сна. Моей постелью оказалась влажная щель. Муравьи сновали у меня между пальцами. Я отправился на поиски ночи. Мои сны почти всегда не в пример более правдоподобны, чем реальность.

Коллекция сияний

Исходя из восторженного, хотя и лаконичного описания моего друга, я вообразил себе существо наподобие светлого ангела. Представил себе сияние. Думаю, Феликс слегка преувеличивал. На каком-нибудь сборище, в дымном многолюдье, я не обратил бы на нее внимания. Анжела Лусия — молодая женщина со смуглой кожей и нежными чертами лица, тонкими косичками по плечам. Ничего особенного. И, тем не менее, вынужден признать, что ее кожа порой вспыхивает, особенно когда она испытывает волнение или восторг, бронзовым блеском, и в такие минуты она преображается — и становится действительно прекрасной. Однако что меня больше всего поразило, так это голос: хриплый — и вместе с тем влажный, чувственный. Феликс пришел сегодня вечером домой, ведя ее впереди себя, словно трофей. Анжела Лусия внимательно раз-

глядывала книги и пластинки. Рассмеялась при виде сурововысокомерного Фредерика Дугласа.

— А этот муадье[1] что тут делает?

— Это один из моих прадедов, — ответил альбинос. — Мой прадед Фредерик, отец моего деда по отцу.

Этот человек разбогател в XIX веке, поставляя рабов в Бразилию. Когда торговля прекратилась, купил имение в Рио-де-Жанейро и прожил там долгие и счастливые годы. Будучи уже глубоким стариком, вернулся в Анголу, с двумя дочерьми, близнецами — как две капли воды, еще молоденькими девушками. Злые языки тут же стали поговаривать что-то там относительно невозможности отцовства. Старик с ходу развеял слухи, обрюхатив служанку; на сей раз он ухитрился проделать это так, что у нее родился мальчик с точь-в-точь такими же глазами, как у родителя. Даже страшно было смотреть. Висящий здесь портрет — работа кисти одного французского художника. Анжела Лусия спросила, нельзя ли сфотографировать портрет. Затем попросила разрешения сфотографировать его, моего друга, усевшегося в огромное плетеное кресло, привезенное из Бразилии прадедом-работорговцем. Позади него, на стене, тихо угасал последний вечерний луч.

— Такой свет, как этот, — поверите ли? — бывает только здесь.

Она сказала, что может узнать некоторые места на планете по одному только свету. В Лиссабоне в конце весны свет зачарованно льется сверху на ряды домов, он белый и влажный, слегка солоноватый. В Рио-де-Жанейро в то время года, которое тамошние жители интуитивно считают осенью (по поводу чего европейцы презрительно замечают, что это всего лишь игра воображения), свет становится еще более мягким, с шелковистым отливом; порой к нему добавляется влажная пепельность, окутывающая улицы, а затем медленно, печально оседающая на площадях и в садах. Ранним утром на затопленных водой пространствах болот Мату-Гроссу голубые арара пересекают небо, стряхивая с крыльев сияющий и медленный свет, который постепенно опускается на воду, усиливается и разливается вокруг, и кажется, что поет. В лесу Таман-Негара, в Малайзии, свет представляет собой жидкое вещество, которое прилипает к коже и обладает вкусом и запахом. В Гоа он шумный и резкий. В Берлине солнце всегда смеется, по крайней мере, начиная с того мгновения, когда ему удается пробить об-

1. Муадье (muadiê) — тип, субъект; популярное в Анголе словечко, заимствованное из кимбунду.

лака, как на плакатах экологического движения против атомной энергии. Даже в самых невероятных небесах Анжела Лусия обнаруживала проблески, заслуживающие спасения от забвения. До того как побывать в скандинавских странах, она считала, что там, в нескончаемые зимние месяцы, свет существует только в теории. Так нет же — среди туч порой вспыхивали длинные просветы надежды. Она проговорила это и встала. Приняла театральную позу:

— А в Египте? В Каире — вы уже были в Каире, рядом с пирамидами Гизе? — Она воздела руки к небу и продекламировала: — Свет падает — великолепный, такой резкий, такой яркий, что, кажется, оседает на предметах, наподобие какого-то сияющего тумана.

— Это Эса! — Альбинос улыбнулся: — Узнаю его по эпитетам, так же как смог бы узнать Нельсона Манделу по одним только рубашкам. Смею предположить, что это заметки, которые он вел во время путешествия в Египет.

Анжела Лусия присвистнула от восхищения; захлопала в ладоши. Значит, это правда, будто он прочитал португальских классиков от корки до корки — всего Эсу, неисчерпаемого Камилу[1]? Альбинос закашлялся, смутился. Увел разговор в сторону. Сказал ей, что у него есть друг, фотограф, как и она, и что он, также как и она, много лет прожил за границей и недавно вернулся в страну. Военный фотограф. Не хотела бы она с ним познакомиться?

— Военный фотограф? — Анжела испуганно взглянула на него: — Какое это имеет ко мне отношение?! Я даже не знаю, фотограф ли я. Я коллекционирую свет.

Она вынула из портфеля пластмассовую коробку и показала альбиносу:

— Это моя коллекция сияний, — сказала она, — слайды.

Она все время носит с собой несколько экземпляров, разнообразные виды сияния, собранные в африканских саваннах, в старых городах Европы или в горах и лесах Латинской Америки. Свет, зарева, слабые огни, заключенные в пластмассовые рамочки; этим она собирается подпитывать душу в сумрачные дни. Она спросила, есть ли в доме проектор. Мой друг ответил “да” и отправился за аппаратом. Несколько минут спустя мы очутились в Кашуэйра, небольшом городке в Заливе Баия.

— Кашуэйра! Я приехала в старом автобусе. В поисках пристанища немного прошла пешком с рюкзаком за плечами и на-

1. Камилу Каштелу Бранку (1825–1890) — португальский писатель.

брела на небольшую пустынную площадь. Вечерело. На востоке собиралась тропическая гроза. Солнце цвета бронзы катилось близко к земле, пока не натолкнулось на вон ту огромную стену черных туч, за старыми колониальными особняками. Драматическое зрелище, вы не находите? — Она вздохнула. Ее кожа излучала свет, в чудных глазах стояли слезы. — И тогда я узрела божий лик!

Философия Геккона

Вот уже которую неделю я наблюдаю за Жузе Бухманом. Замечаю, как он меняется. Это не тот человек, который вошел в дом шесть, семь месяцев назад. В его душе идет какой-то бурный процесс наподобие метаморфозы. Наверно, как в куколках, скрытно вступили в действие ферменты, растворяя органы. Вы можете возразить, что все мы переживаем постоянную мутацию. Согласен, я тоже не тот, что вчера. Единственное, что во мне не меняется, так это прошлое: воспоминание о моем человеческом бытии. Прошлое отличается стабильностью, оно все время там — прекрасное или ужасное — и пребудет там всегда.

(Я так думал до знакомства с Феликсом Вентурой.)

Когда дело идет к старости, у нас остается только уверенность в том, что скоро мы будем еще старее. Сказать о ком-то, что он молод, будет, как мне кажется, неправильно. Кто-то молод — это все равно что стакан стоит себе целый и невредимый за считанные мгновения до того, как упасть на пол и разбиться. Однако прошу извинить меня за отступление; вот что бывает, когда геккон принимается философствовать. Вернемся, стало быть, к Жузе Бухману. Я не хочу сказать, что через несколько дней изнутри него вырвется, расправляя большие разноцветные крылья, огромная бабочка. Я имею в виду менее заметные изменения. В первую очередь, у него меняется произношение. Он утратил, он теряет свой славянско-бразильский акцент, наполовину мягкий, наполовину свистящий, который поначалу сбил меня с толку. Теперь у него в ходу луандский выговор — под стать шелковым рубашкам с набивным рисунком и кроссовкам, которые он стал носить. Я также нахожу его более экспансивным. Когда смеется — ну прямо вылитый анголец. Кроме того, он сбрил усы. Стал выглядеть моложе. Появился здесь, у нас в доме, сегодня вечером, после почти недельного отсутствия, и, не успел альбинос открыть дверь, с порога выпалил:

— Я был в Шибиа!

Он был возбужден. Уселся на великолепный плетеный трон, который прадед альбиноса привез из Бразилии. Скрестил ноги, вновь поставил параллельно. Попросил виски. Мои друг налил, раздосадованный. Бог мой, чего он забыл в Шибиа?

– Я ездил навестить могилу отца.

Что?! Собеседник поперхнулся. Какого отца, мифического Матеуса Бухмана?

– Моего отца! Матеус Бухман может быть вашей выдумкой, к тому ж первоклассной. Но могила – клянусь! – самая настоящая.

Он открыл конверт и вынул оттуда дюжину цветных фотографий, которые разложил на стеклянной столешнице стола из красного дерева. На первом снимке было запечатлено кладбище; на втором – можно было прочесть надпись на одной из могил: "Матеус Бухман / 1905–1975". Другие представляли собой виды поселка:

а) Приземистые дома.

б) Прямые улицы, широко распахнутые в зеленый пейзаж.

в) Прямые улицы, широко распахнутые в бескрайний покой безоблачного неба.

г) Куры, копошащиеся в красной пыли.

д) Старик (мулат) грустно сидит за столом бара, уставившись на пустую бутылку.

е) Увядшие цветы в вазе.

ж) Огромная клетка, без птиц.

з) Пара ботинок, весьма изношенных, поджидающих у порога дома.

На всех фотографиях было что-то сумеречное. Конец или почти конец, только непонятно чего.

– Я же вас просил, предупреждал, чтобы вы не вздумали ездить в Шибиа!

– Да знаю я. Поэтому и поехал...

Мой друг покачал головой. Я так и не понял, то ли он разозлился, то ли развеселился, или то и другое. Он вгляделся в могилу на фотографии. Улыбнулся, обезоруженный:

– Отличная работа. Учтите, это я вам как профессионал говорю. Примите мои поздравления!

Иллюзии

Сегодня утром я видел во дворе двух мальчишек, изображавших горлиц. Один сидел верхом на доске, на стене, одна нога

здесь, другая там. Второй взобрался на авокадо. Он собирал плоды, кидал их первому, а тот ловил их в воздухе с ловкостью жонглера и складывал в мешок. И вдруг тот, что сидел на дереве, наполовину скрытый листвой (я видел только плечи и лицо), поднес ко рту руки, сложенные рупором, и проворковал. Другой рассмеялся, передразнил его, и это было так, словно там сидели птицы, одна на ограде, другая — на одной из ветвей, ближе к верхушке авокадо, изгоняя своим жизнелюбивым пением остатки ночного сумрака. Этот эпизод напомнил мне Жузе Бухмана. Я был свидетелем того, как он явился в этот дом с необычными усами на манер дворянина XIX столетия, в темном костюме старомодного покроя, эдаким иностранцем. И вот теперь я наблюдаю, как он, что ни день, возникает на пороге в цветастых шелковых рубашках с заливистым хохотом и веселой непринужденностью местных жителей. Если бы я не видел парнишек, а только слышал, я бы подумал, что это ранним влажным утром воркуют голубки. Глядя в прошлое, глядя в него отсюда, словно на широкое полотно, висящее у меня прямо перед глазами, я вижу, что Жузе Бухман — это вовсе не Жузе Бухман, а на самом деле иностранец, притворившийся Жузе Бухманом. Однако стоит только закрыть глаза на прошлое, взглянуть на него сегодняшними глазами, словно никогда не видел раньше, невольно поверишь, что этот человек всю жизнь был Жузе Бухманом.

В *мою первую смерть я не умер*

Однажды, в ту пору, когда я имел человеческий облик, я решил покончить с собой. Хотел умереть окончательно и бесповоротно. Я надеялся, что вечная жизнь, рай и ад, Бог и Дьявол, переселение душ и тому подобное — всего лишь клубок предрассудков, постепенно накручиваемый на протяжении столетий безграничным ужасом людей. Я купил револьвер в ружейном магазине, в каких-нибудь двух шагах от дома; я никогда не заходил туда раньше, и владелец меня не знал. Потом купил детектив и бутылку джина. Пошел в отель на берегу, с отвращением выпил джин большими глотками (алкоголь всегда вызывал у меня отвращение), и лег на кровать, чтобы почитать книгу. Я полагал, что джин вкупе с раздражением от примитивного сюжета придаст мне смелости, необходимой, чтобы приставить револьвер к затылку и нажать курок. Однако книга оказалась неплохой — и я дочитал ее до конца. Когда дошел до последней страницы, начался дождь. Это выглядело так, словно дождила сама ночь. Объясню поточнее: это было так, словно с неба ле-

тели вниз большие фрагменты того темного и сонного океана, по которому плавали звезды. Я подождал, когда звезды начнут падать и вслед за тем разбиваться, с ослепительным блеском и воплем, при столкновении с оконным стеклом. Они не упали. Я выключил лампу. Приставил револьвер к затылку

и уснул.

Сон № 3

Мне приснилось, что я пью чай с Феликсом Вентурой. Мы пили чай, ели тосты и беседовали. Это происходило в большом зале в стиле арт-нуво, стены которого были увешаны настоящими зеркалами, оправленными в рамы из черного дерева. Слуховое окно с красивым витражом, изображавшим двух ангелов с распростертыми крыльями, пропускало свет счастья. Вокруг еще стояли столики, за ними сидели люди, только у них не было лиц, или же это я не видел лиц, не придавая этому значения, поскольку все их присутствие сводилось к негромкому гулу голосов. Я мог видеть свое отражение в зеркалах — высокий мужчина с вытянутой физиономией, тучный, к тому же с дряблой, несколько бледной кожей, плохо скрывающий презрение по отношению ко всему остальному человечеству. Это и впрямь был я, когда-то давно, в сомнительном блеске своих тридцати лет.

— Вы придумали его, этого странного Жузе Бухмана, а теперь он начал придумывать самого себя. Мне это кажется метаморфозой... Реинкарнацией. Или, скорее, захватом.

Мой друг испуганно взглянул на меня:

— Что это значит?

— Жузе Бухман — как вы не понимаете? — завладел телом иностранца. Он с каждым днем становится все более правдоподобным. Другой, который существовал раньше, тот ночной субъект, явившийся к вам в дом восемь месяцев назад, словно прибыл, скажу даже не из другой страны, а из другой эпохи, где он теперь?

— Это такая игра. Я знаю, что это игра. Мы все это знаем.

Он налил себе чаю. Выбрал два кусочка сахара и размешал жидкость. Выпил ее, потупив взгляд. Мы были два приличных господина, двое добрых друзей, одетых в белое, в элегантном кафе. Пили чай, ели тосты и вели беседу.

— Пусть так, — согласился я. — Допустим, это всего лишь игра. Тогда кто такой этот субъект?

Я вытер пот с лица. Я никогда не отличался смелостью. Может, поэтому меня привлекала (я имею в виду другую свою

жизнь) бурная судьба героев и донжуанов. Я коллекционировал ножи с выкидным лезвием. Хвастал, с гордостью, которая сегодня вызывает у меня стыд, подвигами деда-генерала. Водил дружбу с некоторыми отважными людьми, но, увы, это мне не помогло. Смелость не заражает, вот страх — да. Феликс улыбнулся, понимая, что мой ужас старше, древнее, чем его.

— Не имею представления. А вы?

Он переменил тему. Рассказал, что на днях побывал на презентации нового романа одного писателя диаспоры. Брюзга, профессиональный ругатель, сделавший карьеру за границей на продаже национального ужаса европейскому читателю. Нищета пользуется огромным успехом в богатых странах. Ведущий, местный поэт, депутат от партии большинства, похвалил новый роман (стиль, живость повествования) и в то же время упрекнул автора, обнаружив у него искаженное представление о недавней истории страны. Когда началось обсуждение, другой поэт, тоже депутат, более известный благодаря своему революционному прошлому, нежели литературной деятельности, поднял руку:

— В своих романах вы лжете умышленно или от невежества?

Раздался смех. Гул одобрения. Писатель колебался три секунды. Потом парировал:

— Я лжец по призванию, — прокричал он. — Я лгу с радостью. Литература — это метод, к которому прибегает матерый лгун, чтобы заставить общество себя принять.

Далее он добавил, уже более сдержанно, понизив голос, что главное различие между диктатурами и демократиями заключается в том, что в первой системе существует всего одна правда, правда, навязанная властью, тогда как в свободных странах каждый человек имеет право отстаивать свою собственную версию событий. Правда, сказал он, это суеверие. Феликса поразила эта мысль.

— Думаю, то, чем я занимаюсь, это тоже своего рода литература, — признался он мне. — Я тоже создаю сюжеты, выдумываю персонажей, но, вместо того чтобы заключить их в книгу, даю им жизнь, запускаю их в реальность.

* * *

Я сочувствую всякой безнадежной страсти. В этом деле я специалист, или был им. Меня трогает медленная осада, которой Феликс Вентура подвергает Анжелу Лусию. Каждое утро он посылает ей цветы. Она ему на это, смеясь, попеняла, как только мой друг открыл ей дверь. Да-да, они были чудесные, такие красивые фарфоровые розы, они напомнили ей своим преувеличенным и мишурным блеском трансвеститов или,

лучше сказать, drag queens[1]; такие чудесные орхидеи, хотя она предпочитает маргаритки с их сельской красотой без примеси тщеславия. Да, она благодарит его за цветы, но, пожалуйста, пусть больше не присылает, потому что она уже не знает, что с ними делать. Воздух в ее номере в грандотеле "Универсо" давит, вызывает головокружение от обилия стольких разнородных запахов. Альбинос вздохнул; если бы он мог, он усыпал бы путь перед нею лепестками роз. Ему бы хотелось дирижировать птичьим хором, в то время как на небе одна за другой вспыхивали бы радуги. Признания в любви, даже самые нелепые, трогают женщин. Анжела Лусия растрогалась. Поцеловала его в щеку. Потом показала фотографии, сделанные на прошедших неделях: облака.

— Похоже, будто они выплыли из сна?

Феликс вздрогнул:

— Мне снятся сны, — сказал он. — Иногда мне снятся несколько странные сны. Сегодня ночью мне приснился он...

И показал на меня. Я так и обмер. В испуге бросился наутек, чтобы спрятаться в щели, под потолком. Анжела Лусия вскрикнула, со столь свойственной ей детской непосредственностью:

— Геккон?! Какая прелесть!

— Это не просто геккон. Он живет здесь, в доме, уже не один год. Во сне у него облик человека, крупного мужчины, лицо которого к тому же мне не кажется незнакомым. Мы сидели в кафе и разговаривали...

— Бог дал нам сны, чтобы мы могли увидеть другую сторону, — сказала Анжела Лусия. — Чтобы разговаривать с нашими предками. Чтобы разговаривать с Богом. Случается, и с гекконами.

— Ты в это не веришь!

— Верю-верю. Верю в весьма странные вещи, мой дорогой. Если бы ты знал, во что я верю, ты бы посмотрел на меня так, словно я одна представляю собой огромный цирк чудовищ. Так о чем вы беседовали, ты и геккон?

Амулет для отпугивания духов

На веранде, там, снаружи, развешаны под потолком десятки керамических амулетов, чтобы отпугивать духов. Феликс Вентура привез их из своих поездок. По большей части они бразильские. Птицы, раскрашенные яркими красками. Ракови-

1. Трансвеститы (*англ.*).

ны. Бабочки. Тропические рыбы. Бумажный фонарь и его разудалое войско "жагунсо"[1]. Раскачиваемые бризом, они производят ясное журчание воды, и всякий раз, когда дует бриз, а в этот час, слава Богу, он дует всегда, это напоминает о том, какова тайная сущность этого дома:

Корабль, (полный голосов), поднимающийся по реке.

Вчера произошло кое-что необычное. Феликс пригласил на ужин Анжелу Лусию и Жузе Бухмана. Я спрятался на самом верху этажерки, откуда мог спокойно вести наблюдение в полной уверенности, что меня не заметят. Жузе Бухман пришел первым. Вошел с хохотом, он и рубашка (набивные пальмы, попугаи и голубое-преголубое море), словно вихрь, пересек гостиную, пронесся по коридору и устремился в кухню. В шкафчике с напитками выбрал бутылку виски. Затем открыл холодильник, достал пару кусочков льда, положил их в высокий стакан, щедро плеснул себе напитка и вернулся в гостиную; при этом громко, не переставая смеяться, рассказывал о том, как утром едва не угодил под колеса автомобиля. Анжела Лусия явилась в зеленом платье, бесшумно, увлекая за собой последние лучи солнца. Остановилась перед Жузе Бухманом:

— Вы уже друг с другом знакомы?

— Нет-нет! — проговорила Анжела бесцветным голосом. — Думаю, нет...

Жузе Бухман испытывал еще меньше уверенности:

— Я не знаком с кучей народа! — сказал он и засмеялся своей собственной шутке. — Я никогда не пользовался особой популярностью.

Анжела Лусия не засмеялась. Жузе Бухман взглянул на нее с беспокойством. Его голос вновь обрел свистящую мягкость первых дней. Он рассказал, что вот уже несколько дней собирался сфотографировать сумасшедшего, одного из тех бесчисленных несчастных, что бесцельно бродят по улицам города: его привлекла неописуемая надменность этого человека. Сегодня, с утра пораньше, он, Жузе Бухман, улегся плашмя на асфальте, чтобы поймать момент и сфотографировать старика, вылезающего из канавы, где, судя по всему, тот устроил себе жилье, как вдруг увидел машину, мчавшуюся по направлению к нему. Он откатился к тротуару, не выпуская "Кэнон" из рук, и чудом избежал жуткой смерти. Проявив пленку, он обнаружил, что в суматохе фотоаппарат успел-таки щелкнуть три

1. Жагунсо (*порт.* jagunço — наемник, бандит) — так называли в Бразилии людей, нанимаемых землевладельцами для охраны своей территории. Их нанимали также политики — для охраны и силового решения спорных вопросов.

раза. Два снимка никуда не годились. Грязь. Краешек неба. Однако на последнем была ясно видна скрытая броня автомобиля и бесстрастное лицо пассажира на заднем сидении. Он показал фотографии. Феликс присвистнул:

— Опа-на! Президент!

Анжела Лусия больше заинтересовалась краешком неба:

— Облако — обратили внимание? — напоминает ящерицу...

Жузе Бухман согласился. Напоминает ящерицу, или крокодила, но ведь в мимолетных очертаниях облака каждый видит, что хочет. Когда Феликс появился вновь, возвращаясь из кухни, неся в руках широкую и глубокую глиняную миску, оба уже пришли в себя. Бухман потребовал жиндунгу и лимон. Одобрительно отозвался о консистенции фунжи[1]. Постепенно к нему вернулись длинные раскаты хохота и луандский выговор. Анжела Лусия не сводила с него нежно-прозрачных глаз:

— Феликс сказал, что вы долго жили за границей. В каких странах?

Жузе Бухман мгновение колебался. Повернулся к моему другу в некотором смущении, в надежде на помощь. Феликс притворился, что не понял:

— Да-да. Вы никогда мне не рассказывали, где вы были все эти годы...

Он ласково улыбался. Это выглядело так, словно он впервые испытал удовольствие от жестокости. Жузе Бухман глубоко вздохнул. Оперся на спинку стула:

— Последние десять лет у меня не было определенного адреса, я мотался по свету, фотографируя войны. До этого жил в Рио-де-Жанейро, еще раньше — в Берлине, перед тем — в Лиссабоне. Поехал в Португалию в шестидесятые годы изучать право, но мне не понравился климат. Слишком уж там тихо. Фаду, Фатима, футбол[2]. Зимой — а вообще-то это могло случиться и обычно случалось в любое время года — с неба сыпался дождь из мертвых водорослей. На улицах стояла темень. Люди умирали от тоски. Даже собаки лезли в петлю. Я сбежал. Сначала двинулся в Париж, а оттуда с одним приятелем — в Берлин. Мыл тарелки в греческом ресторане. Работал в приемной роскошного борделя. Давал уроки португальского немцам. Пел в барах. Позировал в качестве модели молодым людям, изучающим живопись. Однажды друг подарил мне "Кэнон Ф-1", которым я поль-

1. Фунжи - ангольское блюдо из кукурузной или маниоковой муки.
2. Во времена Салазара Португалию называли "страной фаду, Фатимы и футбола". Фаду (*порт.* Fado — фатум, рок) — песенный жанр, как правило, меланхолического характера. Фатима — место явления Девы Марии, место паломничества.

зуюсь до сих пор, так я и стал фотографом. Снимал в Афганистане в тысяча девятьсот восемьдесят втором, на стороне советских войск... в Сальвадоре — на стороне партизан... в Перу — с обеих противоборствующих сторон... на Мальвинах — тоже с обеих сторон... в Иране — во время войны с Ираком... в Мексике — на стороне сапатистов[1]... Много фотографировал в Израиле и Палестине. Много. Работы там хватает.

Анжела Лусия нервно улыбнулась:

— Хватит! Я не хочу, чтобы после ваших воспоминаний этот дом стал грязным от крови.

Феликс вернулся на кухню, чтобы приготовить десерт. Оба гостя так и продолжали сидеть друг против друга. Никто из них не произнес ни слова. Их молчание было наполнено шепотом, тенями, глухими тайнами, уводившими далеко, в далекие времена. А может, и нет. Может, они просто молчали, сидя друг против друга, поскольку не нашли, о чем поговорить, а остальное я дорисовал в воображении.

Сон № 4

Я увидел себя самого — как я иду по настилу из поперечных досок. Настил змеился, подвешенный на высоте одного метра над песком, теряясь вдали, где-то на подходе к более высокой дюне, маячившей впереди, местами почти поросшей травой и кустарником, местами — практически голой. Море, справа от меня, было гладким и сияющим, бирюзовым, каким оно бывает только на туристических плакатах или в счастливых снах, и от него шел настоявшийся аромат водорослей и соли. Какой-то человек двигался мне навстречу. Я сразу же догадался, еще до того как разглядел его черты, что это мой друг Феликс Вентура. Чувствовалось, что солнце причиняет ему неудобство. На нем были непроницаемые черные очки, парусиновые брюки и рубашка навыпуск, тоже льняная, которая полоскалась на ветру, как знамя. Голову покрывала красивая шляпа-панама, но ни она, ни весь блеск его элегантности, казалось, были не в состоянии его уберечь от суровой солнечной пытки.

— Я бесцветный человек, — сказал он мне, — а природа, как вам известно, боится пустоты.

Мы сели на широкую и удобную скамейку, стоявшую на настиле. Море безмятежно потягивалось у наших ног. Феликс

1. Сапатисты борются за демократические преобразования в мексиканском обществе; требуют конституционного закрепления прав коренных народов Мексики.

Вентура снял шляпу и стал обмахивать ею широкое лицо. Розовая кожа блестела, покрытая потом. Я сжалился над ним:

— В холодных странах люди со светлой кожей не страдают так от безжалостности солнца. Наверно, вам следовало бы эмигрировать в Швейцарию. Вы уже были в Женеве? Мне бы хотелось жить в Женеве.

— Да не в солнце тут дело! — возразил он. — Моя проблема заключается в отсутствии меланина. — Он засмеялся. — Вы обратили внимание: все неодушевленное выгорает на солнце, в то время как все живое обретает цвет?

Он хочет сказать, что ему недостает жизни, это ему-то?! Я энергично запротестовал. В жизни не знал человека, который был настолько живым. Мне даже казалось, что в нем была — не скажу, что жизнь, а много жизней. В нем и вокруг него. Феликс внимательно посмотрел на меня:

— Извините за любопытство, но можно узнать ваше имя?

— У меня нет имени, — ответил я, и был чистосердечен, — я геккон.

— Чепуха. Никому не дано быть гекконом!

— Вы правы. Никто не может быть гекконом. А вот вы — вас действительно зовут Феликс Вентура?

Мой вопрос, похоже, его оскорбил. Он отклонился назад и нырнул взглядом в глубину удивленного неба. Я испугался, что он туда прыгнет. Место было мне незнакомо. Я не мог вспомнить, чтобы когда-то, в другой жизни, я здесь бывал. Громадные кактусы, некоторые высотой несколько метров, тянулись вверх среди дюн, за нашими спинами, они тоже были ослеплены блеском моря. Стая фламинго скользнула мирным пожаром по голубому небу, прямо над нашими головами, и только тогда я окончательно осознал, что это действительно сон. Феликс медленно выпрямился, у него были мокрые глаза:

— Это что, безумие?

Я не знал, что ему ответить.

Я Е*влалий*

На следующий день вечером Феликс повторил вопрос Анжеле Лусии. Сначала он, разумеется, рассказал, что опять видел меня во сне. Я уже успел подметить, что Анжела Лусия говорит серьезные вещи смеясь, и, наоборот, выглядит совершенно серьезной, подкалывая своего собеседника. Мне не всегда удается понять, что она думает. На этот раз она рассмеялась под обескураженным взглядом моего друга, к пущему его огорчению, но затем стала очень серьезной и спросила:

— А имя? В конце концов, муадье сообщил тебе, кто он такой?

— Никто не имя! — энергично подумал я.

— Никто не имя! — ответил Феликс.

Ответ поверг Анжелу Лусию в изумление. Феликса тоже. Я видел, как он взглянул на женщину — словно в пропасть. Она кротко улыбнулась. Положила правую руку на левое плечо альбиноса. Что-то прошептала ему на ухо, и он расслабился.

— Нет, — выдохнул он. — Я не знаю, кто это. Но раз уж он снится мне, я вправе дать ему какое угодно имя, как ты считаешь? Назову-ка его Евлалием, поскольку язык у него хорошо подвешен[1].

Евлалий?! Звучит неплохо. Что ж, буду Евлалием.

Дождь над детством

Идет дождь. Крупные капли воды под натиском сильного ветра бросаются на стекло. Феликс, сидя лицом к непогоде, вкушает, неторопливо черпая ложкой, фруктовое пюре. В последнее время оно заменяет ему ужин. Он сам готовит папайю, разминая ее вилкой. Затем добавляет две маракуйи, банан, изюм, кедровые орешки, столовую ложку мюсли одной английской марки и чуточку меда.

— Я уже говорил вам о саранче?

Говорил.

— Всегда, когда идет дождь, я вспоминаю о саранче. Не здесь, не в Луанде, здесь я, конечно, никогда не видел ничего подобного. У моего отца Фаушту Бендиту от бабки по материнской линии было имение в Габеле, мы ездили туда на каникулы. Для меня это было все равно что побывать в раю. Я целыми днями играл с детьми работников, ну еще один или двое белых мальчишек, местных, ребята, которые говорили на кимбунду. Мы играли в войну между индейцами и ковбоями, с рогатками и копьями, которые мастерили сами, и даже с помповыми ружьями; у меня было одно, еще у одного мальчишки — другое, мы заряжали их индийскими яблоками. Индийское яблоко тебе наверно незнакомо: это такой мелкий фрукт, красный, где-то размером с дробь. Из них получались отличные пули, потому что при попадании в цель они лопались, — бац! — пачкая одежду жертвы, словно кровью. Я смотрю на дождь и вспоминаю Габелу. Манговые деревья, которые росли вдоль дороги, сразу на выезде из Киба-

1. Имя Евлалий в переводе с греческого означает “складно говорящий”.

лы. Омлеты — я больше нигде таких не ел, как те, что подавали на завтрак в Отеле Кибалы. Мое детство наполнено приятными вкусами. Замечательно пахнет мое детство. Я вспоминаю те дни, когда шел дождь из саранчи. Горизонт темнел. Саранча, оглушенная, сыпалась на траву, сначала одно насекомое там, другое — сям, и их тут же, тут же поедали птицы. Тьма надвигалась, покрывала все, и в следующее мгновение оборачивалась чем-то нетерпеливым и многочисленным, яростным гудением, бурлением, и мы бежали домой в поисках убежища, в то время как деревья теряли листья и травяной покров исчезал за считанные минуты, поглощенный своего рода живым огнем. На следующий день все, что было зеленого, обращалось в ничто. Фаушту Бендиту рассказывал, что видел, как вот так пропала целая зеленая тележка, ее съела саранча. Наверно, он что-то присочинил.

Мне нравится его слушать. Феликс говорит о своем детстве так, словно он и в самом деле все это пережил. Закрывает глаза. Улыбается.

— Закрываю глаза и вижу саранчу, падающую с неба. Эцитоны, муравьи-кочевники — известны тебе? — спускались из ночи, из-за какой-нибудь двери, ведущей в преисподнюю, и множились, до тысяч, до миллионов, по мере того как мы их уничтожали. Вспоминаю, как я, проснувшись, кашлял, закашливался, задыхался от кашля, глаза щипало в дыму битвы. Фаушту Бендиту, мой отец, в пижаме, русые волосы всклокочены, стоя босиком в тазу с водой, сражался с ордами муравьев с помощью распылителя ДДТ. Фаушту криками отдавал приказы слугам посреди дыма. Я заливался смехом — ребенок все-таки — от изумления. Засыпал, видел муравьев во сне, и, когда просыпался, они по-прежнему были там, посреди дыма, этого едкого дыма, — миллионы челюстей-дробилок, обуянные слепой яростью и ненасытные. Я засыпал, мне что-то снилось, а они проникали в мои сны, и я видел, как они лезут вверх по стенам, нападают на кур в курятнике, на голубей в голубятне. Собаки кусали себе лапы. В ярости вертелись вокруг собственной оси, с воем кружились, пытались зубами выдрать насекомых, вцепившихся между пальцев, крутились на месте, выли, сами себя кусали. Выдирали насекомых вместе с мясом. Двор был весь в пятнах крови. Запах крови еще больше заводил собак. Дразнил муравьев. Старая Эшперанса, которая в то время еще не была такой уж старой, кричала, умоляла: “Да сделайте же что-нибудь, хозяин! Животные мучаются”, — и я помню, как отец заряжал ружье, в то время как она тащила меня в комнату, чтобы я всего этого не видел. Я обхватывал руками Эшперансу, утыкался лицом ей в грудь, но это мало помогало. Вот сейчас закрываю глаза — и вижу. Слышу все, поверишь ли? Я даже сегодня оплакиваю гибель моих собак. Мне не следовало бы

этого говорить, не знаю, поймешь ли ты меня, но я в большей степени скорблю о собаках, чем о моем бедном отце. Очнувшись от сна, мы перетряхивали волосы, перетряхивали простыни — и муравьи сыпались, уже дохлые или полудохлые, все еще продолжая кусать наугад, перемалывая воздух толстыми железными челюстями. К счастью, шли дожди. Дождь передвигался по освещенному небу, а мы скакали перед этой стеной воды, очень чистой, вдыхая запах мокрой земли. С первыми дождями появлялись термиты. Они, словно туман, с легким жужжанием кружили ночь напролет вокруг ламп до тех пор, пока не теряли крылья, и утром дорожки были устланы легким прозрачным ковром. Термиты и бабочки казались мне безобидными существами. Раньше все детские сказки заканчивались одной и той же фразой: "и до конца жизни были счастливы", — и это после того, как Принц женился на Принцессе и у них было много детей. В жизни, конечно, ни одна история так не завершается. Принцессы выходят замуж за охранников, выходят замуж за гимнастов, жизнь продолжается, и оба оказываются несчастными, пока не разводятся. Проходит несколько лет, и они, как все мы, умирают. Мы счастливы, по-настоящему счастливы только тогда, когда это навсегда, но только дети живут в том времени, в котором все длится вечно. Я был навсегда счастлив в детстве, там, в Габеле, во время длинных каникул, когда пытался построить хижину среди ветвей акации. Я был навсегда счастлив на берегу речушки, потока воды столь жалкого, что он не удостоился чести иметь название, хотя довольно гордого, чтобы мы считали его чем-то бóльшим, нежели простой ручей: то была Река. Она бежала между посадками кукурузы и маниоки, и мы ходили туда охотиться на головастиков, пускать самодельные кораблики, а еще ближе к вечеру подглядывать за купающимися прачками. Я был счастлив со своей собакой, Кабири, мы оба были навсегда счастливы, выслеживая горлиц и кроликов до самых сумерек, играя в прятки в высокой траве. Я был счастлив на палубе "Совершенного принца"[1] во время бесконечного плавания из Луанды в Лиссабон, кидая в море бутылки с наивными посланиями. "Кто найдет эту бутылку, пожалуйста, напишите мне". Никто так мне и не написал. На уроках катехизиса пожилой падре с тихим голосом и усталым взглядом попытался, без особой уверенности, объяснить мне, в чем заключается Вечность. Я считал, что это другое название длинных каникул. Падре толковал мне об ангелах, а я

1. "Совершенным принцем" называли португальского короля Жуана II (1455—1495), который во многом соответствовал идеалу правителя, описанному Макиавелли в трактате "Государь". Во время его правления обследовали большую часть земель Западной Африки и открыли мыс Доброй Надежды.

видел кур. И поныне куры — это самое близкое подобие ангелов из всего, что я знаю. Он говорил нам о блаженстве, а у меня перед глазами стояли куры: вот они ковыряются в мусоре на солнцепеке, роют гнезда в песке, закатывают небольшие стеклянные глазки прямо-таки в мистическом экстазе. Не могу вообразить себе Рай без кур. Я не в состоянии представить себе Господа, разлегшегося на мягкой перине облаков, вне окружения кроткого куриного легиона. С другой стороны, я никогда не встречал злых кур, а вы встречали? Курам, как и термитам, как и бабочкам, несвойственна злобность.

Дождь хлещет с удвоенной силой. В Луанде нечасто увидишь такой дождь. Феликс Вентура вытирает лицо платком. Он все еще пользуется хлопчатобумажными платками — огромными, классического образца, с вышитым в уголке именем. Я завидую его детству. Не исключено, что оно выдумано. Все равно завидно.

Между жизнью и книгами

В детстве, еще до того, как научиться читать, я целые часы проводил в нашей домашней библиотеке, сидя на полу и листая толстенные иллюстрированные энциклопедии, в то время как мой отец занимался нелегким делом — сочинением стихов, которые затем уничтожал, поступая весьма благоразумно. Позже, уже в школе, я искал в библиотеках убежища, стремясь оградить себя от выходок, неизменно грубых, которыми развлекались мальчишки моего возраста. Я был застенчивым, слабым ребенком, легкой мишенью насмешек окружающих. Я вырос — вымахал ростом даже выше среднего, — набрал вес, но так и остался замкнутым, не склонным к авантюрам. Несколько лет я проработал библиотекарем и думаю, что в то время был счастлив. И был счастлив после, даже сейчас, в этом крохотном тельце, к которому приговорен, когда сопереживаю в том или ином заурядном романе чужому счастью. В великих литературных произведениях счастливая любовь встречается нечасто. Да-да, я и сейчас продолжаю читать. На склоне дня пробегаю по корешкам. По ночам развлекаюсь тем, что читаю книги, которые Феликс оставляет раскрытыми на тумбочке возле кровати. Мне недостает — я и сам толком не знаю почему — "Тысячи и одной ночи" в английском переводе Ричарда Бартона. Мне было лет восемь или девять, когда я впервые ее прочел, тайком от отца, потому что в те времена она еще считалась непристойной книгой. Я не могу вернуться к "Тысяче и одной ночи", зато постоянно открываю новых писателей. Мне, например, нра-

вится бур Кутзее[1] — своей суровостью и точностью, не знающим снисхождения негодованием. Меня поразило известие о том, что шведы отметили его столь замечательное творчество.

Вспоминаю тесный двор, колодец, черепаху, спящую в грязи. Дальше, за оградой, — уличная суета. А еще я помню дома, низкие, погруженные в мелкий (как песок) свет сумерек. Рядом со мной всегда была моя мать, женщина хрупкая и ожесточившаяся; она внушала мне, что следует опасаться окружающего мира и его бесчисленных опасностей.

— Действительность мучительна и далека от совершенства, — говорила она мне, — такова ее природа, поэтому-то мы и отличаем ее от снов. Когда что-то кажется нам прекрасным, мы думаем, что это всего лишь сон, и надо ущипнуть себя, чтобы увериться в том, что мы не спим: больно — значит, не снится. Реальность ранит, пусть в какие-то мгновения она и кажется нам сном. В книгах присутствует все сущее, зачастую оно изображено более правдиво и не причиняет настоящей боли, как все то, что существует в действительности. Между жизнью и книгами, сынок, выбирай книги.

Мама, моя мама! Отныне я буду говорить просто Мама.

Представьте себе парнишку, который мчит на мотоцикле по второстепенной дороге. Ветер хлещет ему в лицо. Паренек закрывает глаза и разводит руки в стороны, как в кино, чувствуя себя живым и в полном единении с целым светом. Он не видит грузовик, выезжающий на перекресток. Он умирает счастливым. Счастье — это почти всегда безответственность. Мы бываем счастливы в течение тех кратких мгновений, когда закрываем глаза.

Мир тесен

Жузе Бухман разложил фотографии на большом столе в гостиной, копии в формате А4, на матовой бумаге, черно-белая печать. Почти на всех запечатлен один и тот же человек: высокий старик с прямой спиной, с белой-пребелой шевелюрой, доходящей ему до груди; волосы, заплетены в толстые косы, их концы сливаются с жесткой бородой. В том виде, в каком он предстает на фотографиях: в темной заношенной рубашке, на груди которой еще можно разглядеть серп и молот, и с все еще гордо поднятой головой, гневно сверкающим

1. Джон Максвелл Кутзее (р. 1940) — южноафриканский писатель, лауреат Нобелевской премии (2003).

взглядом, — он напоминает древнего правителя, впавшего в нищету.

— Все последние недели я неотступно следовал за ним, с утра до вечера. Не желаете ли взглянуть? Я покажу вам город с точки зрения побитого пса.

а) Старик, со спины, идет по развороченным улицам.

б) Разрушенные здания; стены изрешечены пулями, тощий скелет выставлен на обозрение. На одной из стен — афиша, извещающая о концерте Хулио Иглесиаса.

в) Мальчишки играют в футбол в окружении высоких домов. Страшно худые, почти прозрачные. Они ныряют, подскакивают вверх в пыли, как танцовщики на сцене. Старик наблюдает за ними, сидя на камне. Он улыбается.

г) Старик спит в тени изъеденного ржавчиной военного танка.

д) Старик мочится возле статуи Президента.

е) Старика проглатывает земля.

ж) Старик выныривает из канавы — прямо Бог Непокорный, всклокоченные волосы освещены мягким утренним светом.

— Я продал этот репортаж американскому журналу. Завтра отправляюсь в Нью-Йорк. Пробуду там неделю или две. Может, больше. И знаете, что собираюсь сделать?

Феликс Вентура не стал дожидаться ответа. Покачал головой:

— Это нелепо! Вы же понимаете, что это абсурдно, не так ли?

Жузе Бухман рассмеялся. Это был спокойный смех. Похоже, он забавлялся:

— Когда-то давно, в Берлине, мне неожиданно позвонил один мой друг, детский приятель, из дорогой моему сердцу Шибиа. Он сообщил, что, вознамерившись убежать от войны, за два дня до этого покинул Лубанго, добрался на мотоцикле до Луанды, из Луанды долетел до Лиссабона, а в Лиссабоне пересел на самолет в Германию. Его должен был встретить двоюродный брат, но никто не встретил, и тогда он решил найти дом брата, покинул аэропорт — и потерялся. Он пребывал в подавленном состоянии. Он не знал ни слова по-английски, так же как и по-немецки, и никогда до этого не бывал в большом городе. Я попытался его успокоить. “Откуда ты звонишь?” — спросил я его. “Из автомата, — ответил он мне. — Я нашел твой номер в записной книжке и решил позвонить”. — “И правильно сделал, — согласился я. — Никуда не уходи. Скажи только, что ты видишь вокруг, скажи мне, видишь ли ты что-нибудь не-

обычное, привлекающее внимание, чтобы я смог сориентироваться, что-то особенное?" — "Ну, на другой стороне улицы стоит автомат, в нем свет зажигается и гаснет и меняет цвет, зеленый, красный, зеленый, с фигуркой идущего человечка".

Он описывал курьез, подражая голосу приятеля, копируя его манеру растягивать слова, смятение бедняги, вцепившегося в телефон. Снова расхохотался, на этот раз так раскатисто, что даже слезы выступили на глазах. Попросил у Феликса стакан воды. Постепенно успокоился, пока пил:

— Да, старина, я знаю, что Нью-Йорк — очень большой город. Однако ежели я сумел отыскать светофор в Берлине и телефонную кабину перед ним с кандальником, — так называют уроженцев Шибиа, вам это известно? — если я сумел отыскать телефонную кабину в Берлине с ожидающим меня кандальником внутри, я также сумею найти в Нью-Йорке дизайнера по имени Ева Миллер — свою мать, Бог мой, мою мать! За две недели, уверен, я выйду на ее след.

* * *

Мой дорогой друг,

надеюсь, по получении сего письма вы будете пребывать в добром здравии. Я прекрасно знаю, что это не совсем письмо, — то, что я сейчас вам пишу, — а электронное послание. Писем уже никто не пишет. Я, скажу вам откровенно, испытываю грусть по тем временам, когда люди общались друг с другом, обмениваясь письмами, настоящими письмами, на хорошей бумаге, на которую можно было капнуть духами, или же вложить в конверт сухие цветы, разноцветные перышки, прядь волос. Я испытываю толику ностальгии по тем временам, когда почтальон доставлял нам письма на дом, по той радости — а также испугу, — с какой мы их получали, с какой их открывали, с какой их читали, и по той тщательности, с которой, отвечая, подбирали слова, взвешивали, оценивали излучаемые ими свет и тепло, вдыхали их аромат, зная, что впоследствии их будут взвешивать, изучать, вдыхать, вкушать, и что некоторым, возможно, удастся избежать водоворота времени, чтобы быть перечитанными спустя много лет. Терпеть не могу топорную небрежность электронных посланий. Я с ужасом — с физическим ужасом — воспринимаю это "ойканье"[1], навязанное нам бразильцами, — как можно всерьез воспринимать того, кто так к нам обращается? Европейские путешественники, пересекав-

1. Oi! — распространенное приветствие в Бразилии.

шие на протяжении XIX века внутренние районы Африки, часто с юмором описывали замысловатые приветствия, которыми обменивались местные проводники, когда во время длительных переходов встречали где-нибудь в тенистом местечке родственников или знакомых. Белый человек изнывал от нетерпения — и, в конце концов, прерывал затянувшееся приветствие, сопровождаемое смехом, восклицаниями и хлопаньем в ладоши:

— Ну, и что сказали эти люди: видели ли они Ливингстона[1]?

— Ничего не сказали, начальник, — объяснял проводник. — Они только поздоровались.

Я жду от письма того же. Представим себе: вот письмо, почтальон только что вручил его вам в руки. Должно быть, оно пропитано воздухом, который в эти дни вдыхали и выдыхали люди, живущие в этом огромном подгнившем яблоке. Небо низкое и темное. Желаю, кстати, чтобы над Луандой нависли такие же тучи, беспрерывно моросил дождь — самое то для вашей чувствительной кожи — и чтобы дела у вас продолжали идти полным ходом. Я верю, что всем нам и впрямь недостает хорошего прошлого, и, в частности, тем, кто в нашем бедном отечестве, заботясь о себе, бросает нас на произвол судьбы.

Я думаю о красавице Анжеле Лусии (я считаю ее красивой), не очень уверенно пробираясь сквозь нетерпеливую толпу на здешних улицах. Возможно, она права, и важно запечатлевать не мрак, как поступаю я, а свет. Если увидите нашу подругу, скажите ей, что она смогла, по крайней мере, посеять в моей душе какое-то сомнение и что в последние дни я возводил очи к небесам чаще, чем за всю мою жизнь. Возводя очи, мы не видим грязи, не видим мелких существ, которые копошатся в грязи. Как вам кажется, дорогой Феликс, что важнее: запечатлевать красоту или доносить правду об ужасах?

Вероятно, вам уже наскучили мои сумасбродные философствования. Представляю себе, что если вы меня дочитали до этого места, то наверняка успели почувствовать себя в шкуре тех самых европейских исследователей, которых я упоминал прежде:

— В конце концов, куда клонит этот человек: встретил он Ливингстона или нет?

Не встретил. Я начал с того, что заглянул в телефонные справочники и обнаружил шесть Миллер, которые вдобавок носили имя Ева, однако ни одна из них не была в Анголе. Затем решил поместить объявление на португальском в пяти

1. Давид Ливингстон (1813—1873) — английский исследователь Африки.

наиболее читаемых газетах. Я не получил никакого ответа. И тогда действительно обнаружил зацепку. Не знаю, знакома ли вам теория маленького мира, которую также называют теорией "шести отделяющих ступеней"[1]. В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году американский социолог Стэнли Милгрэм из Гарвардского университета предложил любопытную задачу тремстам жителям штатов Канзас и Небраска. Ожидалось, что этим людям удастся, прибегнув исключительно к информации друзей и знакомых, добытой посредством писем (это происходило в то время, когда еще обменивались письмами), связаться с двумя персонами в Бостоне, зная лишь имя и профессию. В проекте согласились принять участие шестьдесят человек. Трое добились успеха. Анализируя результаты, Милгрэм понял, что в среднем между отправителем и получателем было всего шесть контактов. Если эта теория верна, то в данный момент меня от моей матери отделяют два человека. Я все время ношу с собой вырезку из "Вог", американского издания, которую вы мне вручили, вместе с репродукцией акварели Евы Миллер. Репортаж был подписан журналисткой по имени Мария Дункан. Она уже несколько лет, как оставила журнал, но главный редактор все еще ее помнит. После долгих поисков мне удалось разыскать номер телефона в Майями, где Мария проживала, когда еще работала для "Вог". Мне ответил по этому телефону ее племянник. Он сказал, что тетя там больше не живет. После смерти мужа она вернулась в свой родной город, Нью-Йорк. Он дал мне адрес. Это — только подумайте! — всего в квартале от отеля, где я остановился. Вчера я нанес ей визит. Мария Дункан — пожилая дама изможденного вида, с фиолетовыми волосами, сильным и уверенным голосом, который кажется украденным у кого-то гораздо более молодого. Подозреваю, что ее тяготит одиночество, в больших городах это весьма распространенная беда стариков. Она встретила меня с интересом, а узнав о причине моего визита, оживилась еще больше. Сын, занимающийся поисками матери, тронет любое женское сердце. "Ева Миллер?" — нет, имя ей ни о чем не говорило. Я показал ей вырезку из "Вог", и она сходила за коробкой со старыми фотографиями, журналами, кассетами, и мы вдвоем принялись все это перебирать, в течение нескольких часов, словно детишки на бабушкином чердаке. Дело того стоило. Мы нашли фотографию, где она была запечатлена вместе с моей матерью. Более

1. Теория Стэнли Милгрэма также известна как "правило шести рукопожатий".

того: мы обнаружили письмо, в котором Ева благодарила ее за присылку журнала. На конверте — кейптаунский адрес. Полагаю, Ева жила в Кейптауне, до того как поселилась в Нью-Йорке. Боюсь, однако, для того чтобы найти ее здесь или где бы то ни было, мне придется повторить ее беспорядочный маршрут в обратном направлении. Завтра вылетаю в Йоханнесбург, возвращаясь в Луанду; от Йоханнесбурга до Кейптауна — всего шаг ступить. Он может оказаться важным шагом в моей жизни. Пожелайте мне удачи и разрешите обнять вас искреннему другу

Жузе Бухману.

Скорпион

Я сплю по обыкновению, по генетической предрасположенности, поскольку свет причиняет мне неудобство, целый день. Однако иногда меня что-нибудь будит — шум, солнечный луч, — и мне волей-неволей приходится преодолевать дневной дискомфорт, бегая по стенам, пока не найдется щель поглубже, какая-нибудь влажная и глубокая трещина, где я вновь могу предаться покою. Не знаю, отчего я проснулся сегодня утром. Думаю, мне снилось что-то тяжелое (не помню лиц, только ощущения). Вероятно, мне снился отец. В тот момент, когда я открыл глаза, я увидел скорпиона. Он сидел в нескольких сантиметрах от меня. Неподвижно. Закованный в броню ненависти, подобно средневековому рыцарю в латах. И тут он бросился на меня. Я отпрянул назад и вскарабкался по стене, в мгновение ока, на потолок. Я отчетливо расслышал, все еще слышу, глухой стук жала, ткнувшегося в деревянную обшивку.

Припоминаю фразу отца, сказанную однажды вечером, когда он отмечал — с напускной, хочется думать, радостью — смерть кого-то из врагов:

— Он был негодяем и не ведал о том. То есть был самым что ни на есть настоящим негодяем.

Вот что я ощутил в тот самый момент, когда открыл глаза и увидел скорпиона.

Министр

После эпизода со скорпионом мне больше не удалось заснуть. И таким образом я оказался свидетелем прихода Министра. Низенького толстого человечка, который не совсем уютно чувствовал себя в собственном теле. Можно было бы сказать,

что его укоротили за несколько минут до этого, и он не успел привыкнуть к своему новому росту. На нем был темный костюм в белую полоску, который ему совершенно не шел, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Он со вздохом облегчения плюхнулся в плетеное кресло, стряхнул пальцами крупные капли пота со лба и, прежде чем Феликс успел предложить ему что-нибудь выпить, крикнул Старой Эшперансе:

— Пива, уважаемая! Как можно холоднее!

Мой друг поднял бровь, но сдержался. Старая Эшперанса принесла пиво. Солнце там, снаружи, растопило асфальт.

— У вас нет кондиционера?!

Он сказал это с ужасом. Выпил пиво большими глотками, взахлеб, и попросил еще. Феликс предложил ему расположиться поудобнее, не хотелось бы ему снять пиджак? Министр согласился. Без пиджака он выглядел еще толще, еще ниже, как будто Господь по рассеянности уселся ему на голову.

— Ты что, имеешь что-то против кондиционера? — хмыкнул он. — Он оскорбляет твои принципы?

Неожиданное панибратское обращение вызвало еще большую досаду у моего друга. Он закашлял, словно залаял, и пошел за приготовленным портфелем. Медленно, театральным жестом открыл его на столике красного дерева: таков ритуал, при котором я не раз присутствовал. Он неизменно производит эффект. Министр от нетерпения затаил дыхание, пока мой друг декламировал ему родословную:

— Это ваш дед по отцу Александр Торреш душ Сантуш Коррейя де Са и Беневидеш, прямой потомок Салвадора Коррейи де Са и Беневидеша[1], знатного уроженца Рио-де-Жанейро, который в 1648 году освободил Луанду от голландского господства...

— Салвадор Коррейя?! Тот тип, что дал имя лицею?

— Тот самый.

— А я думал, что это какой-нибудь португашка. Какой-нибудь политик оттуда, из метрополии, или колонист, почему же тогда поменяли название лицея на Муту-йа-Кевала[2]?

— Предполагаю, потому, что хотели ангольского героя, в то время мы нуждались в героях, как в хлебе насущном. Если хотите, я еще могу подыскать вам другого деда. Достану документы в доказательство того, что вы ведете происхождение

1. Салвадор Коррейя де Са и Беневидеш (1602—1680) — португальский военачальник и политик; в 1637—1643 гг. был губернатором Рио-де-Жанейро, в 1647—1652 гг. — губернатором Анголы.
2. Муту-йа-Кевала — герой национально-освободительной борьбы ангольцев, руководитель восстания в Байлундо (1902).

от самого Муту-йа-Кевала, от Нгола Килуанжи[1], да хоть от королевы Жинги[2]. Хотите?

— Нет-нет, меня устраивает бразилец. Этот тип был богат?

— Чрезвычайно богат. Он был двоюродным братом Эштасиу де Са[3], основателя Рио-де-Жанейро; того, беднягу, постигла печальная участь: отравленная стрела индейцев тамойо угодила ему прямо в лицо. И, наконец, что вам интересно будет узнать: в те годы, когда Салвадор Коррейя правил нашим городом, он познакомился с одной ангольской дамой, Эштефанией, дочерью одного из самых преуспевающих рабовладельцев того времени, Филипе Перейры Торреша душ Сантуша, влюбился в нее, и от этой любви... любви незаконной, оговорюсь с самого начала, поскольку губернатор был человеком женатым, от этой любви родилось трое мальчиков. Вот тут у меня генеалогическое дерево, взгляните, это произведение искусства.

Министр восхитился:

— Чудо!

Возмутился:

— Черт побери! Кому пришла идиотская мысль поменять название лицея?!

Человек, изгнавший голландских колонизаторов, воин-интернационалист из братской страны, предок африканцев, положивший начало одному из самых важных семейств нашей страны — моему. Ну уж, дудки, я это так не оставлю. Я желаю, чтобы лицей вновь носил имя Салвадора Коррейи, и буду бороться за это всеми силами. Прикажу изготовить статую моего деда с тем, чтобы установить ее у входа в здание. Достаточно большую статую, из бронзы, на постаменте из белого мрамора. Считаешь, будет хорошо — из мрамора? Салвадор Коррейя верхом на коне с презрением попирает голландских поселенцев. Главное — шпага. Куплю настоящую шпагу, он действовал шпагой или нет? Да, настоящую шпагу, больше меча Афонсу Энрикеша[4]. А ты сочинишь текст для мемориальной доски. Что-то в роде: “Салвадору Коррейе, освободителю Анголы, с благодарностью от Родины и хлебопекарен ‘Союз

1. Нгола Килуанжи (ум. в 1617) — правитель государства Ндонго (Ангола) в момент прибытия португальцев. В союзе с соседними государствами проводил политику сопротивления португальцам.
2. Жинга Мбанди Нгола (1582–1663) — правительница государства Ндонго, дочь Нгола Килуанжи. Проводила политику, направленную против господства португальцев.
3. Эштасиу де Са (1520–1567) — португальский военачальник и администратор. В 1564 г. командовал эскадрой, отвоевавшей у французов острова в бухте Рио-де-Жанейро. В ходе экспедиции основал город Сан-Себастьян-ду-Рио-де-Жанейро (впоследствии Рио-де-Жанейро).
4. Афонсу I Энрикеш (1109–1185) — первый король Португалии.

Маримба'", так или иначе, не имеет значения, но с уважением, черт побери, с уважением! Подумай над этим, а потом скажешь мне что-нибудь. Слушай, я тебе тут принес авейрские овуш-молеш[1], любишь овуш-молеш? Это лучшие авейрские овуш-молеш, на этот раз made in Какуаку, лучшие овуш-молеш во всей Африке и окрестностях, да и во всем мире, даже еще лучше, чем настоящие. Изготовлены моим главным кондитером, он из Ильяво, ты бывал в Ильяво? ну так должен побывать, вы приезжаете на пару дней в Лиссабон и воображаете, что знаете Португалию, но ты попробуй, попробуй, а потом скажешь мне, прав я или нет. Так, значит, я потомок Салвадора Коррейи, черт побери! и только сейчас об этом узнаю. Отлично. Жена будет счастлива.

Дитя сурового времени

Анжела Лусия появилась спустя несколько минут после того, как откланялся Министр. По-видимому, жара совсем на нее не действовала. Она вошла чистая и опрятная, косы излучали свет, на загорелой коже — свежий блеск граната. В общем, праздник:

— Не помешала?

Ни в вопросе, ни в улыбке не было ни тени смущения, впрочем, если бы и помешала, это вряд ли бы ее остановило. Скорее, это была провокация. Мой друг боязливо поцеловал ее в щеку. Один-единственный раз.

— Ты никогда не мешаешь...

Женщина обняла его.

— Ты такой милый!

Позже, уже ночью, Феликс признался:

— Как-нибудь потеряю голову и поцелую ее в губы.

Ему хотелось заключить ее в объятия и прижать к стене, как если бы она была одной из тех девиц, которых он время от времени приводит к себе домой. Это было бы непросто. Хрупкость Анжелы Лусии — могу поклясться — чистая хитрость. В этот раз она поменяла роли, в мгновение ока превратившись из голубки в удава:

— Твой дед, вон там, на портрете, — вылитый Фредерик Дуглас.

Феликс покорно взглянул на нее:

1. Овуш-молеш (*порт.* ovos moles — мягкие яйца) — сладкая масса, приготавливаемая из сахара, воды, желтков и рисовой муки; традиционный десерт района Авейру (город в Португалии). Город Ильяву располагается в 5 км от Авейру.

— А, ты его узнала? Ну что ты хочешь? Это, что называется, издержки профессии. Я создаю сюжеты по роду занятий. За день столько всего сочиняю и с таким увлечением, что иногда к вечеру запутываюсь в лабиринте своих собственных фантазий. Да, это Фредерик Дуглас, я купил этот портрет на уличной ярмарке в Нью-Йорке. Но тот, кто притащил сюда это кресло, в котором ты сейчас сидишь, на самом деле был одним из моих прадедов, или, вернее, дедом моего приемного отца. Не считая портрета, история, которую я тебе рассказал, подлинная. По крайней мере, насколько мне помнится. Я знаю, что иногда у меня бывают фальшивые воспоминания, — у всех бывают, не так ли? — психологи это исследовали, но, думаю, это — подлинное.

— Верю. Зато твой друг, господин Жузе Бухман, — чистая выдумка, ведь так? ты его выдумал...

Феликс бурно запротестовал. Да нет же, с какой стати! мол, скажи ему об этом кто-то другой, он мог бы и обидеться, даже очень обидеться, хотя, если подумать, такое предположение следовало бы воспринимать как комплимент, поскольку только сама реальность способна породить столь невероятную фигуру, как Жузе Бухман:

— Когда я слышу о чем-то действительно невероятном, сразу верю. Жузе Бухман невозможен, не так ли? Мы оба так считаем, значит, он настоящий.

Анжела Лусия ценит парадоксы. Она рассмеялась. Феликс воспользовался этим, чтобы сменить тему:

— Уж коли речь зашла о семейных историях, знаешь, ты ведь никогда не рассказывала мне своей? Мне практически ничего о тебе неизвестно...

Она пожала плечами. Можно было бы изложить ее биографию, сказала она, всего в пяти строчках. Родилась в Луанде. Выросла в Луанде. Однажды решила выехать из страны и путешествовать. Много ездила, постоянно фотографировала и, наконец, вернулась. Ей хотелось бы и дальше путешествовать и фотографировать. Это то, что она умеет делать. В ее жизни не было ничего интересного, разве что два-три интересных человека, встреченных ею на жизненном пути. Феликс не отставал. Она единственная дочь или, наоборот, выросла в окружении братьев и сестер? А родители, чем они занимались? Анжела выглядела недовольной. Она встала. Снова села. Она была единственным ребенком в течение четырех лет. Потом появились две сестры и брат. Отец был архитектором, мать — стюардессой. Отец не был алкоголиком, даже не брал в рот спиртного, и никогда не приставал к ней в сексуальном плане. Родители любили друг друга; по воскресеньям отец неизменно

преподносил матери цветы, а она в ответ сочиняла ему стихи. Даже в самые трудные годы — она родилась в семьдесят седьмом, дитя сурового времени, — они ни в чем не испытывали недостатка. У нее было простое и счастливое детство. Иными словами, ее жизнь не тянет на роман, еще меньше — на современный роман. В наши дни невозможно написать роман, даже рассказ, в котором главную героиню не изнасиловал бы пьяница отец. Ее единственный талант в детстве, продолжала она, заключался в рисовании радуги. В детстве она только тем и занималась, что рисовала радугу. Однажды, когда ей исполнилось двенадцать лет, отец подарил ей фотоаппарат, простенькую мыльницу, и она перестала рисовать радугу. Начала ее фотографировать. Вздохнула:

— Так и фотографирую до сих пор.

Феликс познакомился с Анжелой Лусией на открытии выставки живописи. Думаю — хотя это всего лишь предположение, — что он влюбился в нее, как только они перекинулись парой слов, поскольку вся жизнь готовила его к тому, чтобы капитулировать перед первой женщиной, которая при виде его в ужасе не отшатнется. Когда я говорю "отшатнется", поймите правильно, это не следует понимать буквально. Знакомясь с Феликсом, некоторые женщины действительно отшатываются: делают короткий шаг назад, одновременно протягивая ему руку. Но большинство отшатываются в душе, то есть протягивают ему руку (или подставляют лицо), говорят "очень приятно", а вслед за этим отводят взгляд и бросают какое-нибудь вялое замечание относительно погоды. Анжела Лусия подставила ему лицо, он поцеловал ее, она поцеловала его, а потом сказала:

— Впервые целую альбиноса.

Когда Феликс объяснил ей, чем занимается — "специалист по генеалогии", — он всегда так говорит, представляясь новым людям, она тут же проявила интерес:

— Серьезно?! Вы первый специалист по генеалогии, которого я знаю.

Они вместе вышли с выставки и продолжили разговор на террасе бара, под звездами, напротив черных вод залива. В тот вечер, рассказал мне Феликс, говорил только он. Анжела Лусия наделена редким талантом: она обладает способностью поддерживать разговор, почти не участвуя в нем. Затем мой друг вернулся домой и сказал мне:

— Я познакомился с необыкновенной женщиной. Ах, дружище, мне не хватает точных слов, чтобы ее определить, — она вся из света!

Я счел это преувеличением. Где свет, там и тень.

Сон № 5

Жузе Бухман улыбался. Слегка насмешливо. Мы сидели в роскошном вагоне старого парового поезда. Холст, висевший на одной из стен, озарял все вокруг слабым медным отсветом. Я обратил внимание на шахматную доску, из черного дерева и слоновой кости, лежавшую на маленьком столике между нами. В моей памяти не сохранилось воспоминания о том, чтобы я двигал фигуры, но игра уже шла полным ходом. На стороне фотографа было явное преимущество.

— Наконец-то, — сказал он. — Вот уже несколько дней, как я об этом мечтаю. Я хотел вас видеть. Я хотел узнать, как вы выглядите.

— Значит, вы считаете, что этот разговор происходит в действительности?

— Разговор — конечно, вот обстоятельства, да, лишены субстанции. Во всем, что человеку снится, есть правда, даже если нет правдоподобия. К примеру, цветущая гуява, некогда затерянная среди страниц толстого романа, может порадовать своим призрачным запахом не одну конкретную гостиную.

Я был вынужден согласиться. Иногда, например, мне снится, что я летаю. И ведь я никогда не летал так достоверно, даже уверенно, как в снах. Полет на самолете, в те времена, когда я летал на самолете, никогда не вызывал у меня подобного ощущения свободы. Смерть моей бабушки я оплакивал в снах сильнее и искреннее, чем горевал наяву. С другой стороны, по поводу гибели некоторых литературных героев я проливал слезы, которые были подлиннее слез, пролитых по поводу кончины многих друзей и родственников. Наименее реальным из всего мне казался холст на стене, позади Жузе Бухмана: печальная композиция, не по теме, поскольку было невозможно угадать, что там была за тема: это-то, вероятно, и является самым большим достоинством современного искусства. Вечер быстро входил в окна. Перед нашим взором пробегали пляжи, кокосовые пальмы, увешанные плодами, длинные растрепанные кроны казуарин[1]. Еще мы видели море, далеко в глубине, пылающее гигантским синим пожаром. Поезд замедлил ход на подъеме. Старый механический монстр-астматик тяжело дышал, почти задыхался. Жузе Бухман двинул вперед королеву, угрожая моему коню. Я подставил ему пешку. Он рассеянно посмотрел на нее:

— Правда неправдоподобна.

1. Казуарины — вечнозеленые кустарники или деревья.

Вспыхнул улыбкой.

— Ложь, — объяснил он, — повсюду. Сама природа лжет. Что такое маскировка, к примеру, если не ложь? Хамелеон притворяется листком, чтобы обмануть бедную бабочку. Лжет ей, говоря: "сиди спокойно, дорогая, разве ты не видишь, что я всего лишь зеленый листок, трепещущий на ветру?" — а затем высовывает язык со скоростью шестьсот двадцать пять сантиметров в секунду и съедает ее.

Он съел пешку. Я хранил молчание, ошеломленный признанием и сверканием моря вдали. Мне на память пришла лишь чья-то фраза:

— Ненавижу ложь, поскольку она являет собой неточность.

Жузе Бухман узнал цитату. Мгновение взвешивал ее, измеряя прочность и механику слов, эффективность:

— Правда тоже неоднозначна. В противном случае она была бы истиной, невероятно далекой от человека.

Он все больше оживлялся, по мере того как говорил: "Вы процитировали Рикарду Рейша[1]. Разрешите мне процитировать Монтеня: "Ничто из того, что кажется настоящим, не может не показаться ложным". Существуют десятки профессий, в которых умение лгать является достоинством. Я имею в виду дипломатов, государственных деятелей, адвокатов, актеров, писателей, шахматистов. Я имею в виду нашего общего друга Феликса Вентуру, без которого мы бы не познакомились. Назовите мне какую-нибудь профессию, хотя бы одну, которая никогда не прибегала бы ко лжи и в которой человек, говорящий только правду, ценился бы по-настоящему?"

Я почувствовал себя загнанным в угол. Он двинул одного из слонов. В ответ я двинул вперед коня. Как-то на днях я видел по телевизору баскетболиста, простодушного парня, который жаловался на журналистов:

— Иногда они пишут то, что я сказал, а не то, что я хотел сказать.

Я пересказал это Бухману, и он от души рассмеялся. Я уже находил его не таким антипатичным. Паровоз протяжно свистнул. Удивленный вой не спеша разворачивался, как красная лента, по четкой кромке берега. Группа рыбаков на берегу махала поезду. Жузе Бухман ответил на приветствие широким взмахом. Несколькими минутами раньше, во время короткой остановки, он перегнулся через окно, чтобы купить манго. Я

1. Рикарду Рейш — один из наиболее известных гетеронимов, альтер эго крупнейшего португальского поэта Фернанду Пессоа (1888–1935).

слышал, как он торговался на каком-то герметическом, певучем языке, который казался состоящим из одних гласных. Он сказал мне, что говорит на английском с разными акцентами; говорит также на разных немецких диалектах, на французском (парижском) и итальянском. Он уверил меня, что так же свободно способен изъясняться на арабском или румынском.

– Я говорю даже на блатерарском, – иронизировал он, – секретном языке верблюдов. Говорю на хрюканье, как прирожденный кабан. Говорю на жужжании, стрекотании и – обратите внимание, поверьте, – даже на карканье. В безлюдном саду я мог бы обсуждать философские проблемы с магнолиями.

Он очистил одно манго перочинным ножом, разрезал его пополам и протянул мне тот кусок, что побольше. Съел свой. Рассказал, что на маленьком островке в Тихом океане, где он прожил несколько месяцев, ложь считалась одним из самых твердых основ общества. Министерство информации, уважаемое учреждение, почти священное, было уполномочено создавать и распространять ложные новости. Как только их запускали в народ, эти новости росли, обретали новые формы, возможно, противоречивые, порождая широкие народные движения и приводя в движение общество. Представим себе, что безработица достигла уровней, считающихся критическими. Министерство информации, или просто Министерство, начинало распространять известия, согласно которым в глубинных водах, хотя всецело в пределах морской зоны страны, была обнаружена нефть. Возможность небывалого экономического подъема оживляла торговлю, специалисты, горя желанием принять участие в восстановлении хозяйства, возвращались из-за границы домой, и в считанные месяцы появлялись новые предприятия и новые рабочие места. Не всегда, конечно, все складывалось так, как прогнозировали специалисты. Был, например, случай, когда Министерство, которое, несмотря на название, всегда было структурой независимой от политической власти, бросило на представителя оппозиции, с намерением расстроить его карьеру, подозрение в том, что у него был роман на стороне с одной знаменитой английской певицей. Слух рос и набрал силу; дошло до того, что политик развелся с женой, женился на певице (с которой раньше даже не был знаком), тем самым приобрел огромную популярность и через несколько лет был избран президентом страны.

– Невозможность контролировать слухи, – сказал он в заключение, – вот главное достоинство этой системы. Это наделяет Министерство почти божественной природой – шах королю!

Я понял, что проиграл. Решил рискнуть и предложил ему королеву.

— Феликс Вентура говорит, что верит всему, что кажется невозможным, — и поэтому он верит в вас...

— Он так говорит?

— Говорит. Я не верю. Ни в вас, ни в Анжелу Лусию. Всякий раз, когда два события сталкиваются друг с другом и мы не знаем почему, мы говорим, что это было случайностью, совпадением. То, что мы зовем случайностью, нам следовало бы назвать неведением.

— Вас не удивляет тот факт, что два фотографа, мужчина и женщина, оба после долгих скитаний, возвращаются в страну в одно и то же время?

— Меня — нет, в конце концов, я один из этих фотографов. Но я нахожу естественным, что вас это удивляет. Совпадения, мой друг, всегда удивляют, деревья всегда производят тень, и первое, и второе — в порядке вещей. Шах и мат.

Я положил своего короля (белого) и проснулся.

Реальные персонажи

Министр пишет книгу, "Подлинная жизнь одного бойца", толстый том мемуаров, который намеревается выпустить до Рождества. Чтобы быть точным, рука, которая пишет, наемная, и зовется она Феликс Вентура. Мой друг отдает этой работе большую часть дня, вплоть до самого вечера. Закончив очередную главу, тут же читает ее будущему автору, они обсуждают ту или иную деталь, он учитывает замечания, исправляет то, что надо исправить, и так они продвигаются. Феликс сшивает вместе реальность с вымыслом — умело, тщательно, принимая во внимание даты и исторические факты. Министр ведет в книге диалог с реальными персонажами (в некоторых случаях — с Реальными Персонажами), и необходимо все сделать так, чтобы указанные персонажи назавтра поверили, что действительно обменивались с ним признаниями и мнениями. Наша память в значительной степени питается тем, что помнят о нас другие. Мы склонны воспринимать чужие воспоминания как свои собственные, — даже вымышленные.

— Это как замок Святого Георгия в Лиссабоне, знаешь? Он с зубцами, но зубцы эти фальшивые. Антониу де Оливейра Салазар[1] приказал добавить крепости зубцы, чтобы она была

1. Антониу де Оливейра Салазар (1889–1970) — португальский диктатор.

больше похожа на настоящую. Крепость без зубцов казалась ему неправильной, даже несколько уродливой, как верблюд без горбов. Именно эта фальшь — зубцы — заставляет воспринимать замок Святого Георгия как аутентичный. Некоторые восьмидесятилетние лиссабонцы, с которыми я беседовал, убеждены, что замок испокон веков стоял с зубцами. Забавно, ты не находишь? А будь они подлинными, никто бы его таковым не воспринимал.

Так что когда "Подлинная жизнь одного бойца" будет опубликована, история Анголы приобретет новую консистенцию, она еще больше станет Историей. Книга послужит отправной точкой для будущих произведений, в которых пойдет речь о борьбе за национальное освобождение, о смутном времени, наступившем вслед за обретением независимости, о широком движении за демократизацию страны. Приведу несколько примеров:

1) В начале семидесятых годов Министр был молодым почтовым служащим в Луанде. Играл ударником в рок-группе "Невыразимые". Больше интересовался женщинами, чем политикой. Такова правда, так сказать, проза жизни. В книге же Министр признается, что уже в то время занимался политической деятельностью, сражаясь в подполье, в глубоком-глубоком подполье, с португальским колониализмом. Вдохновленный неистовой кровью своих предков — он неоднократно упоминает Салвадора Коррейю де Са и Беневидеша, — создал в поддержку освободительного движения ячейку на почте. Группа специализировалась на распространении листовок внутри корреспонденции, адресованной колониальным служащим. Трое из членов ячейки, в том числе и Министр, были выданы португальской политической полиции и арестованы двадцатого апреля тысяча девятьсот семьдесят четвертого года. Не исключено, что Революция гвоздик спасла им жизнь.

2) Министр покинул Анголу в тысяча девятьсот семьдесят четвертом, за несколько недель до независимости, и нашел прибежище в Лиссабоне. Он по-прежнему больше интересовался женщинами, чем политикой. Голод не тетка, и он тиснул объявление в одной популярной газете: "Магистр Маримбу — избавляет от сглаза, порчи, душевных недугов. Гарантирован успех в любви и бизнесе". Это было не столько объявление, сколько предсказание. За считанные месяцы он разбогател (прямо по волшебству). Женщины десятками шли к нему на консультацию. Чаще всего они стремились вернуть себе расположение супруга, отдалить его от любовницы, поправить незадавшийся брак. Другие всего лишь хотели, чтобы их кто-

то выслушал. Он их выслушивал. Клиентки благодарили исходя из своих возможностей. Дамы среднего достатка дарили ему вязаные свитера, чтобы пережить зимний холод, свежие яйца, банки с компотом. Более состоятельные вручали чеки на внушительные суммы, присылали на дом электробытовые приборы, хорошую обувь, фирменную одежду. Одна красотка-блондинка, замужем за известным футболистом, предложила саму себя, и в довершение оставила ему ключи от машины, багажник которой ломился от бутылок виски. После первых выборов Министр вернулся в Луанду и с помощью капитала, накопленного за столько лет утешения несчастливых в браке женщин, организовал сеть булочных — хлебопекарни "Союз Маримба". Такова правда, которую Министр поведал Феликсу. Для истории же останется та правда, которую в уста Министра вложил Феликс: в тысяча девятьсот семьдесят пятом году Министр, разочарованный ходом событий, а еще потому, что он отказывался участвовать в братоубийственной войне ("мы так не договаривались"), уехал в Португалию. Вспомнив уроки деда по отцовской линии, знающего человека, глубокого знатока лекарственных растений Анголы, основал в Лиссабоне клинику, специализирующуюся на альтернативной африканской медицине. Вернулся на родину в тысяча девятьсот девяностом году, по окончании гражданской войны, с твердым намерением внести вклад в восстановление страны. Он хотел дать народу хлеб-наш-насущный. Так он и поступил.

3) Возвращение Министра ознаменовало также его вступление в политику. Он начал с оплаты услуг некоторых элементов так называемых структур с тем, чтобы ускорить юридическое оформление своих пекарен, и вскоре стал вхож в дом к министрам и генералам. Хватило двух лет, чтобы его самого назначили Госсекретарем по экономической прозрачности и борьбе с коррупцией. В "Подлинной жизни одного бойца" Министр объясняет, как он, движимый исключительно великими и серьезными принципами патриотизма, принял этот первый вызов. Сегодня он является Министром хлебной и молочной промышленности.

Антиклимакс

Существуют люди, которые с самого раннего возраста обнаруживают в себе подлинный талант невезучести. Несчастье сваливается им на голову, почитай, через день, и они встречают его со смиренным вздохом. Существуют и другие — наоборот, со странной склонностью к счастью. Этих влечет к себе ла-

зурь, тех — упоение бездной. Есть люди, склонные к мечтательности (некоторые неплохо вознаграждены за это); есть люди, рожденные для работы — практичные, конкретные и неутомимые, и есть люди, словно реки, которые текут от истока к устью, почти никогда не покидая русла. Случай Жузе Бухмана представляется мне еще более редким: он питает слабость к сюрпризам. Ему нравится изумлять окружающих. Нравится и самому чувствовать себя огорошенным:

— Однажды кто-то мне сказал: ты всего-навсего авантюрист. Высказал мне это с презрением, словно плюнул. И, тем не менее, я считаю, что он попал в точку. Я ищу приключений, иными словами, непредвиденного, всего, что отдаляет меня от скуки, как другие рыщут в поисках спиртного или игры. Это порок.

Феликс Вентура смотрит на него с явным недоверием. Хочет задать ему естественный вопрос: вы напали на след своей матери? — но ему также известно, что это путь к капитуляции. Он рассказал мне — недавно, когда мы друг другу приснились, — случай со своим другом, актером Орланду Сержиу. Того на улице частенько путают с персонажем, которого он играет в популярном телесериале. Люди его обнимают, поздравляют или ругают, одобряя или порицая действия его героя. Мало кто знает его под настоящим именем. Некоторые сердятся, когда он, чтобы избежать наставлений и выговоров, ссылается на положение актера:

— Меня зовут Орланду Сержиу. Вы меня путаете...

— Не шутите, старина, не шутите так! Послушайте моего совета, имейте немного терпения, разве я не знаю, кто вы такой?

Феликс чувствует, что угодил в ту же ловушку. Вчера Жузе Бухман вернулся из Южной Африки. Он пришел, вырядившись Полковником Тапиокой[1]: в хаки с головы до ног, в длинных бермудах и жилетке, полной карманов. В ходе рассказа он извлекает из карманов — с той же ловкостью, с которой фокусник в цирке вытаскивает из шляпы кроликов, — различные предметы:

а) Небольшую бронзовую жабу.

— Миленькая, вы не находите? Нет? Не любите жаб? Ну а я, дружище, люблю. Знаете, в разных культурах жаба является символом преображения, духовной метаморфозы, представляя собой переход на высшую ступень сознания. А все дело в

1. "Полковник Тапиока" — сеть магазинов одежды для отдыха в тропических странах.

сложном процессе метаморфоз, испытываемых жабами, а также в известных, по крайней мере, некоторым коренным жителям Америки, галлюциногенных свойствах яда, вырабатываемого некоторыми видами. Вот эта — Bufo alvarius[1], жаба из пустыни Сонора. Я купил ее у антиквара в Кейптауне. Она стояла на витрине, и я зашел, чтобы ее купить, поскольку интересуюсь жабами. Если бы я не интересовался жабами, если бы не зашел в ту лавку, то не обнаружил бы вот это:

б) Акварель размером чуть больше почтовой открытки.

— Бегущие газели. Взгляните на движение травы, на газелей, парящих над травой, это похоже на танец. А теперь обратите внимание на подпись, здесь, в уголке, удается разобрать? Ева Миллер. И наконец обратите внимание на дату: пятнадцатое августа тысяча девятьсот девяностого года. Необычно, не правда ли?

Я заметил, что Феликс испугался. Он держал акварель пальцами, осторожно, словно боялся, что невероятность предмета может подвергнуть опасности его же конкретность.

— Не может быть, — он покачал головой. — Не знаю, чего вы добиваетесь. У меня в голове просто не укладывается, что вы зашли так далеко...

— Скажите на милость! Вы что, думаете, я нарисовал ее сам? Да нет же! Все было именно так, как я вам рассказал. Я нашел ее выставленной у антиквара в Кейптауне, в ворохе рисунков такого же рода. Я полдня провел в поисках других акварелей, подписанных ею, но больше ничего, к несчастью, больше ни одной не нашел. Антиквар купил лот у одного англичанина, который решил покинуть страну вскоре после победы Нелсона Манделы. Он потерял его из виду.

— Значит, вам больше ничего не удалось узнать о Еве Миллер?

Жузе Бухман ответил не сразу. Из другого кармана, с внутренней стороны жилета, он извлек:

в) Тощую пачку цветных фотографий.

— Взгляните. Это здание соответствует адресу в письме, которое Ева Миллер прислала Марии Дункан. Оно находится в белом районе, заселенном мелкими буржуа. Вы бывали в Кейптауне? Это необычное место. Представьте себе огромный shopping centre — современный, с высокими пальмами, украшающими залы. Пальмы просто изумительные. Они из пластика, но это можно обнаружить, лишь прикоснувшись к ним. Кейптаун напоминает мне пластиковую пальму. Впечат-

1. Bufo alvarius — латинское название колорадской жабы.

ляющий город, это я вам говорю, очень чистый, чрезвычайно ухоженный. Достижение, в которое хочется верить. А вот это субъект, живущий в квартире, в которой жила моя мать. Обратили внимание на шрамы? В восьмидесятые годы он жил в Мапуту. Был одной из фигур Южноафриканской коммунистической партии. Однажды сел в машину, включил зажигание, и — бабах! — страшный взрыв, потерял глаз и обе ноги. Он показался мне симпатичным. Один из тех, кто, всю жизнь посвятив борьбе с апартеидом, не сумел толком приспособиться к стране радуги. Он сетует, что уже никто не защищает идеалы, считает, что победа капиталистической модели развратила народ, его раздражает демократия с ее либеральными законами, но что действительно вызывает у него ностальгию, так это потерянная юность, глаз и обе ноги. Он никогда не слышал о Еве Миллер. Однако хозяин квартиры, вот на этой другой фотографии, старик бур, почти столетний, вот он действительно прекрасно помнит мою мать.

Я устроился как раз над ними, повис на потолке, повернув голову вниз, так что мог все внимательно разглядеть. Феликс зажег лампу, чтобы рассмотреть фотографии. Портрет старого бура (черно-белый, как, впрочем, и все другие снимки) был чрезвычайно удачным. Тот сидел в огромном кресле темного дерева. Неяркий боковой свет падал ему на правую сторону лица, освещая застывшее в нем молчание. В правом нижнем углу можно было разглядеть почти потонувший в тени нервный силуэт одной из тех миниатюрных собачек, которых обожают держать при себе состоятельные дамы и которые меня всегда раздражали, поскольку они больше смахивают на дрессированных крыс, нежели на собак.

— Вам нравится снимок? Мне тоже, — Жузе Бухман улыбнулся. — Лучшие портреты не те, что характеризуют личность, а те, что характеризуют эпоху. Ну так вот, этот cota встретил меня с некоторым недоверием, был не слишком разговорчив, зато предложил мне финал для моего путешествия. Хотите взглянуть?

г) Вырезка из йоханнесбургской газеты “У Секулу”.

— Готовы? Полагаю, что это можно назвать антиклимаксом[1]. Вам судить. Читайте!

Феликс повиновался.

— Умерла Ева Миллер. Сегодня во второй половине дня у себя дома, в Sea Point, в Кейптауне, скончалась американская

1. Термином “антиклимакс” в риторике обозначается снижение эмоциональной содержательности и насыщенности; *здесь*: разрядка.

художница Ева Миллер. Госпожа Миллер, которая когда-то жила на юге Анголы и прекрасно говорила на нашем языке, была уважаемой личностью в португальской диаспоре Южной Африки. В последние годы она разрывалась между Кейптауном и Нью-Йорком. Причина ее смерти пока неизвестна.

Маленькие люди

Память — это пейзаж, созерцаемый из окна движущегося поезда. Мы видим, как над акациями разрастается утренняя заря, птицы поклевывают утро, словно фрукт. Дальше мы видим спокойную реку и обнимающую ее рощу. Видим неспешно пасущееся стадо, супружескую пару, которая бежит, взявшись за руки, мальчишек, танцующих футбол, блестящий на солнце мяч (еще одно солнце). Видим невозмутимые озера, где плавают утки, реки с медленными водами, в которых слоны утоляют жажду. Все это разворачивается у нас на глазах; мы знаем, что это происходит на самом деле, но только в отдалении, мы не можем этого коснуться. Некоторые события уже так далеко, а поезд мчится так быстро, что у нас нет уверенности в том, что все это и вправду было. Может, это нам приснилось. Меня уже подводит память, говорим мы, а это всего лишь потемнело небо. Вот что я чувствую, когда думаю о своем предыдущем воплощении. Я помню разрозненные, несвязанные факты, фрагменты длинного сна. Одна женщина на каком-то празднике, уже к концу праздника, когда чувствуешь себя одурманенным дымом, алкоголем, просто усталостью, схватив меня за руку, шептала на ухо:

— Знаете, из моей жизни мог бы получиться роман, да не просто роман, а ого-го какой...

Думаю, это далеко не единичный случай. Большинство людей в жизни не читало великих романов. Сейчас-то я знаю, думаю, что знал и раньше, что все жизни исключительны. Фернанду Пессоа превратил прозаическую биографию мелкого конторского служащего в “Книгу тревог”, которая, возможно, является самым интересным произведением португальской литературы. Услышав на днях из уст Анжелы Лусии признание в том, что ее жизнь ничего такого из себя не представляет, я испытал желание узнать ее получше. Если бы какая-то женщина ухватилась вечером за мою руку, чтобы сказать мне что-то вроде: “знаете, в моей жизни нет ничего примечательного, мое существование сведено к минимуму”, — я бы, наверно, в нее влюбился. Вопреки намекам некоторых из моих врагов, тайно поддержанных кое-кем из моих друзей, я всегда интересовался женщинами. Мне нравились женщины. Я имел обык-

новение совершать с той или иной близкой подругой долгие пешие прогулки. Я обнимал их на прощание, и запах их волос, прикосновение к упругой груди меня возбуждали. Тем не менее, если какая-нибудь из них отваживалась меня поцеловать или предложить мне нечто еще более смелое, чем поцелуй, я вспоминал о Дагмар (Авроре, Альбе или Лусии) и впадал в панику. Долгие годы я жил в плену этого страха.

Эдмунду Барата душ Рейш

Этим вечером Жузе Бухман появился в компании старика с длинной белой бородой, седыми космами, спадавшими по его плечам дикарскими косицами. Я сразу же узнал в нем нищего, которого фотограф преследовал несколько недель подряд, запечатлев его на замечательном снимке — когда тот выныривает из канавы. Древний бог, мститель со всклокоченной шевелюрой и свирепым горящим взглядом.

— Я хочу представить вам моего друга Эдмунду Барата душ Рейша, экс-агента Министерства госбезопасности.

— Экс-эго! скажите лучше, экс-человека! Примерного экс-гражданина. Эксклюзивный экспонат экзистенциальных экскрементов, экстатического и экспрессивного эксплантанта. В двух словах: профессионального бродягу. Очень приятно...

Феликс Вентура протянул ему кончики пальцев. В растерянности, с отвращением. Эдмунду Барата душ Рейш захватил его ладонь своими, крепко, надолго, глядя на него боком (как птица) и, тем не менее, внимательно, насмешливо, наслаждаясь его дискомфортом. Жузе Бухман, одетый в красивый пиджак из бумазеи медового цвета, скрестив руки на груди, тоже, казалось, забавлялся. Маленькие круглые глазки поблескивали в полумраке гостиной, словно стеклянные бусины:

— Я подумал, может, вам будет любопытно с ним познакомиться. Жизнь этого человека словно придумана вами...

— Простите?

— Я Всеслышащее Ухо. Так меня звали. Моя подпольная кличка. Мне нравилась. Мне нравилось слушать. А потом — бац! — на нас рухнула Берлинская стена. Опа-на, старичок! Был агент, стал экскремент.

Феликс Вентура вздрогнул:

— Вы были учеником профессора Гашпара?

Эдмунду Барата душ Рейш удивленно улыбнулся:

— О! Да-да. Вы, товарищ, тоже?

Оба обнялись с искренней радостью. Поделились воспоминаниями. Барата душ Рейш, бывший на пару лет старше Феликс

са Вентуры, посещал уроки профессора Гашпара в то время, когда в Лицее имени Салвадора Коррейи чернокожих студентов можно было пересчитать по пальцам. Закончив лицей, он поступил в метеорологическую службу. В шестьдесят каком-то году был арестован, обвинен в попытке создания в Луанде подрывной организации, провел семь лет в концлагере Таррафал[1], на островах Зеленого Мыса. "Курятник, — охарактеризовал он его, — но пляж был замечательный". Спустя несколько недель после обретения независимости его уже знали, — друзья и недруги, и всегда больше вторые, чем первые, — как господина Всеслышащее Ухо. Два года в Гаване, девять месяцев в Берлине (Восточном), еще шесть в Москве, и вот так, закалив сталь, — обратно в окопы, защищать социализм в Африке.

— Коммунист! Верите? Я последний коммунист к югу от экватора...

Это упорство его и подвело. В считанные месяцы он превратился в идеологическую помеху. Неудобного субъекта. Ему ничего не стоило кричать: "Я коммунист!" — в то время, когда его начальники только потихоньку шептали: "Я был коммунистом". Он продолжал вопить "я коммунист, да, я подлинный марксист-ленинец!" даже после того, как произошло официальное отречение от социалистического прошлого страны.

— Я всякого перевидал, приятель!

Жузе Бухман сел, вытянув ноги, в огромное плетеное кресло, которое прадед Феликса Вентуры привез из Бразилии. Сунул правую руку во внутренний карман пиджака, вытащил серебряный портсигар, неторопливо взял щепотку табака и свернул папиросу. На его лице заиграла лукавая улыбка:

— Расскажи-ка ему, что ты рассказывал мне, Эдмунду, — историю с Президентом...

Эдмунду Барата душ Рейш молча взглянул на него — хмуро, возмущенно, с силой дергая себя за бороду. В какое-то мгновение я даже подумал, что он собирается подняться. Побоялся, что увижу, как он выходит. Жузе Бухман пожал плечами:

— Можешь говорить, черт возьми! Это не подстава. Феликс — человек надежный. Свой. К тому же вы оба ученики этого знаменитого профессора Гашпара, не так ли? Это уже о чем-то говорит. Феликс сказал мне, что это все равно, что принадлежать к одному племени...

— Президента подменили двойником, — Эдмунду Барата душ Рейш выпалил это залпом и замолчал. Глаза его с беспокой-

1. Концлагерь для политических заключенных был организован в поселке Таррафал в 1936 г., закрыт в 1954 г. В 1961 г. он был вновь открыт — для заключенных из португальских колоний.

ством забегали по гостиной. Он был похож на воробья, который мечется в поисках открытого окна, кусочка неба, куда можно выпорхнуть. Понизил голос: — Заменили старого. Посадили двойника на его место — чучело, не знаю, как это сказать, ну, вроде копии.

— Иди ты на ...! — Феликс разразился хохотом.

Я ни разу не слышал, чтобы он произнес что-то непристойное. И не слышал, чтобы он вот так смеялся, с подобной разнузданностью. Жузе Бухман испугался. Потом тоже засмеялся. Они хохотали вдвоем. Мы хохотали втроем. Один раскат следовал за другим. Наконец Феликс успокоился.

— В таком случае у нас вымышленный президент, — сказал он, вытирая слезы платком. — Я это подозревал. У нас вымышленное правительство. Вымышленная судебная система. Короче, у нас вымышленная страна. Но расскажите-ка мне — кто же это подменил президента?

Эдмунду Барата душ Рейш сжался на стуле. Он уже не напоминал бога, еще меньше воинственного бога, больше смахивал на жалкого щенка. От него несло. Запах мочи, прелых листьев и гниющих плодов. Он встал и, вместо того чтобы ответить альбиносу, повернулся к Жузе Бухману, тыча пальцем:

— Этот хохот... Слышу я этот смех, приятель, и вижу другого человека, давным-давно. В другое время. В старое время. Мы не были знакомы раньше?

— Не думаю, — фотограф напрягся. — Я из Шибиа. Вы из Шибиа?

— Да ты че, приятель? Я коренной луандец...

— Ну, тогда извини.

— Да, — подтвердил Феликс Вентура, — Бухман приехал из провинции, с крайнего юга. Из деревенской глуши...

— Глуши? Наша глушь похожа на сад. А вот ваши сады, здесь, в Луанде, немногие, что остались, похожи на дремучие леса.

— Уймитесь. Долой племенную рознь. Долой регионализм. Да здравствует народная власть — разве не так говорили раньше? Я бы хотел, чтобы товарищ Эдмунду прямо здесь ответил на мой вопрос. В конце-то концов, кто подменил президента двойником?

Эдмунду Барата душ Рейш глубоко вздохнул:

— Думаю, русские. Может, израильтяне. Оружейная мафия, "Моссад", почем я знаю, оба несчастья сразу.

— Может быть. Не лишено оснований. А как вы обнаружили подмену?

— Я знаком с двойником. Я его нанимал! Я нанимал и других. Прежний никогда не появлялся на публике. Появлялись

его двойники. Тот, Третий, всегда был лучшим. Единственный, кто мог говорить, не вызывая подозрений, другие хранили молчание, мы использовали их только на торжественных церемониях. Третий был особый случай, редкий талант, настоящий актер, я участвовал в его подготовке. Она заняла у нас пять месяцев. Он все схватывал на лету. Как двигаться, как обращаться к людям, тон голоса, протокол, биография прежнего, все это. Он все довел до совершенства. Или почти — у муадье была проблема, я хочу сказать, у него есть проблема, он левша. Даже этим он похож на отражение президента в зеркале. Поэтому я его узнал. Вы не замечали, что президент вдруг взял и превратился в левшу? Нет, не замечали. Никто не заметил.

— Когда вы это обнаружили?

— Год назад, год с небольшим.

— Вы еще продолжали работать на безопасность?

— Я?! Кота[1], я бродяжничаю вот уже больше семи лет. Видите эту рубашку? Она приросла к телу. Это рубашка Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик. Я надел ее в тот день, когда меня уволили, и уже больше не снимал. Поклялся, что не сниму, пока Россия не станет вновь коммунистической. Сейчас, даже если захочу, не смогу ее снять. Приросла к телу, видите? Серп и молот отпечатались на груди. Это уже не сойдет.

И впрямь не сходило. Феликс Вентура уставился на него, словно громом пораженный. Жузе Бухман улыбался, словно говоря: "Ну что — разве не феномен?" Эдмунду Барата душ Рейш вновь принял позу древнего воинственного бога. С силой тряхнул седыми косищами, распространяя вокруг себя жуткое зловоние.

— Как насчет супа? — поинтересовался он. — Не найдется ли у вас супа?

* * *

— Это сумасшедший! — уверенно заявил Феликс после ухода Эдмунду Бараты душ Рейша. Он твердо произнес это не раз и не два. Он не собирался больше терять на него время. И все же Жузе Бухман настаивал:

— Мне известны и более странные вещи.

— Послушайте, человек совершенно безумен. Рехнулся. Вы много времени провели за границей, путешествуя, не представляете себе, через что мы прошли в этой проклятой стране. Луанда полна людей, которые кажутся совершенно здра-

1. Кота — обращение, заимствованное из кимбунду, можно перевести как "уважаемый".

вомыслящими, и ни стого ни с сего начинают говорить на несуществующих языках, или плакать без видимой причины, или смеяться, или изрыгать проклятия. Некоторые проделывают все это разом. Некоторые считают себя мертвыми. Другие и впрямь мертвы, и до сих пор никто не отважился сообщить им об этом. Некоторые верят, что могут летать. Другие в это настолько уверовали, что на самом деле летают. Это ярмарка безумцев, этот город, здесь, на улицах, среди развалин, встречаются патологии, которые до сих пор даже не классифицированы. Не принимайте всерьез все, что вам говорят. Впрочем, хотите совет? Не принимайте никого всерьез.

— А может, на самом деле он и не безумен. Может, он прикидывается сумасшедшим.

— Не вижу разницы. Субъект, который предпочел жить на улице, в траншее, который верит в возвращение России к коммунизму и который вдобавок хочет, чтобы его приняли за сумасшедшего, — для меня сумасшедший.

— Может, и так. Может, и нет, — Жузе Бухман выглядел разочарованным. — Мне хотелось бы узнать его поближе.

Любовь, преступление

— В те годы нам тут жилось несладко.

Феликс вздохнул. Стояла удушающая жара. На стенах выступала влага. И, тем не менее, он сидел в большом плетеном кресле очень прямо, в отлично сшитом темно-синем костюме, который подчеркивал блеск его кожи. От него веяло достоинством. Напротив, устроившись на шелковой кушетке, в цветастой майке и красных шортах, Анжела Лусия слушала его с улыбкой.

— Было время, когда я все делал сам, потому что не мог платить домработнице. Убирал в квартире, стирал белье, готовил пищу, ухаживал за растениями. Вдобавок не было воды, и я был вынужден ходить за ней с жестянкой на голове, как простая женщина, к дыре, которую кто-то пробил в асфальте, — там, у поворота на кладбище, в глубине улицы. Я выдержал все эти годы, потому что у меня был Вентура. Я кричал: “Вентура, иди мой посуду”, — и Вентура шел. Кричал: “Вентура, отправляйся, принеси еще воды”, и Вентура отправлялся за водой.

— Вентура?!

— Я сам, Вентура. Это был мой двойник. В определенную пору жизни мы все прибегаем к двойнику.

Анжела Лусия нашла остроумной теорию Эдмунду Бараты душ Рейша. Ей страшно понравилась идея с двойниками. Они

вместе посмотрели несколько кассет, в которых появляется Президент. У Феликса Вентуры — по-моему, я уже об этом говорил — имеется коллекция, насчитывающая не одну сотню видеокассет. Они с удивлением удостоверились в том, что в более давних записях старик подписывает документы правой рукой. В недавних — всегда действует левой. Анжела Лусия также обратила внимание на то, что в некоторых кадрах у него имеется небольшая бородавка над левым глазом. В других — нет.

— Может, он ее свел, — возразил Феликс. — Сейчас люди сводят родинки на теле с той же легкостью, с какой отмывают чернильное пятно.

Анжела заметила, что президент с бородавкой появляется на записях, сделанных и до, и после записей президента без бородавки.

— Это может быть только один из двойников!

Они провели за этой игрой весь вечер. По прошествии пяти часов — уже была поздняя ночь — они идентифицировали, по меньшей мере, трех двойников: одного с бородавкой, другого с небольшой лысиной, и третьего, в глазах которого, клялась Анжела, был безмятежный блеск моря.

— В отношении блесков я не берусь с тобой спорить, — сказал Феликс. Вот тогда-то он вспомнил эпизод с Вентурой, двойником. — Поверь. В те годы нам тут жилось несладко.

Женщине хотелось знать, как же он устраивался в то время, чтобы выжить. Феликс пожал плечами. Кое-как перебивался, пробормотал он, сначала давал читать романы — Эса, Камилу, Жоржи Амаду, — поскольку мало у кого были деньги, чтобы их купить. Позже стал отправлять посылки с книгами в Лиссабон, и отец продавал их букинистам или избранным клиентам. В тревожные месяцы, предшествовавшие независимости, Фаушту Бендиту Вентура сумел по дешевке скупить у впавших в отчаяние колонистов великолепные библиотеки. Он обменял серебряное кольцо на переплетенную подшивку ангольских газет XIX века. Медицинская библиотека в хорошем состоянии, насчитывающая более ста томов, стоила ему шелкового галстука, а за полдюжины долларов ему достались пятнадцать коробок, набитых книгами по истории. Спустя несколько лет кто-то из прежних колонистов выкупил у него книги, присланные в посылках по десять штук, по реальной цене.

— Это оказалось прибыльным делом.

От пола поднимался жар. В дверные щели медленными волнами, наполненными соленым запахом моря и его шумом, изумлением рыб, неярким лунным светом, проникал влажный сквозняк. У Анжелы Лусии блестела кожа. Блузка облегала грудь. Феликс не снимал пиджак. Должно быть, он сварился в

нем. Я мечтал лишь о том, чтобы юркнуть в прохладную щель. Я отправился на кухню; оттуда, сверху, из верхней части окна, открывался вид — за оградой двора — на огни предместья, а за ними — огромная черная пропасть и звезды. Черная пропасть была морем. Я долго сидел и смотрел на него. Представил, как я в тишине погружаюсь, зажмурившись, как когда-то прежде, сердце заходится, руки раздвигают воду, в ногах — приятный холод, который поднимается выше, пока не доходит до пояса. Это меня освежило. Вернувшись в гостиную, я увидел, что Феликс снял пиджак и уселся на подушки перед телевизором, обняв Анжелу. Вентилятор под потолком, вяло вращая лопастями, гнал теплый воздух в сторону стен. Вековая пыль, клещи, старые души писателей вырывались на свободу из толстых томов и висели в воздухе, наподобие туманной дымки, расплывчатого сна, освещаемые вспышками телевизора. Беззвучные черно-белые кадры: Президент в президиуме на каком-то собрании. Президент, поднимающий вверх кулак. Президент в тренировочном костюме, играющий в футбол. Президент, здоровающийся с другими президентами. Затем, уже в цвете, кадры, запечатлевшие Президента на открытии парка. "Парк имени экс-героев Шавеша"[1] указывалось на табличке. Анжела засмеялась. Феликс засмеялся. Президент перерезал ленточку. Феликс повернулся к женщине и поцеловал ее в губы. Я увидел, не без изумления, как она закрыла глаза и приняла поцелуй. Услышал ее стон. Альбинос попытался снять с нее блузку. Она не позволила.

— Нет. Это — нет. Не делай этого.

Она приподняла ноги, изящно изогнувшись, и стянула шорты. Прилипшая к телу блузка позволяла угадать очертания круглых испуганных грудей и гладкого живота. Потом она повернулась всем телом, встав на колени над Феликсом. Благодаря плечам, широким, красивым плечам пловчихи, талия казалась более узкой. Мой друг вздохнул:

— Ты такая красивая...

Анжела обхватила его затылок обеими ладонями и поцеловала. Долгим поцелуем.

Лично у меня перехватило дыхание.

* * *

Мать, естественно, была несколько старше меня; по мере того как мы старели, живя бок о бок друг с другом, всегда бок о

1. Героями Шавеша называют в Португалии республиканцев, давших отпор монархистам 8 июля 1912 года в местечке Шавеш.

бок, эта разница сокращалась. Кроме того, думаю, она старилась медленнее, чем я. Начиная с определенного момента, случалось, что, когда мы появлялись где-то вдвоем, ее называли, обращаясь ко мне, "ваша супруга". Может, проживи она дольше, ее в конце концов стали бы принимать за мою дочь. Думаю, ей нравились эти мелкие недоразумения. Она упорно относилась ко мне, как к ребенку. Вплоть до того дня, когда, почти достигнув столетнего возраста, решила умереть, она контролировала нити моего существования.

— Мальчик не может поздно приходить домой.

И я, в свои восемьдесят с лишним лет, боялся войти в дом после полуночи. Когда я отправлялся на прогулку с кем-то из подруг, я чувствовал себя обязанным звонить домой каждые полчаса, чтобы Мама не волновалась. Она ждала меня, не смыкая глаз, чутко прислушиваясь, прижимая к груди кота.

— Мальчик не может пить спиртное.

Я садился за стол в баре и заказывал стакан молока, в то время как мои друзья, по-приятельски подшучивая надо мной, накачивались виски или пивом. Вдобавок Мама старалась отдалить меня от всех женщин, которые, по ее подозрениям, могли однажды отдалить меня от нее. Явных же дурнушек, но особенно очень глупых — этих Мама подталкивала в мои объятия, в уверенности, что я их отвергну. И тогда она мне выговаривала:

— Ты становишься слишком разборчивым. Так и проходишь в холостяках.

Я вам это рассказываю вовсе не с целью самооправдания. Было бы нечестно свалить вину за мое женоненавистничество на материнскую ревность или суровость моего бедного отца. Я был тем, кем был, поскольку мне не хватило смелости стать другим. Я вижу, как Феликс Вентура проводит пальцами по трепещущему телу своей возлюбленной, вижу, как он шепчет нежные слова ей на ухо, вижу, как он на руках переносит ее в комнату (женщина протестует, воспламеняется, кричит со счастливым смехом) и опускает на кровать. Наконец вижу, как, утомленный, он засыпает, и начинаю понимать, как я здесь оказался.

* * *

Феликс спит; его правая рука — на груди женщины, ладонь покоится на ее груди. Анжела лежит с открытыми глазами. Она улыбается. Осторожно высвобождается и встает с кровати. Надевает только цветастую блузку. Ноги у нее длинные, гладкие, невероятно тонкие в щиколотке. Она бесшумно пересекает комнату. Отстраняет полумрак кончиками пальцев, от-

крывает дверь ванной, зажигает свет и заходит. Снимает блузку. Ополаскивает лицо, плечи, подмышки. Мне удается разглядеть у нее на спине ряд темных круглых шрамов, которые выделяются, словно повреждение на золотистом пушке кожи. Мне кажется, что я вижу в зеркале такие же следы на груди и животе. Возвращаюсь в спальню. Феликс что-то бормочет. Кажется, я разобрал слово "саванна". Хотелось бы мне с ним побеседовать. Возможно, если бы я сейчас заснул, я бы его встретил — он в белом костюме из грубого льна, замечательной шляпе-панаме — под высоким баобабом, в какой-то точке этой саванны, которую он пересекает во сне.

Дзинь, дзинь!

Звонок в дверь. Дзинь, дзинь! Кто-то звонит, как на пожар. Стучит в дверь. Дзинь, дзинь! Феликс соскакивает с постели, белый и голый, словно привидение, протягивает руку к лампе на тумбочке и включает свет. Анжела Лусия возникает рядом с ним — испуганная, закутанная в полотенце:

— Кто это был?

— Что?! Не знаю, любимая. Кто-то стучит в дверь. Который час?

— Ночь. Двадцать четыре. — Анжела проговаривает это, не глядя на часы. Затем бросает взгляд на запястье и подтверждает: — Точно. Двадцать четыре. Я никогда не ошибаюсь. Кто бы это мог быть?

— Не имею представления!

Дзинь, дзинь! Дзинь, дзинь!! Стук в дверь. Чей-то голос зовет. Феликс открывает шкаф и достает белый халат. Надевает его. Анжела поднимается:

— Постой, — голос свистящий, шепотом: — Не ходи!

— Я пойду. Ты останься здесь.

Я следую за ним по потолку, бегом. Феликс выглядывает из окна гостиной. Темнота окутывает веранду. Дзинь, дзинь!!! Он решается и открывает дверь. Эдмунду Барата душ Рейш бросается к нему в объятья, толкает его, захлопывает дверь.

— Черт побери, товарищ! Эти гады сидят у меня на хвосте. Они меня преследуют. Собираются меня прикончить.

— Опа-на, кто это хочет тебя убить?! Объясни-ка мне.

— Гады!

Он в трусах. Босиком. Майка Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, похоже, отчасти вернула себе, вероятно от страха, изначальный цвет. Или же это и впрямь кровь. Эдмунду трясет седыми космами. Глаза выскочили из орбит. Он мечется по гостиной из стороны в сторону. Опускает жалюзи. Феликс нетерпеливо наблюдает за его действиями.

— Успокойтесь. Сядьте и успокойтесь. Я приготовлю вам чай.

Он направляется на кухню. Эдмунду следует за ним по пятам. Опускает жалюзи. Закрывает ставни. Только тогда немного успокаивается. Садится на табуретку, положив руки на стол, в то время как Феликс ставит на огонь воду.

— Супа, нет ли супа? Мне бы лучше супчику...

В дверях появляется Анжела Лусия. Она надела голубую мужскую рубашку, которая доходит ей почти до колен. Наверно, она достала ее из шкафа. На ногах — шлепанцы Феликса, они тоже ей слишком велики. В таком облачении она кажется хрупкой, почти девочкой. Эдмунду смутился:

— Извини, детка. Я не хотел беспокоить...

— Что происходит?

Феликс пожимает плечами:

— Да вот его, Эдмунду, собираются убить. Позволь, я тебя познакомлю. Это господин Эдмунду Барата душ Рейш, экс-агент госбезопасности. Я тебе о нем говорил.

— Кто это собирается его убить?!

— Его собираются убить, а он хочет супа. Подать сюда суп...

Дзинь, дзинь! Дзинь, дзинь! Дзинь, дзинь!

Эдмунду Барата душ Рейш утыкается лицом в колени. Феликс вздрагивает.

— Спокойно. Пойду взгляну, кто это. Не выходите отсюда, я сам во всем разберусь. Анжела, не выпускай его отсюда.

Он возвращается в гостиную. Переводит дыхание и открывает дверь. Знавал я, в предыдущей жизни, таких людей. Они пугаются шелеста листвы. Испытывают ужас перед тараканами, не говоря уже о полицейских, адвокатах, даже стоматологах. Однако, стоит только дракону выйти на поляну, открыть пасть и полыхнуть огнем, они встречают его стоя. Спокойные, хладнокровные, словно ангелы.

— Что вам угодно?

В гостиную врывается Жузе Бухман. В правой руке у него пистолет. Он дрожит. Еще больше дрожит его голос:

— Где эта сволочь?

— Прежде всего, отдайте мне пистолет. В мой дом не входят вооруженные люди...

Он произносит это твердо, не повышая голоса, в уверенности, что ему подчинятся. Однако тот не обращает на него внимания. Быстрыми шагами проходит по коридору, прямиком на кухню. Феликс следует за ним, протестуя. Я бегу. Не хочу пропустить сцену. Анжела Лусия стоит в дверях, расставив руки. Она в роли двери:

— Сюда нельзя! — Не выдерживает: — Проклятье! Из какой преисподней вы выскочили?

Я слышу голос Эдмунду Бараты душ Рейша: он истошно визжит, — и только потом его вижу. Он прижался к стене, стоит, опустив руки. На тощей груди сияет красная майка. Лезвие серпа, золото молота на мгновение вспыхивают. Потом темнеют.

— Именно, детка, вывалился из преисподней! Из прошлого! Откуда выходят преданные анафеме...

Жузе Бухман зажат между Анжелой — впереди — и Феликсом, который сзади держит его за руки. Его лицо вплотную придвинулось к ее лицу. Он вопит, как одержимый. Неожиданно он представляется мне великаном. Вены на шее вздулись и пульсируют, выделились на лбу:

— Вот именно, вывалился из прошлого! А кто я такой? Скажи-ка им, кто я такой!..

Он неожиданно, в приступе ярости, вырывается, опрокинув Анжелу. Бросается на Эдмунду, хватает его за шею левой рукой и заставляет опуститься на колени к его ногам. Приставляет к шее дуло пистолета:

— Скажи им, кто я такой!

— Привидение. Дьявол...

— Кто я такой?

— Контрреволюционер. Шпион. Агент империализма...

— Мое имя?

— Гувейя. Педру Гувейя. Ты должен был умереть в семьдесят седьмом.

Жузе Бухман награждает его пинками. Одним. Вторым. Третьим. Четвертым. Пятым. Он обут в черные тяжелые ботинки, которые производят глухой шум при ударе по телу. Эдмунду не кричит. Даже не пытается уклониться от ударов. Пинки приходятся ему по животу, по груди, в рот. Ботинки становятся красными.

— Падаль! Падаль!

Жузе Бухман, или Педру Гувейя, как вам угодно, кладет пистолет на стол. Хватает тряпку и вытирает ботинки. Продолжает кричать “Падаль! Падаль!”, словно кровь другого жжет ему ноги. Затем садится на табурет, закрывает лицо ладонями и разражается протяжным, судорожным плачем, который сотрясает все его тело. Эдмунду Барата душ Рейш отползает в угол кухни. Садится, прислонившись к стене, вытянув ноги. Улыбается:

— Я тебя не забыл. И ее тоже не забыл — Марту, Марту Мартинью, изображавшую из себя интеллектуалку, поэтессу, художницу и бог знает кого еще. Она была беременна, уже на сносях, с огромным животом. Круглым. Прямо, как шар. Так и стоит у меня перед глазами.

Феликс, стоя рядом с дверью, ведущей в коридор, обняв Анжелу, наблюдает за происходящим, онемев от изумления. Педру Гувейя плачет. Не знаю, слышит ли он, что говорит Эдмунду Барата душ Рейш. А вот бывший агент госбезопасности словно развлекается. Его уверенный, ледяной голос вибрирует в ночной тишине:

— Это случилось давно, не так ли? В эпоху борьбы. — Он показывает на Анжелу. — Думаю, что девушки тогда даже не было на свете. Революция была в опасности. Банда молокососов, горстка безответственных мелкобуржуазных субъектов попыталась силой взять власть. Нам приходилось проявлять твердость. "Мы не будем терять времени на вынесение приговора", — сказал Старик в своей речи Нации, мы и не теряли. Сделали то, что необходимо было сделать. Когда апельсин подгнивает, мы выкидываем его из корзины и отправляем в мусорный бак. Если мы его не выкинем, загниют все остальные. Выбрасывается один апельсин, выбрасывается два или три — и остальные спасены. Вот этим мы и занимались. Наша работа заключалась в том, чтобы отделять хорошие апельсины от гнилых. Этот тип, Гувейя, вообразил, что раз он родился в Лиссабоне, ему удастся улизнуть. Позвонил португальскому консулу: "Господин консул, я португалец, я скрываюсь там-то, спасите меня, пожалуйста, а еще мою жену, она негритянка, но ждет от меня ребенка". Ах! Ах! И знаете, что сделал господин португальский консул? Он отправился за обоими, а затем передал их прямо мне в руки. Ах! Ах! Я всячески поблагодарил консула, сказал ему, мол, вы, товарищ, подлинный революционер, стиснул его в объятиях, хотя и с отвращением, конечно, не думайте, я предпочел бы плюнуть ему в лицо, но обнял его, да, попрощался и отправился допрашивать девушку. Она продержалась пару дней. А на третий родила, прямо там, девочку, вот такусенькую, такого размера, а кровищи-то, кровищи, как подумаю об этом, сразу кровь перед глазами. Мабеку, мулат с юга, он давно уже помер, нелепая смерть — два хладнокровных ножевых удара в одном лиссабонском баре, так и не выяснили, кто это был, — Мабеку перерезал пуповину перочинным ножом, а потом зажег сигарету и начал пытать ребенка, прижигая ему спину и грудь. Крови, опа-на! Крови-то до черта, девица, эта самая Марта, оба глаза с луну, во сне меня преследует, да еще вопли ребенка, запах горелого мяса. До сих пор, стоит только прилечь и задремать, ощущаю этот запах, слышу плач ребенка...

— Замолчите!

Резкий крик Феликса, голос, которого я у него не слышал. Повторяет:

— Замолчите! Замолчите!

Оттуда, где я нахожусь, сверху шкафа, я вижу его череп, освещаемый аурой ярости. Он отделяется от Анжелы и делает шаг в сторону Эдмунду; сжав кулаки, кричит:

— Исчезните! Вон отсюда!

Экс-агент с трудом поднимается. Выпрямляется. Устремляет презрительный взгляд на Жузе Бухмана и при этом резко хохочет:

— Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Это и вправду ты, Гувейя, фракционер. В прошлый раз я почти узнал тебя по смеху. Ты часто смеялся на собраниях фракционеров, еще до того, как консул, твой земляк, передал тебя мне в руки. В тюрьме ты только и делал, что плакал. Часто плакал, ы-ы-ы! как баба. Смотрю, как ты плачешь, и вижу сопляка Гувейю. Ты что, отомстить хотел? Для этого нужна страсть. Нужна смелость! Убить человека — дело мужское.

И тут,

словно

в каком-то

медленном

танце

Анжела пересекает кухню,
проходит мимо стола,
правой рукой берет пистолет,
левой рукой отстраняет Феликса,
наставляет в грудь Эдмунду

и стреляет.

Крик Бугенвилии

Во дворе, в том месте, где Феликс Вентура похоронил вытянувшееся тело Эдмунду Бараты душ Рейша, теперь цветет бугенвилия во всем своем алом великолепии. Она быстро выросла. Закрывает уже большую часть ограды. На радостях — или же с доносом, на который никто не обращает внимания, — перекинулась на бульвар, на ту сторону. На днях я впервые осмелился выйти во двор. С трепещущим сердцем взобрался на ограду. Солнце играло в осколках стекла. Я осторожно пробрался между ними и взглянул на мир. Увидел длинную улицу, красную глину и старые усталые дома, нарушающие порядок на противоположной стороне. Люди проходили мимо, не внимая крикам бугенвилии. Меня напугало широкое безоблачное небо, напряженное молчание света, стая птиц, летающих кругами. Я опрометью кинулся назад, в укрытие дома. Может, я и выйду опять, если станет немного пас-

мурнее. Солнце вызывает головокружение, жжет кожу, но мне хотелось бы не торопясь рассмотреть прохожих.

Феликс ходит грустный. Со мной почти не разговаривает. Сегодня, правда, нарушил молчание. Вошел в дом, снял темные очки, спрятал во внутренний карман пиджака, затем снял пиджак и повесил на спинку стула. Потом открыл портфель и показал мне небольшой квадратный конверт из желтоватой бумаги.

— Пришла новая фотография, видишь, дружище? Она о нас все еще не забыла.

Осторожно открыл конверт, стараясь его не разорвать. Это был полароидный снимок. Радуга, озарившая реку. В верхнем правом углу виден силуэт обнаженного мальчишки, ныряющего в воду. Анжела Лусия написала синей ручкой сбоку фотографии: "Безмятежные воды. Пара́" и дату. Феликс пошел за коробкой с булавками, такими маленькими, с круглыми разноцветными головками. Выбрал одну, с головкой ярко-зеленого, абсурдного цвета, и приколол фотографию к стене. Затем сделал три шага назад, чтобы посмотреть на результат. Стена гостиной напротив окон почти вся увешана фотографиями. Вместе они образуют что-то вроде витража, который напоминает мне эксперименты Дэвида Хокни[1] с полароидными снимками. Преобладают оттенки голубого.

Феликс Вентура развернул лицом к стене большое плетеное кресло и уселся в него. Он сидел так долгое время, неподвижно, молча, наблюдая, как чистый вечерний свет умирает, встретившись с бессмертным светом полароидных снимков. Его глаза наполнились слезами. Он вытер их платком. Сказал мне:

— Знаю. Тебе хотелось бы, чтобы я ее простил. Сожалею, друг мой, но не могу. Думаю, я не способен.

Человек в маске

Человек, только что вошедший в дом, кого-то мне напоминает. Тем не менее, мне не удается угадать кого. Высокий, элегантный, хорошо одетый. Седые, коротко постриженные волосы придают ему благородный вид, который тут же опровергает широкое, несколько простецкое лицо. Я вижу, как он, словно тигр, пересекает сонный свет вечера. Он не обращает внимания на протянутую Феликсом руку и, словно бы

1. Дэвид Хокни (р. 1937) — английский художник, график, сценограф и фотограф, заметный представитель поп-арта.

с некоторым отвращением, усаживается, вытянув ноги, на кожаный диван. Глубоко вздыхает. Барабанит пальцами по кожаному подлокотнику кресла.

— Я собираюсь рассказать вам невероятную историю. Я намерен ее рассказать, потому что знаю, что вы мне не поверите. Хочу обменять эту невероятную историю, историю моей жизни, на другую — простую и основательную. Историю обыкновенного человека. Я даю вам невероятную правду, вы мне — заурядную и убедительную ложь, договорились?

Он удачно начал. Феликс Вентура садится, заинтригованный.

— Видите это лицо? — Мужчина обеими руками показывает на свое лицо. — Ну, так оно не мое.

Он делает долгую паузу. Колеблется. Наконец начинает:

— У меня украли лицо. Иначе говоря, как бы это вам объяснить? У меня украли меня самого. Однажды я проснулся и обнаружил, что мне сделали пластическую операцию. Оставили меня в какой-то клинике с полным портфелем денег и открыткой. "Благодарим за оказанные услуги. Считайте себя свободным" — вот что было в открытке. Они могли меня и убить. Не знаю, почему меня не убили. Может, думают, что так я еще мертвее. Или же тогда — сначала я думал, что дело в этом, — они хотели посмотреть, как я буду мучиться. В первые дни я, действительно, мучился. Думал заявить о том, что случилось. Разыскал друзей. Некоторые мне не поверили. Другие поверили, несмотря на маску, которую я сейчас ношу, потому что мне все-таки что-то известно, но притворились, что не поверили. Настаивать кажется мне опасным. И вот однажды, таким же вечером, как сегодняшний, в одиночестве на террасе бара, на краю Острова, я начал испытывать чудесное ощущение. Я не знал, каким словом его обозначить. Теперь знаю — свобода! Данная ситуация превратила меня в свободного человека. Я располагаю средствами. Имею счета за границей, которые позволяют мне беззаботно прожить до конца моих дней. Зато на меня не давят обязательства, критика, угрызения, зависть, ненависть, злоба, придворные интриги, еще меньше — страх, что однажды кто-нибудь меня предаст.

Феликс Вентура смущенно качает головой:

— Знавал я одного сумасшедшего типа, одного из тех несчастных, что бродят здесь по городу, внося беспорядок в уличное движение; так вот он отстаивал странную идею. Считал, что Президента подменили двойником. Ваша история мне ее напоминает...

Человек смотрит на него с любопытством. Голос его становится более мягким. Почти мечтательным:

— Все истории связаны. В конце концов, все связано между собой. — Он вздохнул. — Но только лишь некоторые безумцы — очень немногие и совсем обезумевшие — способны это понять. Короче, я желаю, чтобы вы достали мне не совсем то, для чего вас обычно нанимают. Я хочу, чтобы вы наделили меня очень скромным прошлым. Именем без блеска. Ничем не примечательной, но неопровержимой родословной. Пусть в ней будут богатые люди, без семьи и без славы. Мне хотелось бы оказаться одним из них...

Сон № 6

Перед нами стояла очень высокая, широкая и глубокая клетка, из которой иногда, отдельными порывами, вырывалось веселое щебетанье птиц. Попугайчиков, сургучных клювиков[1], вдовушек[2], небесных грудок[3], андуа[4], горлиц, щурков. Мы сидели на пластмассовых, порядком потрепанных стульях, в ароматной тени густолиственного дерева манго. Слева от нас проходила низкая саманная стена, побеленная. Высоченные дынные деревья, увешанные плодами, покачивались с томностью мулаток. Если посмотреть направо, в сторону дома, то там тянулись ряды апельсинных, лимонных деревьев, гуяв. А еще дальше — возвышался над садом громадный баобаб. Похоже, он был помещен туда, чтобы напомнить мне, что это всего лишь сон. Вымысел чистой воды. Посреди красной глины и зеленой-презеленой травы копаются куры, увлекая за собой выводки цыплят. Жузе Бухман встретил меня сияющей победной улыбкой.

— Добро пожаловать в мои скромные пенаты.

Он хлопнул в ладоши, и тут же из полумрака выступила стройная, застенчивая девушка в коротеньком платьице и пластмассовых сандалиях на легких ногах. Бухман попросил ее принести ледяного пива, для меня — сока питанго. Девушка опустила голову, не сказав ни слова, и исчезла. Вскоре она вернулась, удерживая в равновесии на цветном подносе бутылку с пивом, два стакана и кувшин с соком. Я с недоверием попробовал сок. Оказался вкусный, кислый и в то же время сладкий, очень свежий, его запах был способен наполнить светом даже самую мрачную душу.

1. Волнистый астрильд.
2. Мухоловка.
3. Красноухий астрильд.
4. Певчая ангольская птица.

— Мы в Шибиа, но ведь это вам известно, не правда ли? Как бы я ни благодарил нашего общего друга, нашего дорогого Феликса, за то что он придумал мне эту землю, я никогда не отблагодарю его в полной мере.

— Извините за любопытство. На местном кладбище и правда есть могила Матеуса Бухмана?

— Есть. Было несколько разрушенных надгробий и среди них — а почему бы и нет? — могила моего отца. Я заказал плиту. Вы ее видели. Видели фотографию, не так ли?

— Понимаю. А акварели Евы Миллер?

— Я действительно обнаружил их у антиквара в Кейптауне, в одной просто сказочной лавке, в которой торгуют всем понемногу, начиная с драгоценностей и кончая фотоальбомами, не говоря уж о старых фотоаппаратах. Ева Миллер — имя распространенное. Должно быть, в мире десятки акварелисток, носящих это имя. Короткое сообщение о ее кончине в йоханнесбургской "У Секулу" — это и впрямь моих рук дело, мне помог старый португальский типограф, мой приятель. Мне было необходимо, чтобы даже Феликс поверил в мою биографию. Если поверит он, значит, поверят все. Сегодня, честно говоря, даже я верю. Оглядываюсь назад, на свое прошлое, и вижу две жизни. В одной я был Педру Гувейей, в другой — Жузе Бухманом. Педру Гувейя умер. Жузе Бухман вернулся в Шибиа.

— Вы знали, что Анжела ваша дочь?

— Знал. Я вышел из тюрьмы в тысяча девятьсот восьмидесятом. Я был сломлен, совершенно сломлен — физически, морально, психологически. Эдмунду поехал со мной в аэропорт, посадил в самолет и отправил в Португалию. Никто меня не ждал. У меня там уже не осталось никого из семьи, по крайней мере из тех, кого я знал; не осталось ничего, ни одной мало-мальской связи. Моя мать, бедная, умерла в Луанде, пока я был в тюрьме. Мой отец уже давно жил в Рио-де-Жанейро, с другой женщиной. Я никогда с ним тесно не общался. Родился в Лиссабоне, да, но уехал в Анголу еще ребенком, даже еще не умел говорить. Португалия — моя родина, так говорили мне все, так говорили даже в тюрьме — другие заключенные, охранники, однако я не чувствовал себя португальцем. Я пробыл в Лиссабоне года два или три, работал корректором в одном еженедельнике. Вот тогда-то, поскольку мне приходилось иметь дело с газетными снимками, я стал интересоваться фотографией. Я закончил краткосрочные курсы и отправился в Париж. Оттуда поехал в Берлин. Начал работать фоторепортером и годами колесил по свету, с войны на войну, пытаясь забыться. Заработал кучу денег, действительно кучу, однако не знал, что с ними делать. Ни-

чего меня не привлекало. Моя жизнь была бегством. Как-то раз я оказался в Лиссабоне, точке на карте между двумя пунктами, промежуточном пункте. В ресторане на площади Рештаурадореш[1], куда я заглянул, привлеченный запахом куриных потрошков, которые обычно готовила моя мать, я повстречал старого товарища. Вот он-то впервые и рассказал мне об Анжеле. Сукин сын Эдмунду всякий раз, когда меня допрашивал, развлекался тем, что описывал мне, как он убил мою жену. Он также сказал мне, что убили и ребенка. Выходит, его не убили. Подвергли пыткам на глазах у матери, — вы своими ушами слышали! — но не убили. Отдали Марине, сестре Марты, и та его вырастила. Вырастила как свою дочь. Когда я об этом узнал, то порядком растерялся. Прошло столько лет, я постарел. Мне хотелось познакомиться с дочерью, хотелось встретиться с ней, однако не хватало духу рассказать ей правду. Я не мог думать больше ни о чем. Мною овладела ненависть, дикая злоба по отношению к этим людям, к Эдмунду. Я хотел его убить. Я решил, что если я его убью, то смогу взглянуть в глаза своей дочери. Убив его, возможно, смогу возродиться. Я вернулся в Луанду, не представляя себе толком, как мне действовать. Я боялся, что меня узнают. В гостинице, на столике в баре, я обнаружил визитку нашего друга Феликса Вентуры. "Подари своим детям лучшее прошлое". Хорошая бумага. Замечательная печать. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль воспользоваться его услугами. Под другим именем было бы легче разъезжать по городу, не вызывая подозрений. Я мог убить Эдмунду и скрыться. Но мне хотелось, чтобы он знал, почему умрет, хотелось поставить его перед лицом его преступлений, в глубине души, признаю, хотелось отомстить. Его было нелегко разыскать, а когда я его нашел, оказалось, он тронулся умом. По крайней мере, казался помешанным. Я заявился с ним к Феликсу, поскольку мне необходимо было услышать стороннее мнение. Феликс решил, что Эдмунду действительно не в себе, и тогда я решил отказаться от своего намерения. Я не мог убить сумасшедшего. Однажды я дождался, когда этот субъект покинет канаву, в которой он обычно прятался, и спустился в нее. Там, в той отвратительной дыре, лежал тюфяк, грязная одежда, журналы, марксистская литература и — поверите ли? — папки из архива госбезопасности с делами десятков людей. Моя папка была одной из первых. Сижу я там с фонариком в одной руке, папкой — в другой, в лихорадке, в смятении, как вдруг, откуда ни возьмись, является Эдмунду. Прыга-

1. Центральная площадь Лиссабона, названная так в честь участников заговора 1 декабря 1640 года, который привел к реставрации португальской монархии.

ет внутрь и приземляется в двух шагах от меня. В руках держит нож. Смеется. Бог мой, что за смех! И говорит мне: "И вновь лицом к лицу, товарищ Педру Гувейя, на этот раз я тебя прикончу" — и кидается на меня. Я отбросил его пинком, вытащил из-за пояса пистолет — я купил этот пистолет днями раньше на Роке Сантейру, надо же, — и выстрелил. Пуля задела ему грудь, только царапнула, я швырнул в него фонариком, стал швырять всем, что было под рукой, в досаде, он же стал выбираться из ямы. Я с силой ухватил его за ноги, он вывернулся, выскользнул, выскочил, оставив меня со штанами в руках. Я ринулся за ним. Остальное вы знаете. Вы там присутствовали. Явились свидетелем того, что произошло потом.

— А Анжела знала, что вы ее отец?

— Она уверяет, что знала. Рассказала мне, что Марина много лет скрывала от нее трагедию. Пока однажды, это должно было случиться, кто-то, какая-то приятельница, вроде однокурсница, что-то такое ей сказала. Анжела отреагировала очень болезненно. Поссорилась с Мариной и ее мужем, своими родителями, в конечном счете своими настоящими родителями, замечательными людьми. Поругалась с ними и уехала из Анголы. Отправилась в Лондон. Затем в Нью-Йорк. Она узнала, что я фотограф, и по этой причине заинтересовалась фотографией. Стала, как и я, фотографом и, как и я, превратилась в кочевницу. Вы несколько месяцев назад удивились совпадению — что мы оба фотографы и вернулись на родину приблизительно в одно и то же время. Вы еще не поверили, что это совпадение. Ну, как видите, это не было чистым совпадением. Анжела клянется, что, как только меня увидела, однажды вечером, — помните? — однажды вечером в вашем доме, клянется, что, как только меня увидела, едва только взглянула, сразу же догадалась, кто я такой. Не знаю. Стоит мне подумать об этой встрече, меня пробивает дрожь. Для меня это была странная встреча. Я-то знал, кто она такая. Никто из нас ничего не сказал. Мы промолчали. Прошли месяцы, и вот, в тот вечер, я выстрелил в Эдмунду, а он кинулся искать прибежища у единственного человека, который мог его приютить, — у Феликса Вентуры, бывшего ученика профессора Гашпара, человека одного с ним рода-племени...

Жузе Бухман замолчал. Допил пиво, которое у него оставалось, сделав долгий глоток, и задумался о чем-то своем, погрузив взгляд в густую листву манго. Ему было хорошо в этом огромном саду. Тень падала на нас, как струя прохладной воды. Время от времени в птичье щебетанье вплетался резкий стрекот цикад. На меня навалился сон, желание закрыть глаза и заснуть, но я устоял, убежденный в том, что, если сейчас засну, через какое-то мгновение проснусь уже в обличье геккона.

— Вы получаете известия от Анжелы?

— Получаю. Как раз сейчас она спускается по Амазонке на одном из тех медлительных неторопливых баркасов, которые ночью покрываются гамаками. Неба там — хоть отбавляй. Много света в воде. Надеюсь, она чувствует себя счастливой.

— Ну, а вы-то счастливы?

— Я наконец обрел покой. Ничего не опасаюсь. Ни к чему не стремлюсь. Думаю, это можно назвать счастьем. Вам известно, что сказал Хаксли[1]? Счастье никогда не бывает грандиозным.

— Что будет с вами дальше?

— Не имею представления. Возможно, стану дедом.

Феликс Вентура начинает вести дневник

Этим утром я обнаружил Эвлалия мертвым. Бедняга Эвлалий. Он свалился к ножкам моей кровати с огромным скорпионом, жутким существом, тоже мертвым, зажатым в зубах. Он погиб в бою, как герой, он, не считавший себя храбрецом. Я похоронил его во дворе, завернув в шелковый платок, один из моих лучших платков, у подножья авокадо. Я выбрал влажную, покрытую мхом сторону авокадо, обращенную к западу, потому что там все время тень. Евлалий, как и я, не любил солнца. Мне его будет не хватать. И вот сегодня я решил вести этот дневник, чтобы продлить иллюзию, что меня кто-то слушает. У меня больше не будет такого слушателя, как он.

Думаю, что он был моим лучшим другом. Предполагаю, что перестану встречать его в снах. Кроме того, воспоминания, которые у меня о нем остались, с каждым разом, с каждым часом, все больше похожи на постройку из песка. Воспоминания о сновидении. Возможно, он мне целиком приснился — он, Жузе Бухман, Эдмунду Барата душ Рейш. Я не осмеливаюсь копать во дворе рядом с бугенвилией, меня ужас берет — а вдруг я ничего там не обнаружу? А вот Анжелу Лусию, если я и увидел ее во сне, то она приснилась мне основательно. Открытки, которые она продолжает мне присылать, каждые три-четыре дня, вполне реальны. Я приобрел в "Альтаире", через Интернет, огромную карту мира. Магазин "Альтаир" в Барселоне — мой любимый книжный магазин. Когда я бываю в Барселоне, то всегда оставляю два-три дня, чтобы потеряться в "Альтаире", порыть-

1. "Счастье лишено грандиозных эффектов" — цитата из антиутопии "О дивный новый мир" (1932) Олдоса Хаксли (1894–1963).

ся в книгах и картах, фотоальбомах, составить план путешествия, которое я однажды совершу; главное — составить этот план, план путешествия, которое никогда не осуществлю. Я повесил карту на стену гостиной, прикрепив ее к пробковому планшету, рядом с полароидными снимками, сделанными Анжелой Лусией. Все открытки снабжены пометкой — названием запечатленного на них места — и таким образом я легко могу проследить ее маршрут (в каждый пункт я втыкаю булавку с зеленой головкой). Я вижу, что Анжела спустилась по Амазонке до Белена-ду-Пара́. Затем, по моим предположениям, она взяла напрокат машину или же, что наиболее вероятно, села в автобус, ехавший на юг. Она прислала мне из Сан-Луиш-ду-Маранью силуэт небольшой лодки с квадратным парусом на фоне заката: "Река Анил, девятое февраля". Четыре дня спустя пришла фотография детской ручонки, запускающей бумажный самолетик. На заднем фоне течет река — полноводная и бурая под медленным солнцем: "Канарские острова, дельта Парнаибы, тринадцатое февраля". Мне не составляет труда представить, по какому маршруту она будет двигаться в ближайшие дни. Вчера я купил билет до Рио-де-Жанейро. Послезавтра вылетаю из аэропорта имени Сантуша Дюмонта в Форталезу. Думаю, мне будет нетрудно ее разыскать. Если Жузе Бухману удалось найти земляка, застрявшего внутри телефонной кабины в Берлине, имея в качестве единственного указателя светофор, я еще быстрее отыщу женщину, которой нравится фотографировать облака. Не знаю, как я поступлю, когда ее встречу. Надеюсь, ты, дружище Евлалий, где бы ты ни находился, поможешь мне принять верное решение. Я анимист. Я всегда им был, но только недавно это осознал. С душой происходит нечто похожее на то, что бывает с водой: она течет. Сегодня это река. Завтра — море. Вода принимает форму сосуда. Внутри бутылки она кажется бутылкой. Тем не менее, она не бутылка. Евлалий всегда останется Евлалием, в любой плоти — и мясной, и рыбной. Мне приходит на память черно-белый снимок Мартина Лютера Кинга, выступающего с речью перед толпой: "Я видел сон..." Он должен был, скорее, сказать: "Я выдумал сон". Если поразмыслить, это совсем разные вещи: увидеть сон и выдумать сон.

Я придумал себе сон.

Лиссабон, 13 февраля 2004 года

Александра Писарник

“Скиталица по себе самой...”

Стихи

Перевод с испанского и вступление Павла Грушко

Алехандра Писарник в аргентинской поэзии — особняком. Да и в мировой таких немного. *Проклятыми* поэтами не становятся, это от рождения до добровольного ухода из поэзии, у некоторых — из жизни. С ней это произошло 25 сентября 1972 года, когда она приняла избыточную дозу одного из барбитуратов.

Родилась Алехандра 29 апреля 1936 года в Буэнос-Айресе, в русско-еврейской семье эмигрантов, выходцев из Ровно, за два года до этого прибывших в Аргентину. Фамилия отца Пожарник была аргентинскими чиновниками переиначена в Писарник, имя младшей дочери Флора — в Алехандра. Почти все родственники по отцовской и материнской линии, оставшиеся в Европе, погибли в Холокост, — тема смерти в стихах Алехандры отчасти от этого. Но не только.

С отрочества она испытывала душевное беспокойство (*Отбыть / телом и душой / отбыть... / Вот и поспеши, странница!*), она обостренно, почти болезненно, ощущала разрыв с детством (*Странно отвыкать / от часа моего рождения. / Странно не заниматься больше / заботами новорожденной*). Симптомы раздвоения личности (*Рассказать словами этого мира, / как удаляется от меня лодка, увозящая меня*) привели с 1954 года к посещениям психоаналитиков, а незадолго до самоубийства — к лечению в психиатрической клинике. Она при жизни похоронила себя, установив надгробие:

алехандра алехандра
и под этим в земле я
алехандра

Параллельно с обычной, она училась в еврейской школе. Затем в Буэнос-Айресском университете, на факультете философии и журналистики, совмещала учебу с занятиями у известного художника Хуана Батле Планаса.

В университете начала читать Кьеркегора, Джойса, Пруста, Бретона. В течение четырех лет жила в Париже, писала для изданий, выходивших на французском и испанском. Углубленно постигала Лотреамона, Арто и сюрреалистов. Переводила Гёльдерлина, Мишо, Элюара, Бретона, других поэтов (к слову сказать, перевела два стихотворения Евтушенко). Изучала историю религий и современной французской литературы в Сорбонне. По возвращении в Буэнос-Айрес опубликовала три главные свои книги "Труды и ночи", "Музыкальный ад" и "Извлечение камня глупости".

© Павел Грушко. Перевод, вступление, 2013

Последнее название аналогично названию картины Иеронима Босха (правда, по-испански это: "Extracción de la piedra de *locura*", то есть "Извлечение камня безумия") — оно объясняет взгляд поэтессы на самоё себя. А может быть, это — ее ироничное, если не горькое, представление о том, какой ее видели окружающие?

Ряд больших поэтов отметили оригинальность поэтессы и ее значимость. Октавио Пас, говоря о ее книге "Древо Дианы", писал: "Собственное свечение, ослепительное и краткое"; Энрике Молина отметил "тончайший слух для улавливания едва слышимых лирических колебаний, образующих центральную нервную систему ее стихотворений".

По сути, трехязычная (домашний идиш, испанский язык Аргентины и безбрежья испанской культуры и французский Парижа и французской классики), — Алехандра Писарник ужималась до стыдливых горсток слов.

Смерть вечно рядом.
Я слушаю ее.
И одну себя слышу.

Стихотворение для Эмили Дикинсон

По ту сторону ночи
её ждёт её имя,
ее тайная жажда жизни —
по ту сторону ночи!

Что-то плачет в воздухе,
звуки рисуют восход.

А она размышляет о вечности.

Ничего кроме имени

алехандра алехандра
и под этим в земле я
алехандра

Последняя чистота

Отбыть
телом и душой
отбыть

Отбыть
отделаться от сторонних взглядов
от застрявших в горле
камней

Я должна отбыть
никакой больше апатии под солнцем
никакой больше убывающей крови
не занимать больше очередь к смерти

Я должна отбыть
Вот и поспеши, странница!

Т*олько и всего*

теперь мне понятна суть

она вспыхивает в моих желаниях

в моих невзгодах
в размолвках
в блужданиях
в бредовых снах

теперь мне понятна суть

теперь
искать жизнь

В*ремя*

Ольге Ороско[1]

О детстве помню разве что
слепящий страх
и руку, которая увлекает меня
на другой мой берег.

1. Ольга Ороско (1920–1999) – аргентинская поэтесса. Автор стихотворения, посвященного памяти Алехандры Писарник – "Павана для умершей инфанты" (отсылка к произведению Мориса Равеля "Pavane pour une infante défunte"). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Древо Дианы

1

Я выпросталась из себя на заре.
Оставила своё тело рядом со светом.
И воспела печаль того, что нарождается.

3

Одна только жажда,
безмолвие
и отсутствие встреч.

Берегись меня, любовь моя,
берегись молчуньи в пустыне,
путницы с пустой чашей
и тени от её тени.

4

Ауроре Бернардес[1] и Хулио Кортасару

Так вот

хватит тянуть руку за подаянием
для потерявшейся девочки. Холод
подаст. Подаст ветер. Дождь подаст.
Подаст гром.

11

Сейчас,
в этот безвинный час,
я и та, кем я была, усаживаемся
на пороге моего взгляда.

1. Аурора Бернардес – аргентинская переводчица произведений Альбера Камю, Жан-Поля Сартра, Симоны де Бовуар и др.; была женой Кортасара с 1953 года по 1967-й.

12

Долой, нежные метафоры шёлковой девочки,
долой, лунатичка на туманном карнизе,
долой, пробуждение от руки и обнюхивание
цветка, распустившегося на ветру.

13

Рассказать словами этого мира,
как удаляется от меня лодка, увозящая меня.

32

Зона бедствий, где спящая
медленно поедает
свое полночное сердце.

34

маленькая путница
умирала объясняя свою смерть

мудрые печальные насекомые
приходили к её тёплому телу

35

Жизнь, моя жизнь,
перестань саднить, моя жизнь, перестань
цепляться за пламя,
за безыскусную тишину, за обомшелые
камни ночи, перестань падать и саднить, моя жизнь.

Н*азвать тебя*

Вместо стихов о твоём отсутствии —
рисунок, трещина в стене,
нечто на ветру, горький привкус.

С *открытыми глазами*

Кто-то измеряет, рыдая,
пространство рассвета.

Кто-то полосует ножом подушку
в поисках невозможного
для себя покоя.

Ещё один рассвет

Вижу как надвигаются призраки безмолвия и
отчаяния. Вслушиваюсь в серые напряженные голоса
в древнем углу сердца.

Обмороки, или Созерцание того, что кончается

Куст сирени облетает.
Осыпается с самого себя,
прячет свою древнюю тень.
От подобного я умру.

Поиск

Октавио Пасу

Вечно сирень на том берегу.
И если душа спрашивает,
далеко ли это, ей отвечают: на другом берегу,
не на этом, а на том.

Пути в зеркале

Фрагменты

Главное — смотреть невинно. Словно ничего не
происходит, что так и есть.
Точь-в-точь девочка, намалёванная розовым мелком
на очень старой стене, внезапно смытая дождём.
А жажда — моя память о жажде: я внизу, на дне
колодца, и, помнится, всё пью и пью.
Как та, которой ничего не нужно. Вообще ничего.
Рот зашит. Веки зашиты. Я забылась. Внутри
ветер. Всё замкнуто и ветер внутри.

Но безмолвие — явно. Поэтому и пишу. Я одинока — и пишу. Нет, не одинока. Кто-то дрожит рядом.
Даже когда я говорю *солнце, луна, звёзды*, я имею в виду то, что со мной происходит. А что я желала? Я желала безукоризненной тишины. Вот и говорю.
Сладостно терять себя в образе, который предчувствуешь. Я восстала из своего трупа и отправилась на поиск своей сути. Скиталица по себе самой, я пошла к той, что спит в краю ветра.
Мое бесконечное падение в мое бесконечное падение, где никто меня не ждал. И оглядевшись, не ждёт ли меня кто-нибудь, я не увидела никого, кроме себя.

Знаки

И я всё ещё отваживаюсь любить
звук голоса в омертвевшем времени,
цвет времени на осиротевшей стене.
Мой взгляд все растерял. Так далеко —
просить. Так близко — понимать, чего нет.

Маленькие напевы

II

только слова
слова детства
слова смерти
слова ночи слова тел

VI

агония
фантазёрок
осени

VII

Трещины в стенах
чёрные чары
дерзкие фразы
зловещие стихи

VIII

Заполняешь напевом трещину.
Разбухаешь в темноте, как утопленница.
О заполни другими песнями разрыв, трещину,
прореху.

X

мой напев когда я спала на заре
был именно им?

XV

навязчивая мысль
детская сказка
рана

Стихотворение

Искать. Это не слово, это обморок.
Оно не означает действия.
Означает не идти навстречу
кому-то, а — застыть, потому что кто-то
всё не приходит.

Из записных книжек

Перевод с испанского Натальи Ванханен

Н*едоумение*

Мама рассказывала нам о России с ее заснеженными лесами: "...а еще мы лепили из снега снежных баб и нахлобучивали на них шляпы, которые крали у прадедушки..."

Я смотрела на нее в недоумении. Что такое снег? Почему баб надо лепить? И главное: что это за штука — "прадедушка"?

П*оговорили*

— Вон та дама в черном — видите, она улыбается нам из трамвайного окошка? — удивительно похожа на мадам Ламорт, — заметила я.

— Ничего подобного — в Париже ведь нет трамваев! И потом дама в черном ничуть не похожа на мадам Ламорт: всё наоборот, это мадам Ламорт на нее похожа. И вообще, мало того что в Париже нет трамваев, я в жизни не видала мадам Ламорт, даже на фотографии.

— Тут мы с вами в одинаковом положении: я тоже понятия не имею, как выглядит мадам Ламорт.

— А вы кстати кто? Давайте познакомимся.

— Я — мадам Ламорт, — отвечаю я. — А вы?

— Мадам Ламорт.

— Что-то не припомню такого имени.

— Нет, вы уж постарайтесь, пока трамвай не пришел!

— Но вы же только что сказали, что в Париже нет трамваев?

— Когда я так говорила, их действительно не было, но жизнь ведь так переменчива.

— В таком случае, давайте подождем его, раз уж все равно стоим на трамвайной остановке, — сказала я.

© Ana Becciu, 2001
© Наталья Ванханен. Перевод, 2013

Девочка в саду

Солнечное пятнышко в тенистом саду, крохотный просвет меж черных листьев. А рядом я, в мои четыре года единственная хозяйка всех этих птиц, алых, синих. Самой прекрасной из них я говорю:

— Я подарю тебя, пока не знаю кому.

— Думаешь, я понравлюсь? — спрашивает она.

— Я тебя подарю, — твержу я.

— И не надейся — некому тебе будет подарить птицу.

* * *

Один господин из Колумбии сообщил мне:

— У нас дятла называют стукачом.

— А как же тогда называют стукача?

— Так дятлом же, ясное дело!

Дождь и покойники

У кладбища жил некий человек

Уильям Шекспир

Один человек жил возле кладбища, и никто его не спрашивал почему. А с какой стати, в сущности, кто-то должен об этом спрашивать? Я вот, например, не живу возле кладбища, и меня тоже никто не спрашивает почему. Тут все-таки какая-то собака зарыта, в смысле, есть что-то болезненное, извращенное — и когда спрашивают, и когда нет. В любом случае странно: один живет возле кладбища, и никто не интересуется, чего это он, а другой живет от кладбища очень даже далеко, так ему тоже почему-то не задают никаких вопросов по этому поводу. Кстати, тот человек жил возле кладбища не случайно. Мне скажут, что случайно все, даже место жительства. Пусть говорят, это совершенно неважно — кто бы что мне ни говорил, до меня все равно ничего не доходит. Я слышу лишь далекие всхлипы, погребальное пенье из священных глубин, где схоронено мое детство. Вообще-то я вру. В данный момент я попросту слушаю голос Лотты Ленья, поющей в “Die Dreigroschenoper”[1]. Само собой, это всего-навсего запись, но я не перестаю поражаться, как за три года — в последний раз я слушала ее как раз три года назад — ровно ничего не изменилось для Лотты Ленья и так

1. “Трехгрошовая опера” (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

много (может, даже всё, чтобы быть точной) для меня. Я узнала о дожде и о смерти. Может, поэтому, только поэтому, из-за дождя над могилами, из-за дождя и мертвых, и ни почему больше, и возник тот никому неведомый человек, что жил возле кладбища. Вообще-то мертвые, как правило, не подают признаков жизни. Ни плохой, ни хорошей. Наше существование, то что *до* гробовой доски, — репетиция оркестра грядущей тишины. Но что-то тайное, сокровенное все же проступает *оттуда*, когда над кладбищем идет дождь. Я ведь своими глазами видела человечков в черном; они пели за упокой древние плачи, сложенные безвестными бродячими поэтами. Я видела их мокрые от дождя лапсердаки, их напрасные слезы и своего отца, такого молодого, слишком молодого, с кистями и лодыжками греческой статуэтки — наверняка ему было страшно в первую ночь в этом ужасном месте. Человечки в черном вскоре ушли. Один, совсем обносившийся, задержался возле меня, готовый поддержать, если понадобится. Может, это как раз и был тот сосед, о котором сказано: "У кладбища жил некий человек". О, как изменилась пластинка, как состарилась Лотта Ленья! Как пьянит мертвых мутный, отчужденный дождь, там, на кладбище, таком странном, таком еврейском! Только слушая, как дождь стучит по могильным плитам, я и могу узнать что-то о том, о чем я узнать боюсь. Голубые глаза; глаза, навеки вправленные в свежую черноту земли на пустынном еврейском погосте. Вот бы нашелся возле кладбища заброшенный домик — вот бы он был мой! Я бы стояла там, на крыльце, как на капитанском мостике, и, не отрываясь, смотрела в подзорную трубу на могилу своего отца под дождем, ведь дождь единственное, что сближает нас с мертвыми — случается, в дождь они являются нам, недаром же люди столько говорят о духах, призраках, привидениях. Иногда зимой я ясно чувствую: мои ушедшие здесь, рядом; это все дождь — он нас сближает. Что правда, то правда: не все ли равно, кого или что нарекли некогда Господом Богом; но правда и другое — то, что как-то раз мне случилось прочесть в Талмуде: "Есть у Господа нашего три ключа: ключ от дождя, ключ от рождения и ключ от воскресения мертвых".

У гощение

Против дома, под деревом, стоял стол; там смерть и маленькая девочка сидели и пили чай. Между ними восседала кукла такой немыслимой красоты, что обе любовались ею даже больше, чем закатом, порой перебрасываясь фразами над кукольной головой.

— Выпей немного вина, — сказала смерть.

Девочка оглядела стол и не увидела ничего, кроме чая.

— Я не вижу здесь никакого вина, — заметила она.

— А его и нет, — согласилась смерть.

— Почему же вы сказали, что есть? — удивилась девочка.

— Я в жизни не говорила, что есть, я просто предложила тебе его выпить, — сказала смерть.

— В таком случае вы совершили бестактность, — обиделась девочка.

— Прости, милая, я сирота, — извинилась смерть, — никто не обучал меня хорошим манерам.

И тут кукла широко раскрыла глаза.

Словесный портрет

Моей бабушке, принцессе Дуне
Федоровне Коликовской,
и да простит она мне
равнодушие
ко всему сверхъестественному
и повышенный интерес к самовару.

А под утро я засну с куклой под мышкой, куклой с глазами цвета золотистой лазури; она говорит на чудесном языке, будто читает стихи твоей отлетевшей тени. Кукла, маленькая моя, ты кто?

— Это не я маленькая. Это ты слишком большая.

— Но кто же ты?

— Я — это я. Может, для вас этого мало, а для куклы вполне достаточно.

Маленькая куколка счастья, она стучится в мое окно под порывами ветра. Ее платье намокло под ливнем, а лицо и руки совсем выцвели. Но кольцо по-прежнему у нее на пальце, а значит, и сила ее при ней. Зимой она колотит в окошко крошечными ножками в голубых башмачках и танцует, танцует танец холода, танец веселья — лишь бы отогреть душу, хрупкую деревянную душу, охраняющую удачу. Как только стемнеет, она с мольбой возденет руки к небу и по своему вкусу сотворит маленькую лунную ночь.

В *Эскориале*

Ну, словом, видишь-то себя девушкой; она идет куда-то вдаль, и горизонт ей улыбается. Волны набегают — или не набегают, — но плещутся так мелодично, так нежно. Даже страшно. Но, с

одной стороны, крепкое тело, золотистая кожа, чистые голубые — ну ладно, зеленые — глаза, на лбу ни морщинки, а с другой или с третьей, сверху, снизу, не знаю, изнутри — вот-вот, изнутри! — просто нищенка, попрошайка, ночующая под мостом, прижав к груди старую, облезлую куклу, вечно пьяная, потасканная, беззубая, изъеденная раком сифилитичка, и что с того, что на самом-то деле именно сегодня в отеле на краю бассейна под плотоядными взглядами многочисленных мачо ей дарована вся цветущая плодоносная Гишпания! Все равно ведь сифилитичка, нет, не в прямом смысле, не так, чтобы сломя голову мчаться к сифилитологу, но душевно, умственно изглоданная, искусанная — тебя, милочка, пожевал и выплюнул тигр: просто он был сыт, вот почему (так жить нельзя, а потому — скорее, скорее самоубиться!). Обгрызенная, изношенная, израненная, неизлечимая — несмотря на эти твои голубенькие или, ладно, так уж и быть, зелененькие глазки.

Потрепана, изъедена,
Давным-давно на грани,
И никакого смысла за этим не видать.

Впрочем, может, самоубиться как-нибудь иначе? Вернуться в Буэнос-Айрес, продолжить учебу?

А потом — лихо, играючи пользоваться приобретенной эрудицией. Взяться хоть за галисийско-португальские песни. Или песенки про залетку-милого дружка. *Коли ночка темным темна, а дороженька не длинна...* Исследовать что-нибудь, какую-нибудь эдакую тему, ну, не знаю — к примеру: “И откуда только берется такая красота” — стыдливо отводя глаза от собственных пассажей, их ведь и читать-то неловко — так на улице стараешься не смотреть на некоторые лица, лица падших ангелов с синяками, полученными при падении из рая. Надо как-то все это отточить, углубленно, методично, как собирают марки, чтобы в один прекрасный день вдруг почувствовать нестерпимый зуд, неудержимое желание сей же час проникнуть в тайны беглого “е”, выяснив, наконец, почему в детской считалке — район Медина-дель-Кампо — при передаче трогательной жалобы раненого ягненка вместо “бе-е-е” неизменно слышится “бя-я-я”. И вот результат: вместо того чтобы рассыпаться в прах мигом, tout de suite, растянуть это занятие на чертовы годы, которых у меня в запасе, разумеется, прорва, распылить целые десятилетия на что-нибудь никому ненужное, чтобы заслужить post mortem, мраморную дощечку, на фасаде дома, где меня мать родила.

Бывает, я просыпаюсь, и мне вдруг страшно хочется засесть за роман. Здорово было бы вместо всего вот этого сочинять на-

стоящую книгу с персонажами и все такое. Не расставаться с записной книжкой, делать заметки, как Тригорин в "Чайке", — одета безупречно, бледные пальцы на стопке белой бумаги, в руке гусиное, нет, лебяжье перо. Серьезная, собранная, повторяющая *подумать только, это поразительно интересно!*; читать лекции, анализировать происходящее с исторической, социологической, антропологической, политической точки зрения: *текущие события в предлагаемых обстоятельствах.* Уравновешенная, читающая газеты, поздоровевшая, может, даже замужем за серьезным, солидным господином, любовь два-три раза в неделю, не больше, даже Гегель... — а почему бы собственно мне не почитать Гегеля? — вдруг звонок, извините, никак нельзя, сеньора сейчас работает, она совершенно недоступна (а кто доступен-то, а?), *хорошо бы сделаться Бодлером или Рембо, только, пожалуйста, без их страданий.* По вечерам музыка — может, даже додекафонная (и вновь это модное: *надо же, это поразительно интересно!*) — или живопись, пусть даже Вазарели, а то, положим, и Мондриан, — *ах, они такие интересные!* — ну и политика, не без этого: пролистывать периодику, вчитываясь в то, что между строк, — чтоб не только раздел происшествий или литературную страничку, как сейчас, а вдумчиво, с чувством, с толком. Как стемнеет — ужин у писателя N или писательницы Z. Рюмка коньяка в ухоженной, в браслетах и кольцах, руке; разговор о китайских казнях; элегантно затягиваюсь сигаретой, взглядываю на часы, поднимаюсь ровно в одиннадцать тридцать — доброй ночи, господа, вечер был просто чудесный, но ровно в двенадцать я должна быть в постели, чтобы завтра в семь тридцать вновь чувствовать себя бодрой и свежей, и работать, работать до полудня — на обед здоровая пища с достаточным количеством витаминов, ни капли алкоголя, абсолютная трезвость, ничего возбуждающего, нет-нет, большое спасибо, ни конопли, ни гашиша, ни ЛСД (ах, ну, разумеется, я знаю об этом только по книгам: *это так интересно!*). Летом — на побережье: Капри, Сан-Тропе, Сантандер, Сан-Себастьян, Пунта-дель-Эсте, Мар-де-ла-Плата, Корсика... И ни в коем случае ни строчки, надо хорошенько восстановиться, прийти в себя, акклиматизироваться — только солнце, море, песок, нет, нет, благодарю вас, только, ради Бога, без их страданий, без всего того, что пережили они.

Эскориал

Концерт духовной музыки XVIII столетия в зале Коллегии Филиппа II в Эскориале. Усаживаюсь, и на меня находит — я читаю себе дурацкую нотацию. Вот, говорю, сейчас перед испол-

нением духовной музыки будет вступительное слово, слушай внимательно — ты, без сомнения, насладишься чистейшим испанским, тебе, языковой провинциалке, представилась наконец прекрасная возможность узнать, как правильно строится фраза, как произносится каждое слово...

На сцену вышла сама певица и принялась бубнить, уткнувшись в бумажку. Пробубнила она примерно следующее: "... его изящное и непосредственное чувство юмора, всю глубину и прелесть которого мы лишены возможности полностью осознать по причинам от нас не зависящим..." Она еще не закончила свое словоизвержение, когда старая и очень грузная немка, восседавшая по соседству с ними, взялась обмахиваться — освежать свои толстые щеки с помощью зажатого в руке веера, причем шум был, как в ковбойском фильме, когда Красавчик Джо скачет рысью по прерии, его еще не видать и только слышно неумолимо приближающееся *там-та-там, там-та-там, там-та-там*, и все эскориальские дамы, цвет общества, повернулись в ее сторону, но все, как одна comme il faut: ни слова упрека, ни одного осуждающего жеста, ни единой усмешки. А толстухе хоть бы что: *там-та-там, там-та-там, там-та-там*, пока я наконец не хмыкнула (Б. тоже, но более сдержанно).

Пытаясь сохранить серьезность, я возвела глаза вверх, к сводам: их так и вызвездило маленькими ангелочками, на первый взгляд безобидными, но мне вдруг представилось, как они всем сонмом обрушиваются, вдребезги разбиваясь, на голову певицы, которая прежде, похоже, играла комических служанок, а нынче выбилась в люди и вот, нате вам, поет — а она уже пела! — вильянсико во славу Господа.

Названия песен в программке были обозначены по-испански, но на слух я почему-то не разбирала ни слова. С рукой, прижатой к декольте, с выражением мировой скорби на лице она пела, а по бокам — два скрипача во фраках и бедная арфистка, которая, утеряв нить мелодии, растерянно шуршала ресницами и страницами. Певица испускала вопль за воплем, но я по-прежнему не могла ничего разобрать, пока вдруг не услышала знакомое слово: "Miserere". "Mais c est du latin?"[1], — удивился Б. Толстая немка вдруг встрепенулась и, оседлав свой веер, понеслась через весь зал к выходу, точно ее срочно куда-то вызвали.

1. "Так это латынь?" (*франц.*)

Борис Дубин

Приближение к ускользающей тени

Прочитавший эту подборку любитель зарубежной словесности, тем более — филолог-профессионал, наверняка подберет параллели из других литератур и назовет близких Алехандре Писарник “прóклятых поэтов”, безоглядных маргиналов и самоубийственных лириков невозможного. Если ограничиваться только XX веком, то таковы, скажем, Дино Кампана и Сильвия Плат, Эмиль Неллиган и Эдвард Стахура, Уника Цюрн и Харт Крейн, Жан-Пьер Дюпреи, Леопольдо Мария Панеро, Мариу де Са-Карнейру, Йоти Т’Хоофт... Кто-то подберет другие имена, вспомнит из XIX столетия Эдгара По, Беддоуса или Нерваля; сама Писарник сослалась бы скорее на Лотреамона и Каролину фон Гюндероде, Арто и Жарри. Но существеннее то, что, как видим, подобные rara avis вовсе не экзотика и что стихи, путь, образ каждого из этих поэтов по отдельности и их обобщенный, как сказал бы Морис Бланшо, “опыт-предел” — не отклонение, не крайность и не случайность, которые будто бы ни к чему не обязывают читателя и потому их, де, можно оставить без особого внимания. Напротив, этот излом обнажает принципиальные основы словесности, какой она стала в XIX–XX веках, выявляет ее центральные, ядерные структуры. Причем здесь важна и траектория каждой из таких “беззаконных комет”, их сугубо личный огонь и путь (иначе они не были бы поэтами), и обнимающее/принимающее их всех, совместное “другое небо”, превосходящее масштабами неповторимую индивидуальность любого (иначе они не смогли бы стать важными для всех нас). В чем важность поэзии, фигуры, примера Алехандры Писарник?

А они бесспорно важны. Достаточно сказать, что библиотека написанного о поэтессе на нескольких языках уже давно и во много раз превысила объемом сочиненное ею самой, хотя и этого, последнего, было не так мало: примерно за 15 лет печатного существования — десятки и десятки журнальных

© Борис Дубин, 2013

эссе, статей и рецензий, переводы с немецкого, итальянского и французского от Гёльдерлина и Мишо до Квазимодо и Бонфуа, девять книг собственной поэзии и поэтической прозы, еще несколько томов, включая дневники и эпистолярий, появились посмертно... Не здесь и не сейчас разбираться во всей посвященной Писарник "вторичной" литературе (в ней много тонкого и нужного), за неимением места ограничусь одним: совершенно ясно, что ее наследие и образ не отпускают читателей разных стран поколение за поколением. Хотя ни о чем подобном автору даже не мечталось.

Дело в том — и это, вероятно, самая важная вещь, которую стоит знать услышавшему об аргентинской поэтессе впервые, — что собственная личность, роль себя как писателя, более того, сами отношения со словом ежедневно и еженощно (а Писарник с детских лет страдала бессонницей) оставались для нее под вопросом и переживались как мука. Лучше других об этом сказал один из ее первых французских переводчиков, сам тонкий поэт и замечательный испанист Жак Ансе, перефразируя евангельскую формулу: "В начале была рана". Долгие годы знавший Писарник и высоко ценимый ею аргентинский лирик-сюрреалист Энрике Молина пишет о ее "зачарованности утраченным детством". Я бы добавил: утраченным и при этом не состоявшимся в реальности, не пережитым наяву, а потому так и не уходившим из воображения, — отсюда у поэтессы символика недоступного сада и другого берега, но и, конечно, "последней чистоты" (цитата из "Лета в аду" Артюра Рембо, который сходно переживал собственное детство). Многоязыкого писателя и переводчика, номада из культуры в культуру Альберто Мангеля, познакомившегося с Писарник в Буэнос-Айресе в 1967 году (это для задуманной им антологии на шекспировскую тему "У кладбища жил некий человек" поэтесса написала стихотворение в прозе "Дождь и покойники", приводимое в нашей подборке), поразил ее детский облик и детская манера говорить, а ведь ей было за тридцать и на десять лет больше, чем ему. И вот — ребенок ребенком: не зря у нее, на всю ее безжалостно перекрученную жизнь, остался почерк отличницы-первоклашки.

Писала и перемарывала она обычно не за столом, а на небольшой классной доске рядом. Не уверенная никогда и ни в чем, правила подолгу и многократно, только потом "муравьиными" буковками (выражение того же Молины) переносила несколько строчек — десять-двенадцать для нее уже непомерно много! — в записную книжку. Свой основной жанр она, со всеми оговорками по поводу себя как автора, называла математическим термином "аппроксимации", то есть приближе-

ния через сокращение. Над столом и доской была прикреплена цитата из Антонена Арто: “Для начала стоило бы захотеть жить”.

Дважды переименованная Алехандра (она прожила и осталась в памяти под этим придуманным ею самой в юности именем, а родовую фамилию отцу сменили еще раньше, по прибытии в Аргентину) не выносила собственного тела. Имени и тела — опоры и метафоры личности, нашего становящегося “я” (не зря ребенок ни имени, ни тела не знает). Писарник боялась любого своего воплощения и терзала тело как могла — голоданием, курением, алкоголем, амфетамином. Тело отвечало бессонницей и астмой, лишавшими пространства (воздуха), уничтожавшими время (смену дня и ночи). Консультировавший ее с двадцатилетнего возраста буэнос-айресский психоаналитик Леон Остров подчеркивал не физическое, а душевное происхождение ее болезней. Зеркала, двойники, маски — сквозные образы в стихах и прозе Писарник — ее всю жизнь тянули и отталкивали разом.

Суть здесь, конечно, не в физике, даже не в психике — и то и другое, “здоровы” они или “больны”, поэт превращает в поэзию, чем нам и важен. Но точно так же истребительно поэт Писарник относилась к собственному слову, больше того — к речи вообще. Она с детства заикалась, и потому выговор у нее был особенный. Ее подруга, а позднее — издательница и комментатор ее переписки, аргентинский поэт и филолог Ивонна Борделуа вспоминала: “Алехандра говорила буквально с другой стороны языка <...>. Присутствовать при ее разговоре было все равно что ехать в поезде, где каждый вагон движется со своей скоростью, окна непредсказуемо мигают, а скрытый и неведомый локомотив уносит тебя, как беззвучный ночной ураган. Гласные растягивались, пошатывались, а все вместе звучало как что-то непоправимо иноязычное”. Опять-таки суть не в физике. О румыно-французском поэте Герасиме Люка (Писарник вполне могла встречать его где-нибудь в Париже начала шестидесятых) Жиль Делез сказал, что он превращает заикание “из дефекта речи в аффект языка”. Самоистребительное недоверие к слову, никогда не дающемуся само собой, всегда одолеваемому с болезненным трудом (заикание!), было для Писарник единственно допустимой формой его существования и поэтической значимости.

Напомню более общий контекст: Писарник сложилась и работала в пору, для которой Натали Саррот нашла крылатую формулу — “эра подозрения” (поэтесса, думаю, читала это ее эссе 1950 года). Под такое подозрение к середине века, после всего им только что пережитого, в литературе было поставле-

но само право на авторитетное высказывание. Что-то значить и быть обращенным к другим для поэта сознательного и совестливого — в испанском, как и во французском, это одна вокабула — могло только слово, проверенное на себе и утвержденное собственной жизнью. Сюрреалистическая по образности, лирика Писарник была глубоко экзистенциальной по истокам. Это было слово, непрестанно и беспощадно испытующее свои возможности, границы и права. А потому навсегда недостижимое, обреченное, цитирую Писарник, "допытываться с помощью написанного, почему главное не поддается словам". Пытка как способ существования и способ письма. Слово, стремящееся не быть всего лишь словом. Еще короче: стремящееся не быть. Его единственная (и та самая, "последняя") цель — немота: "...молчание как та сказочная маленькая хижина, которую находят в лесу заблудившиеся дети". Автодиагноз из дневника: "Потеряю разум, если скажу. Потеряю жизнь, если смолчу". И еще оттуда же: "Самая большая тайна моей жизни: почему я не кончаю с собой".

В стихах и прозе Писарник несколько раз мелькает естественная для испанского языка, но, кажется, непереводимая на русский анаграмма, в которую, пожалуй, могла бы уложиться (при жестком минимализме поэтессы) вся ее жизнь: sentido (смысл, направление)/destino (судьба, удел). Если не найти первого, не нужно и второго. Но вот этот невидимый зазор между ними, пропуск, косая черта или тире и есть тот клочок внефизического пространства, где — вопреки абсолютной невероятности — существует и становится возможным слово поэта: "Место отсутствия // нитка ничтожной связи" (и все-таки — место! и все-таки — связь!).

Хулио Кортасар, в начале 1960-х подружившийся с Писарник в Париже (она увидела в испытательнице "метафизических рек" Маге из его "Игры в классики" свой портрет, хотя Кортасар позже отметил, что это не так), потом переписывавшийся с нею и причислявший ее к числу своих любимцев-хронопов, отозвался на смерть подруги стихотворной эпитафией. Ее заглавие — как надгробный камень или запись в поминальнике. В нескольких строчках здесь уместились многие дорогие для поэтессы вещицы и образы, включая собиравшиеся ею и раздариваемые потом друзьям в качестве амулетов цветные карандаши, а также загадочные "Lest Grands Transparents" Андре Бретона, которого она еще со студенческих лет переводила:

Алехандра

Поскольку Аида нет, ты, конечно, там,
в этом последнем отеле, последнем сне,
неукротимая странница по нигдеям.
Без пожитков и документов,
вместо обола протягивая тетрадь
или цветной карандашик.

— Возьми, перевозчик, дороже тебе не платили
за вход к Великим Прозрачным,
в сад, где ждала Алиса.

Наталья Рапопорт
В*от это место*!

"Как ты можешь жить в Юте?!" — недоумевают мои друзья. Объясняю: для счастливой жизни в Юте требуется соблюдение минимум трех условий, каждое из которых необходимо, но недостаточно. Условие первое — чувство юмора. Второе — фанатичная любовь к горам и горным лыжам. Третье — возможность уматывать отсюда несколько раз в год хоть на неделю. Факультативное условие — интересная работа.

Здесь фантастическая красота ошеломительных пейзажей. Каких-то четыре-пять часов езды на машине, и все, что вы знали об окружающем мире, разом уходит в прошлое, а вокруг внезапно вырастает новый волшебный мир с такой феерией белых, розовых и красных скал, что сквозь весь ваш атеистический цинизм невольно прокрадывается сомнение, не поработала ли здесь рука гениального Главного Архитектора. Вся эта архитектурная вакханалия сосредоточена, в сущности, на очень небольшом клочке земли. Недаром Голливуд облюбовал эти места: именно здесь снимают вестерны.

Пейзажи — это во-первых. Во-вторых, люди — спокойные, приветливые и улыбчивые. Здороваются при случайной встрече, словно живут в деревне, а не в городе с населением в миллион двести тысяч. В подавляющем большинстве — мормоны.

— Если тебе тут так хорошо, что ж ты рвешься "уматывать отсюда несколько раз в год"?

На этот вопрос следует дать развернутый ответ. Тогда станет понятно, почему первым условием жизни в Юте является чувство юмора.

И*стоки*

История мормонов начинается в конце 20-х годов XIX века. В ней много загадочного. Достоверно известно следующее: молодому человеку по имени Джозеф Смит явился ангел. Ангел сообщил, что Смиту предназначено перевести на английский язык и опубликовать истинную историю человечества, записанную на золотых пластинах, которые уже несколько тысячелетий хранятся в горной пещере в штате Нью-Йорк.

Вот как мне представляется встреча Джозефа Смита с ангелом. Ясным летним днем 1823 года молодой человек лет восемнадцати лежал в полудреме в тени большого дерева на лесной поляне. Делать ему было решительно нечего, и он задумчиво глядел в небо,

© Наталья Рапопорт, 2013

по которому медленно проплывали бледно-розовые кучевые облака. От нагретой земли поднималось марево, неподвижные ветки и листья, сквозь которые просвечивало бледное от жары небо, колыхались в нем, как живые. Юноша бы уснул, но внимание его привлекло облако, которое бежало по небу быстрее других, постоянно меняя форму, превращаясь то в крокодила с разверстой пастью, то в цветок, то в птицу. Внезапно облако остановилось прямо над его головой и стало стремительно приобретать человеческие очертания; он даже приподнялся на локте от изумления. От облака на землю метнулся яркий луч. Юноша зажмурился, а когда открыл глаза, перед ним оказался человек, которого можно было бы принять за местного фермера, если бы не два белоснежных крыла за спиной. Впрочем, он тотчас скрыл их под светлой легкой то ли туникой, то ли курткой.

— Я ангел Мороний, — представился пришедший, — а ты, если не ошибаюсь, Джозеф Смит?

— Да, это мое имя, — не стал спорить пораженный юноша.

— Я послан сказать тебе, что ты избран Богом, чтобы рассказать человечеству его истинную историю. Она записана на золотых пластинах, и тебе предстоит перевести их на твой язык и издать книгу, чтобы ее прочитали миллионы жителей твоей страны.

— Разве история человечества не записана в Библии? — удивился юноша.

— Записана, но с большими ошибками. Библию писали через два-три столетия после запечатленных в ней событий, с неизбежными искажениями. А историю на золотых пластинах писали свидетели и участники событий — много поколений одного семейства из рода нефийцев. Начинается она примерно за 600 лет до рождения Христа и кончается в 421 году, когда меня, последнего представителя этого славного рода, убили ламанийцы. В ней рассказывается о взлете и падении одной религиозной цивилизации. Предки мои когда-то жили в Иерусалиме, но покинули его как раз перед Вавилонским пленением. Построив корабль, они приплыли на нем в западное полушарие, в новую Землю обетованную. Эти места вы сейчас называете Южной Америкой. Разрозненные записи членов семьи, выгравированные на золотых пластинах, собрал человек по имени Мормон, мой отец. Он завещал мне сохранить пластины, даже, если понадобится, ценой собственной жизни. Нас постоянно преследовали, за нами охотились. Я бежал от преследователей из Южной Америки далеко на север, и мне удалось спрятать пластины в заваленной камнями пещере в лесу на горе, где мы с тобой сейчас стоим. Но вскоре меня догнали, и я погиб.

— Почему вас преследовали?

— К сожалению, после переезда в Америку семья разделилась на два враждебных клана: нефийцев и ламанийцев. Мои предки из рода нефийцев были благочестивы и богопослушны. Они построили храм и жи-

ли по закону Моисееву. Их пророки предсказывали рождение Христа и учили жить по божьим заповедям. Ламанийцы божьим законам не подчинялись; год за годом они пытались нас уничтожить, и в конце концов, спустя тысячелетие, им это удалось. Мормон, мой отец, был наш последний полководец. Он передал мне собранные им золотые пластины и погиб в бою. Два с половиной тысячелетия пластины пролежали в пещере. Наш Небесный Отец считает, что сейчас пришло время достать их и вернуть человечеству его истинную историю. Ты переведешь выгравированный на пластинах текст и издашь книгу. Пойдем, я проведу тебя в пещеру.

Для Джозефа Смита это было нелегкое путешествие. Мороний в буквальном смысле несся сквозь лесную чащу, Смит едва за ним поспевал. Наконец, видимо, прибыли, потому что Мороний резко затормозил на небольшой полянке в густой чаще, около двух огромных валунов.

— Раздвинь камни, — приказал Мороний.

— Ты что, как я могу раздвинуть такие огромные камни?! — поразился юноша.

— Можешь, — прикрикнул на него ангел, и Джозеф Смит с удивлением обнаружил, что действительно без особого труда сдвинул с места валуны немыслимого размера. За ними обнаружился проход, и они вошли в пещеру. Она вся сияла от золотых пластин, испещренных странными письменами.

— Я не смогу это перевести, — сказал Джозеф Смит. — Я не знаю этого языка!

— Знаешь, — сказал ангел, и Джозеф Смит с удивлением обнаружил, что легко читает выгравированный на пластинах текст.

Каким-то чудом они разом перетащили пластины в дом Смита. Теперь ангел не несся сквозь чащу, а двигался с драгоценным грузом осторожно и аккуратно. С последним лучом солнца он прежним маршрутом вернулся на небо.

Три года, три долгих года, Джозеф Смит не думал ни о чем, кроме перевода табличек. Он работал истово днем и ночью, не отвлекаясь на естественные для юноши его возраста занятия. Это сказалось позже, когда он, уже будучи признанным мормонским пророком, принялся наверстывать упущенное, что стало одной из причин его трагической гибели. Но об этом чуть позже.

Через три года был закончен труд, в самом буквальном смысле завещанный от Бога. Не успел Джозеф Смит поставить последнюю точку, как явился Мороний и хотел унести платины на небо.

— Да кто же мне поверит, что пластины были и я все это не выдумал! Так нельзя! — впервые возразил ангелу Джозеф Смит.

— Пожалуй, ты прав. Позови-ка пять человек, пусть подпишут, что видели золотые пластины, — согласился ангел.

Так и сделали. Джозеф позвал своего брата, отца и пару приятелей. Они подписали документ, удостоверяющий, что золотые пластины существовали. Моронию этого показалось мало, и он приказал позвать еще троих. С этих восьми, под-

писавших справку о золотых пластинах, в 1830 году началась мормонская религия. Сейчас она насчитывает около 13 миллионов приверженцев.

В сущности, об описанных выше событиях мы располагаем весьма скудными сведениями, исходящими в основном от самого Джозефа Смита. А вот о событиях, последовавших за его судьбоносной встречей с ангелом Моронием, имеются многочисленные свидетельства очевидцев, и мы ими воспользуемся. Кто он, первый мормонский пророк, чьи скульптурные и живописные портреты украшают мормонские дома и храмы?

Кто вы, пророк Джозеф?

Джозеф Смит родился в Вермонте в 1805 году. Все вокруг, включая членов его семьи, практиковали религию на разные лады и, кто как мог, верили в видения и предсказания. Когда мальчику было двенадцать лет, семья перебралась в штат Нью-Йорк. Джозеф Смит окончил церковную школу, откуда почерпнул пригодившиеся ему впоследствии сведения о Библии. Не имея постоянной работы, он перебивался случайными заработками на полях соседних фермеров. Его рано начали посещать разнообразные видения (сегодня мы бы сказали "глюки"). Глюки бывали и у его родителей – тогда это считалось нормой. Однажды, копая колодец у соседа, Джозеф Смит нашел гладкий камень шоколадного цвета и решил, что это магический кристалл. Он отправился с ним на поиски сокровищ, но камень не помог, и впоследствии Смит нашел ему более выгодное применение: этому камню суждено было сыграть ключевую роль в "переводе" золотых пластин. Судя по сохранившимся письмам и запискам, будущий пророк был не силен в грамоте и предпочитал диктовать "перевод" двум писцам. Диктовал он либо из-за занавески, либо сидя в полной темноте с большой шляпой в руках, на дне которой лежал его магический кристалл. Сквозь него он видел золотые пластины, на каком бы расстоянии они ни находились. Диктовал он четко и уверенно, никогда не поправляя сказанное.

Закончив перевод, Смит подарил камень своему другу; впрочем, еще два у него остались: через них он связывался с ангелом и получал указания свыше. Так продолжалось вплоть до 1833 года, когда Смит объявил, что больше в магических кристаллах не нуждается – откровения приходят к нему напрямую, без посредников... Он стал Пророком.

26 марта 1830 года Книга Мормона была опубликована издательством "Пальмира". Для осуществления этого грандиозного проекта хозяин "Пальмиры" заложил свое имение. Смит, что называется, "проснулся знаменитым" – пока еще в локальном масштабе, в узком кругу приближенных. Меньше чем через две недели он объявил о создании новой ветви христианской религии, которая сейчас называется Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, или мормонская цер-

ковь. Ее популярность быстро росла (думаю, в немалой степени этому способствовало практиковавшееся мормонами многоженство, о котором ниже), но у новой религии были и серьезные оппоненты. Смит организовал небольшую армию ("милицию"), с помощью которой мормоны воевали с соседями, не слишком одобрявшими их образ жизни. В довершение к многоженству, пророк, по-видимому, был не очень чист на руку, мухлевал с банковскими счетами своих последователей, имел много кредиторов и несколько раз попадал в тюрьму.

Через восемь лет после возникновения мормонской религии терпение ее оппонентов лопнуло, и начались события, вошедшие в американскую историю как Мормонская война. Мормоны вынуждены были бежать и в конце концов осели в городке Наву на реке Миссисипи, в штате Иллинойс. Тут они развернулись по-настоящему. Смит стал мэром, и все ключевые позиции в городском управлении заняли мормоны. Амбиции пророка росли, и в 1844 году он объявил, что начинает кампанию по избранию его американским президентом. Этому помешали внезапно разыгравшиеся драматические события, изменившие ход мормонской истории.

В Наву, как и всюду в те годы, у мормонов были противники. Они организовали типографию, и 7 июня 1844 года основанная ими газета отпраздновала свой первый и единственный выпуск, содержавший резкую критику мормонских порядков и лично мистера Смита. Утверждалось, что мормоны захватили слишком много власти; что Смит женат на восьми женщинах, четыре из которых продолжают жить с предыдущими мужьями; что Смит берет женщин в жены фальшивыми обещаниями или силой; что мормоны установили в городке теократические порядки. Смит приказал уничтожить диссидентскую газету и разгромил типографию. Начался настоящий вооруженный конфликт (Иллинойская мормонская война). Успех опять не сопутствовал мормонам, и губернатор штата Иллинойс уговорил Смита сдаться. Он гарантировал ему безопасность, но не свободу: Смит и его брат Хайрум ожидали суда в местной тюрьме. Губернатору не удалось сдержать обещание: 27 июня на тюрьму напала вооруженная толпа с раскрашенными лицами. Утром того дня Смита в тюрьме навестили его соратники и тайно снабдили оружием, так что он отстреливался от нападавших и, по слухам, кого-то то ли ранил, то ли убил, но вскоре пал под натиском превосходящих сил противника... Толпа растерзала и его, и его брата. Пророку не было тогда тридцати девяти лет...

После гибели Смита встал вопрос о преемнике. На роль нового пророка претендовали три человека из верхних эшелонов мормонской власти. В результате церковь разделилась. Многие пошли за Бригамом Янгом, героем жутковатой повести Конана Дойла "Этюд в багровых тонах". Он привел мормонов в Юту. Вся реальная власть в нашем штате и сегодня принадлежит мормонам, и отделить Церковь от государства

здесь довольно трудно. А неосуществленную мечту Джозефа Смита об американском президентстве имел реальный шанс осуществить новый кандидат на этот пост, мормон Митт Ромни. Он и действующий президент Обама на выборах долго шли ноздря в ноздрю, и только на самом последнем этапе выяснилось, что шанс Ромни не реализовался. И все-таки замечательно, что почти 50 % американцев проголосовали за мормона.

Любвеобильные пророки

Смит начал пропагандировать многоженство вскоре после опубликования Книги Мормона. В 1977 году историк Тодд Комптон, член мормонской церкви, опубликовал солидный труд о печальных судьбах тридцати трех жен первого мормонского пророка. Комптон не сомневается, что Джозеф Смит был пророком и не судит его — просто излагает исторические факты без комментариев. Попробую и я последовать его примеру.

Со своей первой супругой Эммой, будущей старшей женой, Смит сочетался легальным браком. Остальные тридцать две жены пророка были, по его определению, "небесными женами", хотя отношения со многими из них были, по историческим свидетельствам, вполне земными. Эмма не одобряла такую практику, и пророк предпринимал героические усилия, чтобы скрыть от нее свои отношения с "небесными женами". Вот несколько документированных эпизодов.

Когда Бог, по утверждению Смита, в очередной раз приказал ему "взять несколько жен", пророк обратился к некоему Бенджамину Джонсону с просьбой отдать сестру того ему в жены. Джонсон был в шоке. Немного придя в себя, он сказал: "Брат Джозеф, я такого не ожидал и не понимаю. Вам известно, что это правильно, а мне — нет. Пусть будет по-вашему, но, если я узнаю, что вы обидели и обесчестили мою сестру, клянусь Богом, я вас убью". И в апреле 1843 года Алмера стала двадцать первой женой Смита. Ее брат оставил подробное (что было редкостью) описание церемонии бракосочетания. Эмма в это время находилась, видимо, в отъезде, потому что брачная церемония проходила в доме Смита, и то, что за ней последовало, произошло в "комнате номер десять", куда Бенджамин привел сестру по указанию пророка. Интересно, что за месяц до того Смит просил у Джонсона разрешение провести время в одной из комнат его дома с дочерью покойного мормонского епископа Патриджа. Не ясно, какую из двух дочерей Патриджа упоминает Бенджамин, ибо Бог приказал Смиту взять в жены обеих с интервалом в четыре дня, и ни одна из сестер долго не догадывалась, что они замужем за одним и тем же похотливым жизнелюбом. Спустя три недели после бракосочетания с Алмерой Смит снова появился в доме Джонсона и занял с его сестрой ту же комнату и ту же кровать, на которой не столь давно наслаждался жизнью с дочерью покойного епископа... Позднее обе сестры Патридж посели-

лись в доме Смита, но были оттуда изгнаны его первой женой Эммой...

Многоженство Смита было поначалу окружено строгой секретностью. В 1842 году он назначил своего близкого друга Ньюэла Уитни епископом и посвятил его и его жену в доктрину многоженства, а вскоре попросил руки их семнадцатилетней дочери Сары Энн, пообещав им, если они согласятся, множество благ в вечной жизни. Спустя месяц он написал Уитни письмо с просьбой привести Сару Энн к нему в секретное место, соблюдая чрезвычайную осторожность, чтобы не попасться на глаза Эмме. Письмо он просил по прочтении сжечь, чего Уитни не сделали, и письмо дошло до потомков. Чтобы скрыть свои отношения с Сарой Энн, девять месяцев спустя Смит организовал и освятил ее фиктивный брак. Попутно он женился на четырнадцатилетней Элен Мар Кимбалл, дочери другого своего приятеля, которого, как и Уитни, вознес на вершины мормонской иерархии.

Браки Джозефа Смита имели много общих черт. Во-первых, он только исполнял Божью волю, продиктованную ему в ночных откровениях, за что новые жены и их близкие родственники получали гарантию вечной жизни в небесном царстве. Во-вторых, жены должны были поклясться строго соблюдать секретность брака и ни в коем случае не обращаться к Смиту как к мужу на публике: пророк смертельно боялся своей первой жены Эммы. Возрастные группы жен Смита были подобраны весьма разумно. Одиннадцать жен — от четырнадцати до двадцати лет, девять — от двадцати до тридцати, восемь — от тридцати до сорока, две — от сорока до пятидесяти и три — от пятидесяти до шестидесяти. Последних, думаю, он держал "на хозяйстве". Как нетрудно догадаться, жилось им всем несладко. Постоянные переезды, жизнь на колесах. Всюду — сначала построенные, затем покинутые дома, взятые замуж, затем покинутые жены. Согласно историческим свидетельствам, одиннадцать из тридцати трех документированных жен Смита продолжали жить со своими первыми, "гражданскими" мужьями.

После безвременной смерти пророка овдовевшим женам было разрешено выбрать себе в мужья какого-нибудь другого мормонского лидера. Бригам Янг унаследовал тринадцать жен Смита, добавив их к собственному гарему. Во времена Янга Юту посетил Марк Твен, который, вернувшись домой, записал: "Не вызывает сомнений, что Бригам Янг действительно святой человек. Он женат на двадцати восьми самых уродливых женщинах Америки!" Печальна была судьба этих женщин: от сурового Бригама Янга не приходилось ждать ни эмоциональной, ни физической, ни финансовой поддержки...

В 1852 году пророк Орсон Прат снял с многоженства вуаль секретности, и вплоть до 1890 года мормоны открыто практиковали и пропагандировали многоженство. Реакция внешнего мира с первых минут была негативной. В 1862 году американский конгресс зако-

нодательно запретил многоженство на принадлежащих США территориях, приравняв его к рабству. Однако властям тогда было не до мормонов — шла Гражданская война, — и мормоны продолжали свою практику. Они утверждали, что право это дано им Конституцией, провозгласившей свободу религии. Ответ федеральных властей был прост: *верить* вы можете во что угодно — этого вам никто не запрещает. Вам запрещают *практиковать*.

Американский Север победил в войне с рабством, и в 80-х годах XIX века власти серьезно взялись за многоженство. Многоженцам грозило тюремное заключение до пяти лет и штраф в 500 долларов — по тем временам сумма очень солидная. Жен заставляли публично отказываться от мужей, иначе отбирали детей. Власти ограничили иммиграцию мормонов из Европы в Америку; были введены и другие ограничения. Жизнь мормонов стала очень трудной, и многие ушли в подполье.

Когда в 1847 году Бригам Янг привел мормонов в Юту, эта часть земли, как и теперешние Колорадо, Аризона, Нью-Мексико или Вайоминг, была так называемой "территорией", то есть не входила в состав Соединенных Штатов. Юта рвалась в состав США, и в течение 50 лет мормонские правители неоднократно подавали на это заявки, отвергаемые из-за многоженства. В конце концов стремление стать штатом победило, и в 1890 году президент Церкви Вилфорд Вудрафф выпустил манифест, осуждавший многоженство и предлагавший мормонам жить по законам Соединенных Штатов. Мормонская церковь на своем генеральном съезде одобрила манифест и официально объявила многоженство вне закона. Тогда же полигамисты были исключены из ее лона. В результате этих мер в 1896 году Юта вошла в состав США как равноправный член.

Когда многоженцев изгнали из официальной церкви, они основали свою церковь, верную старым традициям, под названием "Фундаментальная церковь Иисуса Христа Святых последних дней". Официальная мормонская церковь, конечно, фундаменталистов не признает и всячески от них отмежевывается. Фундаменталисты живут своей закрытой жизнью в маленьких городках, большей частью на юге или на севере Юты, но иногда ближе к центру и даже в столице. Обычно они живут колониями. Еще совсем недавно одно такое поселение было минутах в десяти езды от моего дома, в ущелье по дороге к горнолыжному курорту. Сейчас оно, похоже, пустует.

Фундаменталистов не трогают, пока они не высовываются, но время от времени случаются громкие процессы, привлекающие внимание далеко за пределами Юты и даже Америки. Один такой процесс был спровоцирован симпатичным рыжеватым сорокалетним полигамистом по имени Том Грин, который вылез на телеэкраны с пропагандой своего образа жизни. Грин сообщил телезрителям, что у каждого полноценного мужчины обязательно есть любовницы, так как прожить жизнь с единст-

венной женщиной абсолютно невозможно. Но любой "одноженец" переспит с любовницей — и был таков, поскольку не несет ответственности ни за нее, ни за возможных детей, а он, Том Грин, нежно заботится о своих пяти женах и тридцати пяти детях. Следователи раскопали, что на своей первой и *легальной* жене Линде Кунц, с которой он прожил почти двадцать лет и прижил пятерых детей, Грин женился, когда ей было тринадцать лет. В Юте до 1999 года легально разрешенным возрастом для брака было четырнадцать лет (с 1999-го — шестнадцать), и, стало быть, Грин "изнасиловал малолетнюю". За это преступление бедняга под горестные вопли пяти любящих жен получил статью, предусматривающую заключение от пяти лет до пожизненного. Его осиротевшие дети перешли на содержание штата, и я, как налогоплательщик, принимаю в их содержании активное участие.

Экономика в Америке — мотор политики, поэтому современные власти предпочитают многоженцев не замечать, если те не совершают дополнительных уголовных преступлений. Но они, к сожалению, довольно часто их совершают — как правило, насилуют малолетних. У них в моде выдавать беззащитных двенадцати-тринадцатилетних девочек замуж за стариков, нередко их близких родственников. С годами у похотливых старцев аппетит на тринадцатилетних только разыгрывается. Девочек готовят с детства: внушают, что они должны полностью подчиняться и во всем угождать будущему мужу, иначе будут гореть в аду. Многие верят...

Как-то внимание средств массовой информации привлек секретный полигамный клан Кингстонов, насчитывающий полторы тысячи членов — им принадлежат в Юте земли, школы, спортивные залы, доходные дома, магазины и угольные шахты. На банковском счету патриарха клана оказалось 150 миллионов долларов. При этом выяснилось, что его многочисленные дети находятся на содержании штата (в обиходе — "на вэлфере"), поскольку их матери официально числятся матерями-одиночками! А выплыло все это на свет из-за истории с его шестнадцатилетней дочерью. Он выдал ее замуж за своего тридцатидвухлетнего родного брата. Девочка стала своему дяде пятнадцатой женой. Она с трудом выдержала семь месяцев брака, сбежала от мужа, вернулась к матери и попросила у нее защиты. Мать тотчас же позвонила отцу девочки. Тот приехал, забрал дочь, увез в какой-то амбар на принадлежавшем ему отдаленном ранчо, жестоко избил, сломал ей нос, бросил в амбаре и укатил. В три часа ночи девочка добралась до ближайшей автозаправки в семи милях от ранчо и позвонила в полицию. С этого звонка и началась широкая кампания в прессе, и многое тайное сделалось явным. Оказалось, что клан Кингстонов существует примерно с 1935 года. Сейчас лидером клана является некий Поль Кингстон. У него, по слухам, пятнадцать жен и пятьдесят детей. Члены клана считают его пророком:

"Только Поль может беседовать напрямую с Богом, мы — не можем". Отец покалеченной девочки был арестован по обвинению в издевательстве над ребенком и осужден на двадцать восемь недель тюремного заключения. Обвинение в инцесте и незаконном сексе было предъявлено и дяде-мужу. Этот получил 10 лет без права помилования или досрочного освобождения.

За другим уголовным процессом — над последним пророком фундаменталистов Уорреном Джеффсом, омерзительного вида слизняком, следила вся Америка. Пост пророка он унаследовал от своего отца, у которого было шестьдесят детей от двадцати жен. Последним браком он женился в восемьдесят восемь лет на восемнадцатилетней девушке; семидесятилетнюю разницу в возрасте супругов следовало бы занести в Книгу рекордов Гиннесса... На суде над Джеффсом среди прочего фигурировала аудиозапись: девочка лет пятнадцати учит личным примером двенадцатилетнюю — новую жену — каким способом доставлять этому пятидесятишестилетнему монстру сексуальное наслаждение. Уоррен Джеффс успел жениться восемьдесят раз, из которых два раза, в последние годы, — на несовершеннолетних. К моей большой радости он получил пожизненное заключение. Его бывшая паства воздвигает этому святому мученику невероятных размеров монумент.

Несмотря на предпринятые федеральными властями жесткие меры, даже сегодня в Юте, по официальным данным, около сорока тысяч многоженцев. Не все из них такие омерзительные, как Джеффс. И если они содержат своих детей, платят налоги и не обижают малолетних девочек — я не возражаю. Многим женщинам нравится их образ жизни, и другого они не хотят. С беззащитными девочками и их рабынями-матерями все понятно. Но что движет мужчинами — только ли сексуальный ажиотаж? Оказывается, не только. Один славный многоженец очень искренне объяснил в интервью, что он и его соратники по полигамному клану служат Богу тем, что имеют много жен и рожают много детей, ибо множество душ на небе подолгу ждут своего часа, чтобы одеться плотью и обрести земную жизнь. Многоженцы значительно эффективнее, чем те, кто имеет только одну жену, работают в этом направлении и тем радуют Творца.

Надо сказать, что и "одноженцы" — члены официальной мормонской церкви, — по моим наблюдениям, тоже вполне эффективно радуют Творца: когда я в начале 90-х появилась в Юте, во многих мормонских семьях было по десять-пятнадцать и даже восемнадцать детей. Официально разрешенный возраст для замужества в Юте — шестнадцать лет, так что радовать Творца девочки начинают очень рано и продолжают до полной отключки детородного органа. Сейчас число детей в мормонской семье катастрофически упало — то ли интернет виноват, то ли вообще наступает некоторый кризис мормонского жанра, но

только девочки повыскакивали из постелей и пошли учиться в колледжи и университеты. Поразителен этот стремительный прогресс, который вряд ли теперь остановишь...

Мормоны и смерть

Хороший моногамный мормон свой первый брак обычно заключает в мормонском Храме. Это здание является географическим и духовным центром столицы штата Солт-Лейк-Сити. От него идет отсчет направлений и расстояний, он служит началом координат в декартовой системе. В Храм допускаются только Президент церкви и двенадцать апостолов (или пророков), простому мормону вход туда заказан. Но есть в Храме специальное помещение для бракосочетаний. Чтобы удостоиться чести сочетаться здесь браком, надо представить рекомендацию от районного епископа. Брак, заключенный в Храме, освящен ("запечатан") на вечные времена. И если человек потерял жену или, не дай Бог, развелся и женился вторично (что скандально), все равно после смерти, хочет он того или не хочет, он будет навеки связан с женой, брак с которой заключил в Храме. Более того: сегодняшние мормоны нашли способ помочь своим предкам, скончавшимся до того, как Храм был построен. Они могут "поженить" в Храме покойных предков с помощью специального обряда и тем самым увековечить их брак (молчаливо предполагается, что это полностью соответствует желанию умерших).

К смерти мормоны относятся очень спокойно. Они никогда не говорят "умер", они говорят "вернулся к своему Небесному Отцу" и не слишком горюют по поводу утраты, поскольку под крылом у Небесного Отца умершему не хуже, а может, и лучше, чем было на Земле. Поэтому похоронный обряд у мормонов на редкость жизнерадостный. Мормоны верят, что души праведников отправляются на специальную, ближайшую к Богу, планету, и, когда раздастся трубный глас, оденутся плотью и оживут для вечной жизни. Души грешников летят на далекую планету и трубный глас не услышат...

Теперь самое время объяснить, почему для жизни в Юте необходимо чувство юмора.

Мормонская религия совмещает в себе черты различных мировых религий. Мормоны очень хорошо относятся к евреям, потому что считают себя потерянным еврейским коленом. У евреев они позаимствовали много символики и названий. Одно из зданий на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити украшает звезда Давида. На окраине города протекает небольшая речушка Иордан. Банк и Национальный парк называются Сион. Посетивший нас как-то Шимон Перес сказал: "У вас Сион и у нас Сион. У вас в Сионе деньги, а у нас — история". От раннего иудаизма и сегодняшних мусульман у мормонов многоженство и запрет на спиртное. От католиков и православных — вера в Христа как Божьего сына. Но есть одна черта, которой нет ни в одной современной религии:

посмертное крещение в мормоны.

Каждый мормон знает, что должен при жизни обратить в мормонство как можно больше народа. Чем успешнее выполняется эта задача, тем большее вознаграждение ждет его в вечной жизни. Мормонские юноши и девушки разъезжают с этой миссией по всему свету. Миссия обращения, заметьте, благородная: церковь учит, что только мормон может попасть после смерти в Царствие Небесное, для остальных на вратах висит табличка "Вход воспрещен".

А как быть с теми предками, что умерли еще до того, как возникла Церковь Иисуса Христа Святых последних дней? Или с покойными иноверцами, при жизни не имевшими возможности (или отказавшимися) вступить в мормонство? Есть выход. Их можно крестить в мормоны посмертно. Через живого представителя, или, по-английски, "бай прокси". Посмертное крещение "бай прокси" проходит только в специально освященных для этого храмах. Доброволец, взявший на себя роль представителя умершего, входит в зал, где на изваяниях быков стоит большая мраморная купель, а за компьютером сидит клерк. Представитель объявляет: "Я крещусь от имени такого-то во имя Иисуса Христа", совершает омовение в купели, и клерк заносит имя нового мормона в реестр. Традиция эта, по утверждению мормонских пророков, идет от ранней православной церкви, которая в IV веке отказалась от этой практики, но в Новом Завете есть о ней упоминание, и идею в 1840 году подхватил Джозеф Смит. Мормоны уверены, что посмертным крещением оказывают огромную услугу покойным: близким людям дается шанс встретиться в вечной жизни и вместе войти в Царствие Небесное. Заметьте: *шанс*. Никакой принудиловки. Покойные вольны сами решать, воспользоваться ли им этим шансом.

Крестить "бай прокси" может любой мормон, достигший двенадцати лет, и это ему засчитывается как плюс в нынешней и вечной жизни. Есть, однако, небольшая загвоздка: согласно официальным правилам крестят посмертно только с разрешения живущих родственников, если таковые имеются. Реально, конечно, крестить можно любого умершего, если знаешь имя, поскольку он вряд ли сможет что-либо возразить. И кого-то осенила блестящая идея: начиная с 1990 года, мормоны стали крестить жертв Холокоста. Шесть миллионов известных имен и крайне маловероятное наличие родственников, у которых надо было бы испрашивать разрешение, — удобнее просто не придумаешь! Выплыло это случайно и далеко не сразу. Просто мормоны зашли слишком далеко: крестили известного охотника за сбежавшими нацистами Симона Визенталя (умер в 2005 году) и Анну Франк... Поднялась волна протеста, копнули поглубже и обнаружили — не поверите! — что в 1993 году кто-то заодно с жертвами Холокоста крестил Адольфа Гитлера, его родителей и подругу жизни Еву Браун! Действительно, без мормонского благословения Адольф Гитлер вряд ли попал бы в Царствие Небесное... После много-

численных скандалов, в 1995 году мормоны обещали прекратить крестить жертв Холокоста, но упорно продолжают это делать. Наряду с жертвами Холокоста они крестят умерших знаменитостей, благо имена известны, и порой ставят Церковь в довольно двусмысленное положение. Недавно, например, окрестили маму президента Обамы, скончавшуюся в 1996 году. Средства массовой информации с интересом ждали реакции со стороны Обамы, но он предпочел отмолчаться.

Как выбирают пророков

Теперь пара слов о церковной структуре. Ее архитектором был Джозеф Смит, и с той поры она мало менялась. Во главе мормонской церкви стоит Президент; у него есть трое ближайших советников из числа пророков ("тройка"). Президентом назначают самого старшего из двенадцати пророков, именуемых апостолами (Кворум Двенадцати апостолов). Каждый пророк имеет шанс стать со временем Президентом, если переживет предшественника. Следующая ступень вниз по мормонской иерархической лестнице — Кворум семидесяти; пророков избирают из их числа. Наконец, каждый небольшой район имеет свою церковь и духовного наставника, в прямом переводе — епископа, по-американски — бишопа. Бишоп — не профессиональный священник, а обычно вполне преуспевающий господин, основная работа которого вне церкви.

Каждый мормон платит церкви "десятину" — десять процентов дохода. Мормонская церковь очень богата, потому что богата ее паства. Несколько мормонов-миллиардеров входит в ежегодно обновляемый список четырехсот самых богатых семей Америки, публикуемый журналом "Форбс". Миллионеров и мультимиллионеров сотни, если не тысячи. Кроме "десятины", отдаваемой церкви, богачи активно занимаются благотворительностью. Марриотт, чьи отели раскиданы по всему миру, — мормон. Нескольким университетам штата он подарил роскошные здания библиотек, они так и называются — библиотеки Марриотта. Хантсман, владелец химических фирм, трогательно пытавшийся когда-то помочь своими деньгами разоренной землетрясением Армении, — мормон. Он поддерживает исследования в области рака и подарил штату 250 миллионов долларов на строительство и организацию Ракового центра Хантсмана в Солт-Лейк-Сити. Браунинг, сконструировавший пистолет своего имени, — мормон. Мой покойный друг Джим Соренсон, сын бедного фермера, четыре миллиарда сделавший своими руками на биомедицинской аппаратуре, — мормон. И таких много; каждый платит Церкви сотни миллионов в год. Добавьте к этому 12 миллионов мормонов помельче. Если каждый отдаст Церкви хотя бы тысячу долларов — посчитайте сами, сколько получится.

Мормонская структура вам ничего не напоминает? Не кажется, что она очень похожа на советскую партийную иерар-

хию: генеральный секретарь — политбюро (12 членов) — центральный комитет — районные комитеты. Партвзносы. Впрочем, есть и кардинальные различия. Во-первых, активная благотворительность. Во-вторых, сегодняшние мормоны не преследуют инакомыслящих (хотя раньше и такое бывало) и, как ни дико это звучит для нашего уха, *не пьют*. В более чем миллионной столице штата винные магазины в прямом смысле можно пересчитать по пальцам — и никогда никаких очередей. Ситуация изменилась после Олимпиады 2002 года, открывшей Юту миру. До этого, если в винном магазине, паче чаяния, кроме вас был еще хоть один покупатель — можно было смело заговорить с ним по-русски: в девяти случаях из десяти вы попадали в цель. Повторяю: мормоны не пьют. Даже пива. Вот как это получилось.

Напомню, что первых пионеров привел в Юту Бригам Янг. Выйдя из узкого ущелья и увидев открывшуюся перед ним панораму, Бригам Янг произнес историческую фразу (которую в штате Юта знают даже грудные дети):

– *Вот это место!*

Здесь сейчас стоит монумент, который так и называется: монумент "Вот это место".

Что же увидел Бригам Янг? Он увидел пустыню и огромное озеро. Пустыня простиралась на несколько десятков миль между восточными и западными отрогами Скалистых гор. Вода в озере оказалась очень соленой, почти как в Мертвом море, и озеро получило название Великое соленое озеро (Грэйт-Солт-Лейк). Отсюда и возникший вскоре город стал называться Солт-Лейк-Сити, или, по-нашему, Соленоозерск.

Территория, куда пришли первые мормоны, была непригодна для жизни и никому не нужна. На этой суровой земле обитали только индейцы, в основном племени Юта ("горы"), откуда и получил впоследствии штат свое название. Следом за передовым отрядом мормонов потянулись остальные. Они шли через горы со скотом, фургонами, телегами, с многочисленными женами и бесчисленными детьми, и после многомесячного изнурительного путешествия остановились в долине Великого соленого озера. У пришельцев был только один шанс выжить — сделать территорию, на которой они осели, пригодной для земледелия и скотоводства. Поначалу мормоны, руководствуясь коммунистическими идеями, основали нечто вроде колхозов — сельскохозяйственные коммуны. Продуктивность их была крайне низкая, и от отчаяния и безысходности народ начал пить по-черному. Тогда, как сообщает мормонская история, то ли Бригаму Янгу, то ли одной из его жен ночью было откровение: явился ангел и сообщил, что мормонам запрещено пить горькую и другие алкогольные напитки. Заодно он почему-то запретил пить чай и кофе. Наутро Бригам Янг объявил волю ангела народу и стал следить за неукоснительным ее исполнением, сурово карая нарушителей. Одновременно он упразднил колхозы и перевел сельское хозяйство на частное предпринимательство. Дело сразу

пошло на лад. За рекордно короткий срок пустынная долина превратилась в цветущий сад — чудо, впоследствии повторенное израильтянами. Отцы семейств отныне не тревожились о будущем: прилежно трудясь вместе с женами, они могли прокормить и их, и своих бесчисленных потомков. Так Юта стала безалкогольным штатом.

Как я поступала на работу в мормонский университет

В середине 90-х я затеяла один проект и пригласила принять в нем участие профессора из университета имени Бригама Янга, у которого было нужное мне оборудование. Университет этот (буду называть его УБЯ) принадлежит мормонской церкви и гораздо богаче университета, в котором работаю я, потому что мормонская церковь — один из самых богатых институтов Америки. Понимая ценность образования, церковь щедро раскошеливается на содержание своего университета: чем лучше специалист, тем выше оплачивается его работа и, соответственно, больше церковная "десятина". Здесь самая низкая среди частных университетов Америки плата за обучение — раз в десять меньше, чем, например, в Гарварде, и, соответственно, большой конкурс. Профессора и студенты УБЯ по преимуществу, конечно, мормоны: студенты на 99 процентов, профессора — на 95. В отличие от УБЯ мой университет — секулярный, принадлежит штату и всецело зависит от его скудных субсидий.

Нежданно-негаданно, мой проект выиграл грант Национального фонда науки. По условиям гранта, я могла выбрать любой университет Америки и поехать туда на год работать. Но я уже завязала сотрудничество с УБЯ и преподнесла им ценный подарок, явившись туда с мешком денег за спиной: 183 тысячи долларов, из которых только 60 шли мне на зарплату, а остальные — на поддержку студентов, покупку необходимого оборудования, вообще на нужды университета. Но не так все просто. Церковь строго следит за моралью студентов и профессоров. Еще до начала необходимых интервью, я получила на подпись бумагу, в которой было пять существенных пунктов:

1. Обязуюсь не пить алкогольных напитков ни в кампусе, ни вне кампуса.

2. Обязуюсь не курить и не сквернословить ни в кампусе, ни вне кампуса.

3. Обязуюсь не пить ни чая, ни кофе ни в кампусе, ни вне кампуса.

4. Обязуюсь соблюдать стандарт одежды (прилагается) в кампусе и вне кампуса.

5. Никаких внебрачных связей!

Да что же это, люди добрые! Всю мою жизнь, даже в Америке, меня преследует проклятый пятый пункт! Я не удержалась и позвонила мормонскому коллеге: "У меня вопрос по поводу пятого пункта в вашей форме. Запрет внебрачных связей — это *в* кампусе или *вне* кампуса?" Он сразу стал очень серьезен: "Надеюсь, я

последний раз слышу, что ты шутишь святыми вещами".

Жесткое пуританство — отличительная черта современного мормонского катехизиса, категорически запрещающего добрачные связи и внебрачные отношения, регламентирующего даже допустимую степень обнаженности. На этой почве произошел казус, с удовольствием осмеянный американскими СМИ.

По Америке ездила организованная музеем Метрополитен выставка скульптур Родена. Одним из пунктов ее назначения был музей при УБЯ. Это роскошное, огромное, оснащенное по последнему слову техники музейное здание, где иногда проходят первоклассные выставки. Однако с Роденом случилась неожиданная заминка. Мормонская церковь запретила не то что выставлять, а даже просто открывать ящики с четырьмя скульптурами. По-моему, это были "Ева" (но, может быть, "Поцелуй"), "Вечная весна", "Орфей и Эвридика" и, кажется, одна из версий памятника Бальзаку, по причине его возмутительной обнаженности! Директор музея, приглашенный в связи с этим на национальное радио, выдвинул забавный аргумент: "Если бы мы выставили эти скульптуры, публика стала бы на них пялиться и могла не заметить других шедевров!" На выставке в Юте были представлены в основном руки, которых Роден наваял великое множество. Ведущий передачи посоветовал директору: "Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не выставляйте роденовского 'Мыслителя'! И причин здесь две: во-первых, он голый, а во-вторых — *думает*!" На следующей день в нашей "диссидентской" газете появилась карикатура: на левой картинке перед "Мыслителем" стоят два пожилых господина; один говорит другому: "Надо закрыть ему самые срамные места". На соседней картинке стоят те же двое, а на голову "Мыслителя" надет мешок...

Но вернемся к моему поступлению в УБЯ. Я заступилась за свое право пить вне кампуса чай и кофе, но остальные пункты малодушно подписала и поехала на интервью. Вице-президент университета, приятный человек лет сорока, задал мне свой первый вопрос:

— Каковы ваши религиозные взгляды?

Я не сомневалась, что начнется именно с этого. Сразу по приезде в Юту нас с мужем взяли на заметку и первые лет десять постоянно одолевали миссионеры. У мормонов очень силен институт миссионерства: молодые люди в возрасте восемнадцати лет разлетаются по всему миру — в Европу, Азию, Австралию, в Африку, на острова Океании, теперь и в Россию — и вербуют народ в свою веру. Мормонская миссия длится два года. При УБЯ есть специальный Центр подготовки миссионеров, где будущий миссионер два месяца изучает язык и нравы той страны, куда его направляет Церковь. Там отработана поразительная система быстрого обучения любому языку методом глубокого погружения. В Центре преподают сорок девять языков, вплоть до суахили.

Итак, к первому вопросу я была готова и постаралась

твердо и доходчиво объяснить, что рассчитывать на меня нечего:

— Я ни к какой организованной религии не принадлежу и этот вопрос для себя не рассматриваю. Стены между религиями созданы людьми, а не Богом, и приносят много кровопролития. До неба эти стены не достают. Я соблюдаю Божьи заповеди, потому что не могу иначе, а не потому, что так предписывает какая-либо религия. А по рождению я еврейка, и, если бы решила к чему-то присоединиться, это был бы иудаизм — вера моих предков.

Вице-президент выслушал меня очень внимательно. Не могу сказать, что он пришел в восторг, но меня не отверг и задал следующий вопрос:

— Были ли вы верны своему мужу?

Я остолбенела. К этому вопросу я не подготовилась!

— Знаете, меня даже муж никогда об этом не спрашивал!

— Я понимаю, и не думайте, пожалуйста, что мне нравится задавать такие вопросы, но у меня есть список — вот он, — по которому я обязан вас опросить.

Дальше он спросил меня, что́ именно я собираюсь преподавать студентам УБЯ. Понимая, с чем связан вопрос, и старательно обходя острые углы, я сказала, что буду преподавать исключительно физику и химию полимеров, в которых хорошо разбираюсь, а еще расскажу про ультразвук и как ликвидировать инфекцию на полимерных имплантах, а чего не знаю, о том помолчу.

Потом было интервью с деканом факультета — те же вопросы в слегка более приличной упаковке. От декана меня отвезли на верхние этажи мормонской власти, в здание "епархии". Это единственный небоскреб в нашем городе, средоточие мормонского чиновничества. Человек, к которому меня привели, живо напомнил мне портреты на стенах наших парткомов — в советском воплощении он был бы секретарем ЦК по идеологии. Здоровый мужик, а глазки маленькие и пронзительные.

— Каковы ваши религиозные взгляды?

Я повторила все, что сказала вице-президенту. Его глаза раскрылись от изумления — он такого еще не слышал. Мормоны очень уважают свою бюрократию, зависят от чиновников, боятся их и буквально вползают в их кабинеты. А я *вошла*, со своим мешком денег за плечами: прогонишь — поеду в другой университет.

— Провели ли вы свою жизнь в благочестии? — спросил меня секретарь по идеологии (он сказал — chastity. "Благочестие", может быть, не совсем адекватный перевод, "целомудрие", возможно, точнее).

— Что вы имеете в виду?

— Вы не знаете, что такое chastity?!

— Я думаю, что знаю, но не знаю, что *вы* имеете в виду.

— Ну например, вы вышли замуж, будучи девушкой?

Я ушам своим не поверила. Ну и вопрос! Самое замечательное, что, имея в виду мой первый брак, я могла, не кривя душой, ответить на этот вопрос положительно — первый раз я вышла замуж в шестидесятом году, задолго до россий-

ской сексуальной революции. Но не раскрывать же этому мормонскому Суслову детали моей первой брачной ночи! С другой стороны, мне стало интересно, как далеко он может зайти в проверке моего морального облика: во мне проснулся писатель-документалист. Я помолчала и ответила:

— Возможно. Это было очень давно. Не помню.

Он опешил. Такого оборота дела он не ожидал и явно не знал, как со мной поступить, а расставаться с двумя сотнями тысяч долларов не хотелось.

— Хорошо, последний вопрос. По нашей информации, ваш муж приехал сюда на год позже вас. Вы не старая женщина, как вы провели одна этот год?

Тут я ему лучезарно улыбнулась:

— Смешной вопрос! Это же Юта! Здесь все живут в chastity! У меня здесь не было шансов...

Он счел за лучшее поскорее со мной расстаться.

— Поздравляю! Вы можете работать в УБЯ!

Вернувшись домой, я сказала мужу: "Ну ты везучий парень! На страже твоей чести стоит теперь весь мощный аппарат мормонской церкви!"

Если вы думаете, что это конец истории, вы заблуждаетесь. Конец был совершенно восхитительный. На следующий после интервью день я спокойно работала в своем университете, когда за мной прибежал запыхавшийся студент: вас срочно просят к телефону из УБЯ! Очень просили вас найти (мобильных телефонов тогда еще не было). Я поднялась к телефону. Звонил заведующий кафедрой, на которой мне предстояло работать. Он сказал:

— Тысяча извинений! Я понимаю, что ваше время очень ценно, и буду краток. Вчера вы блестяще (!) прошли три интервью. Но оказалось, что их должно было быть не три, а четыре, и четвертое интервью — со мной. Мы не спросили у вас, какова сфера ваших *научных* интересов?

Я пришла в неописуемый восторг. Теперь я знала в деталях, какие критерии превалируют в мормонском университете при приёме на работу полного профессора.

Завершая этот эпизод, хочу сказать, что опыт работы в УБЯ оказался вполне позитивным и я с удовольствием вспоминаю этот год. В связи с низкой платой за обучение в УБЯ большой конкурс, и они отбирают себе лучших из лучших. В собственном университете у меня никогда не было таких смышленых и прилежных студентов. После нескольких серьезных промахов, совершённых мною на первых порах (считаю все-таки нужным сообщить вам, что пятый пункт анкеты я не нарушала!), я с ними очень подружилась и по окончании работы получила греющие душу письма. Я была у них первым не мормонским профессором, и они писали, что встреча со мной была большим событием в их жизни.

Кто мы и откуда

Идея создания генеалогической библиотеки (мормоны называют ее Библиотекой семей-

ной истории) зародилась еще в 1830 году, при Джозефе Смите. Библиотека начиналась с трехсот книг; сейчас в ней 270 тысяч книг и 2 миллиона микрофильмов. Разъезжая по свету со своими миссиями, мормоны сначала просто собирали разнообразные материалы, в том числе манускрипты, относящиеся к генеалогической истории, а с 1938 года стали фотографировать книги записей рождения и смерти, забираясь так далеко в глубь веков, как только позволяли сохранившиеся свидетельства. Эти данные теперь компьютеризируются, а оригиналы микрофильмов хранятся в специально оборудованном глубоком подземелье, вырубленном в 1963 году в Гранатовых горах, чтобы уцелели в случае ядерной войны или катастрофического землетрясения, которое здесь ожидается. Копии с оригиналов есть в читальном зале библиотеки, и их можно получить для изучения.

Библиотека семейной истории открыта для всех, независимо от религиозной принадлежности; сюда приезжают со всего мира, чтобы попытаться найти свои корни, и в среднем только половина многочисленных посетителей — мормоны. Русских материалов в библиотеке пока мало. Переговоры между мормонской церковью и советскими властями о фотографировании русских церковных книг и книг записей актов гражданского состояния велись давно, но только в начале 90-х, на волне перестройки, разрешение было получено. Документы в библиотеке действительно фантастические — оригиналы хранятся в пещере в Гранатовых горах, а копии можно вызвать на компьютерный экран, — я вызывала и видела страницы церковных книг рождений и смертей XV века откуда-то из российской глубинки. Это уж полный Кафка: за тридевять земель от этой деревни, в тридесятом царстве, в XXI веке, читать о том, как шесть столетий назад какая-то Марфа померла от родильной горячки, а младенец — от живота...

Сопоставляя записи в книгах разных эпох (а иногда и стран), специалисты могут проследить для желающих генеалогическую линию, если, конечно, в библиотеке для этого достаточно данных. Евгений Евтушенко нашел линию своих немецких пращуров. Александру Дулову мы отыскали княгиню Дулову, жившую в XVI веке, но эта линия потом оборвалась. Готовят специалистов по генеалогическим исследованиям на особых курсах, и после успешной сдачи экзамена они получают лицензию. За их услуги надо платить, и немало. Но интерес так велик, что очереди к опытным и популярным исследователям семейной истории растягиваются на год-два. В некоторых мормонских семьях генеалогическая линия прослежена вглубь на несколько веков. Конечно, составляя генеалогические карты, мормоны лелеют надежду доказать, что восходят к семейству, приплывшему в незапамятные времена из Иерусалима в нынешнее Перу, как это описано в Книге Мормона. С этой целью ныне покойный миллиардер Джим Соренсон начал создавать, в параллель к генеалогической библиотеке, ге-

нетическую библиотеку человечества. Всего и дел — плюнуть в баночку или потереть ваткой с внутренней стороны щеки, и твой генетический код попадает в руки ученых и расшифровывается. Так создается увлекательнейшая наука — генетика популяций. Два мормонских генетика взялись проследить генетическую линию от сефардов-израильтян к перуанцам, живущим в упомянутых в Книге Мормона селениях. Потерпели, бедняги, полное фиаско. Доверяя своим исследованиям больше, чем Книге Мормона, они разуверились в истинности описанных там событий и вышли из мормонской церкви. Так, на новом историческом витке, наука борется с религией...

Но каковы бы ни были исходные цели, Библиотека семейной истории — безусловный дар мормонов всему человечеству, и не только в историческом аспекте. Юта, с ее огромным количеством детей, частыми перекрестными браками и генеалогической библиотекой стала настоящим раем для генетиков. Не удивительно, что именно здесь находится всемирно известный Институт генетики человека имени Экклса. Здесь изучают гены, ответственные за различные болезни, поведение и черты характера человека. Здесь совершаются открытия, имеющие хорошую перспективу стать "нобелевскими". Словом, здесь интересно.

Елизавета Домбаян

Казенный дом

По следам публикаций в журнале “Нью-Йоркер”

Каждое утро около пятидесяти тысяч американцев начинают день в полной тишине, в крошечных камерах, куда едва проникает дневной свет, где не разрешается свободно читать и писать, откуда можно выйти в строго установленное время лишь на час, чтобы немного “размяться”. Запритесь в стандартной ванной комнате и попробуйте представить себе, что вам предстоит провести там следующие десять лет. Даже человеку с воображением вряд ли доступно ощущение безнадежности, владеющее заключенным в одиночной камере. Казалось бы, ничего не происходит, один день похож на другой, но именно эта одинаковость и становится невыносимой, превращает жизнь в пытку. Человек оказывается как бы в безвременье, но его главный мучитель или даже палач — время. В 1842 году Чарльз Диккенс, успевший немало повидать у себя на родине, посетил “образцовую” тюрьму в Филадельфии и пришел в ужас, оттого что каждый узник содержится в отдельной клетке в полной тишине. Продажные и грязные тюрьмы старого Лондона показались ему человечнее, о чем он и сообщил своим читателям в публицистической книге “Американские заметки”.

Для сравнения: пятьдесят тысяч вмещает в себя крупный современный стадион, и это — всего лишь десятая часть американцев, отбывающих наказание в разного рода исправительных учреждениях США, включая тех, кто отпущен на поруки или освобожден под залог. Как пишет в статье “Америка за решеткой” Адам Гопник (“Нью-Йоркер”, 30 января 2012 г.), общее число заключенных приближается к шести миллионам: “...больше, чем было в сталинском ГУЛАГе”. Статья имеет подзаголовок: “Почему мы сажаем так много людей?” Человеку, воспитанному в другой (позволим себе уточнить: постсталинской) системе, трудно понять это американское “мы”. Кто-то их сажает, а “мы” — отвечай? Пусть отвечают судьи — те, кто сроки дает. А судьи кто? В США это избранные народом или назначенные властью профессионалы (судьи) и призванные государством исполнить свой долг законопослушные обыватели (присяжные). Вот и получается — “мы” (we, the nation...). По словам Гопника и по свидетельству других авторов, в последние годы излагавших свой взгляд на пенитенциарную систему США на страницах того же журнала, немыслимая циф-

© Елизавета Домбаян, 2013

ра осужденных напрямую связана с принципами американской демократии. Вывод, конечно, удивляет, но лишь на первый взгляд. Чем больше читаешь, тем лучше понимаешь, что имеют в виду журналисты, ученые и писатели.

Большинство судей и прокуроров избираются. По этой причине они, некоторым образом, идут на поводу у своих избирателей, которые склонны поддерживать политику жесткого наказания. Вероятно, здесь играют роль традиции англосаксонского протестантизма. Сто тридцать семь лет тюремного заключения — приговор, который кажется абсурдным, должен уничтожить подсудимого морально еще до того, как судья дойдет до финальной точки и ударит молотком по столу. Таких сроков не дают больше нигде. А на каждую сотню совершеннолетних граждан в Штатах приходится в среднем больше одного осужденного (последние 10 лет эта показательная цифра варьировалась от одного до трех). Сроки, которые приходится отбывать заключенным в США, значительно превосходят сроки за аналогичные преступления в странах ЕЭС. За последние 20 лет деньги, затраченные на исправительную систему, в шесть раз превысили суммы, направленные на образование. Не страна, а карцер, как выразился Конрад Блэк, медиамагнат, недавно сам угодивший за решетку во Флориде.

В январе 2007 года авторы исследовательского проекта, касающегося криминальной статистики, Эрик Кадора и Чарльз Шварц с помощью архитектора Лауры Кёрган составили двенадцать (по количеству исследованных крупных городов) любопытных карт. Раньше других обнародовали карту мегаполиса Нью-Йорк — цифровое лоскутное одеяло с неравномерно разбросанными светлыми и черными пятнами: районы, жители которых часто попадают за решетку (Кони-Айленд, Бедфорд-Стайвесант, юг Бронкса, Джамайка и др.), светились неоново-оранжевым, а места, где живут законопослушные граждане (например, Ривердейл и Бэй-Ридж), зияли черными дырами. На такой же карте, но уже конца нулевых годов, оранжевое пятно на юге Бруклина, где находится Кони-Айленд, уменьшилось, зато оранжевые точки появились в районе 70—80-х улиц на севере Манхэттена. По-прежнему высоким показатель побывавших в тюрьме граждан остался в Гарлеме, где особо отличилась 120-я улица: здесь только в одном квартале набралось 44 "сидельца". Такие кварталы, находящиеся в наиболее неблагополучных бедных частях мегаполиса, как это ни парадоксально, окрестили "миллионщиками", поскольку государство вынуждено раскошелиться на содержание осужденных, проживавших там до заключения под стражу. Больше всего "миллионщиков" насчитали в северной части Манхэттена. Несколько лет государство ежегодно тратило около шести миллионов долларов на один из подобных кварталов вблизи знаменитого стадиона "Янки" (в 2007 году из 685 проживавших там мужчин в тюрьму попали 49). Занимаясь ста-

Елизавета Домбаян. Казенный дом

тистикой преступности, исследовательская группа пришла к простому выводу: государство тратит миллиарды, сажая людей за решетку, вместо того чтобы упреждать рост преступности в бедных районах. Но есть и положительная практика: свежий пример — Кони-Айленд, где за последние четыре года удалось справиться с процветавшим там откровенным наглым криминалом. К 2010 году в Нью-Йорке неслыханно снизился уровень преступности, хотя за последнее десятилетие не было отмечено существенных изменений в этническом составе горожан, уровне их образования и т. п. Этому феномену посвящена новая книга Франклина Е. Зимринга "Город, который стал безопасным". Преступность в гигантском мегаполисе удалось обуздать превентивными мерами, коснувшимися в первую очередь "горячих точек" типа Кони-Айленда. В частности, путем патрулирования: туда стали отправлять в несколько раз больше полицейских нарядов, чем прежде. Кроме того, полицейское управление города осуществило программу, условно названную "Задержи и обыщи". Больше всего шмонали подростков в бедных кварталах (после задержания строго предупреждали, брали отпечатки пальцев, затем отпускали). Подействовало. Кроме мелкой рыбешки в сети попадались и зубастые акулы криминала. В таких местах преступное поведение становится нормой, люди быстро забывают о границах дозволенного. Зимринг полагает, что корень зла — в попустительстве по отношению к культуре криминала, который в современном мире перестал считаться этим самым злом (за примерами далеко ходить не надо — достаточно включить телевизор), а консервативная теория о том, что суровое наказание исправит преступника и послужит уроком окружающим, давно себя изжила.

В колониальной Америке очень многие преступления карались смертной казнью. В некоторых штатах, например в Коннектикуте, независимо от тяжести преступления казнили тех, кто был судим трижды. Публичное недовольство таким законом впервые отмечено в 1768 году, после казни вора по имени Айзек Фрейзер. Он был взят с поличным за три года до казни, судим и жестоко наказан: его высекли, заклеймили, отрезали уши. Попавшись во второй раз, он был приговорен к такому же наказанию и, поскольку успел лишиться ушей, предупрежден судьей о том, что по нему плачет виселица. После третьего суда Фрейзер просил о помиловании, но не встретил сочувствия у властей штата. Ему не суждено было узнать, что через пару недель после повешения в хартфордской газете появилась большая статья под заголовком "Ответ на простой вопрос". На вопрос о том, можно ли казнить живое существо за кражу, автор категорично заявлял "нет". В обществе развернулась дискуссия о соразмерности наказания совершенному преступлению. Как результат, в самом конце XVIII века в пяти штатах запретили казнить осужденных за любые

преступления, кроме убийства. В 1846 году власти штата Мичиган первыми в Америке приняли закон об отмене смертной казни.

В последнее десятилетие XX века от смертной казни отказались все западноевропейские страны, а также Австралия, Новая Зеландия и Канада. Во многих американских штатах на эту меру наказания объявили мораторий. Например, в Новой Англии с 1960 по 2005 годы смертельную инъекцию использовали лишь однажды, причем сам преступник, серийный убийца Майкл Росс, заявил, что желает умереть. А вот в Техасе только с 1976-го по 2010-й казнили более трехсот человек. По сравнению с положением дел в ЕЭС, американская пенитенциарная практика смахивает на анахронизм. Однако многие американцы, в первую очередь граждане самого крупного после Аляски штата Техас, придерживаются иного мнения.

Естественно, что люди, узнав о совершенном где-то поблизости зверском преступлении, желают любым способом оградить себя от опасности. Каким способом — вот вопрос. Несколько лет назад в Хартфорде, штат Коннектикут, в лечебнице для наркоманов познакомились двое ранее судимых за воровство мужчин, Стивен Хайес и Джошуа Комисаржевски. Некоторое время спустя, "вылечившись", они встретились в Чешире, вломились среди ночи в дом местного эндокринолога Уильяма Петита, изнасиловали его жену и старшую из двух дочерей, а утром втолкнули хозяйку дома в ее машину и заставили поехать в банк, где она сняла со своего счета 15 тысяч долларов. Затем преступники, вернувшись в дом, убили миссис Петит, подожгли дом и укатили в машине мистера Петита. Далеко уйти не удалось — наткнулись на засаду: банковский служащий, выдававший деньги, понял, что миссис Петит в беде, и позвонил в полицию. Хозяин дома выжил и был способен давать показания, хотя преступники "отключили" его ударом бейсбольной биты по голове, связали и бросили в подвал.

Во время судебного процесса власти и пресса штата не только ставили вопрос о возможности физического уничтожения "двух чудовищ", но даже вспоминали о том самом старинном законе, по которому лишали жизни преступников, осужденных трижды. В результате обоих казнили в начале 2012 года. "Никто не становится дьяволом в мгновение ока", — сказал, согласно письменным хроникам штата Коннектикут за 1780 год, девятнадцатилетний вор и убийца Барнет Дейвенпорт, исповедуясь перед тем, как взойти на эшафот. Но тут, вероятно, заканчивается сухая буква "закона и порядка" и начинается литература.

Невольно вспоминается Трумен Капоте и его "хладнокровные убийцы" Перри Смит и Дик Хикок, совершившие похожее злодеяние за полвека до описанной выше трагедии. Капоте, работавший тогда в "Нью-Йоркере", загорелся идеей исследовать природу преступления и отправился в Канзас, где получил разрешение

общаться с арестованными. Результатом стала книга[1], говоря о которой Капоте любил напоминать, что изобрел новую литературную форму — нехудожественный роман. Далась она автору непросто, отчасти потому, что Капоте проникся жалостью и симпатией к Перри Смиту, в котором даже усмотрел свое второе "я". Он имел возможность присутствовать на обеих казнях, но, увидев, как повесили Хикока, сбежал. Джо Фокс, друг Капоте, вспоминал, что в самолете, на обратном пути в Нью-Йорк, Трумен держался за его руку и плакал. Позднее критика отправила книгу Капоте в раздел "невымышленное преступление" (true crime). Авторы, работающие в этом жанре, пользуются реальным материалом и описывают не только преступления и процесс расследования, но и личности преступников, их безрадостное детство, психотравмы и т. п.: разумеется, "никто не становится дьяволом в мгновение ока".

Особняком стоит тюремная литература, то есть то, что написано в тюрьме или о тюрьме самими заключенными. Одним из первых представителей этого жанра стал Честер Хаймс, осужденный за вооруженное ограбление в 30-е годы прошлого века. Когда мистер Хаймс понял, что сможет в обозримом будущем выйти на свободу, он купил пишущую машинку и научился печатать. Почитывая в свободное время детективы Дэшила Хэммета, он пришел к выводу, что сумеет написать не хуже. По его словам, это оказалось проще простого: вспоминай свое прошлое, все, как было, и печатай.

В 60-е годы активизировались чернокожие тюремные писатели. В 1965-м была опубликована "Автобиография Малкольма Икса". Ее автор — афроамериканец (заметим, что в те годы термин еще не существовал), активный борец за права темнокожих, отсидевший за кражу со взломом. В 60—70-е годы письменные труды подобных авторов ощутимо — прямо или косвенно — влияли на социальные протесты и борьбу за гражданские права, и к концу 70-х в США резко вырос спрос на тюремную литературу и ее экранизацию. Американский ПЕН-центр даже учредил соответствующий конкурс и ежегодно выпускал антологию произведений авторов-заключенных. Власти, особенно в многонаселенных штатах, пытались обуздать этот процесс новыми законами. В 1977 году в штате Нью-Йорк утвердили закон, запрещавший заключенным зарабатывать на своих сочинениях: негоже, мол, наживаться на преступной деятельности. Правозащитники, конечно, заявили, что закон создан специально для того, чтобы держать американский народ в неведении об истинном положении дел в тюрьмах. Популярность тюремной литературы резко пошла на убыль после одного неприятного инцидента. В 1981 году были опубликованы письма из тюрь-

1. Trumen Capote "In Cold Blood" (1966). В русском переводе книга впервые опубликована в *ИЛ*, 1966, № 2—4 (перевод Владимира Познера и Валентины Чемберджи) под названием "Обыкновенное убийство".

мы некого Джека Генри Эббота, адресованные Норману Мейлеру. Книга называлась "Во чреве зверя" и оставалась на пике популярности, пока не выяснилось, что через месяц после освобождения Эббот совершил убийство. За несколько лет до этой публикации Мейлер в книге "Песнь палача" описал реальную историю другого убийцы — Гэри Гилмора, казненного в 1977 году в штате Юта. Половина этой книги посвящена тому, как издатели и телепродюсеры борются за право первыми поведать публике историю Гилмора и заработать на его печальной участи.

Чаще других сидельцев свою личную историю стремятся изложить и издать люди, осужденные несправедливо. Показательна свежая (2012) книга Майкла Мортона, получившего пожизненный срок за убийство жены. Мортон, не признавший своей вины, отсидел почти двадцать пять лет в одной из тюрем Техаса, прежде чем его адвокату удалось добиться проведения экспертизы ДНК. На это потребовалось шесть лет — местный прокурор регулярно отклонял запросы адвоката. Когда наконец экспертизу провели, оказалось, что к убийству причастен некий рецидивист, четверть века назад проживавший недалеко от Мортонов: его кровь была идентифицирована на бандане, которую суд не счел нужным в свое время признать уликой. Такие процессуальные ошибки — не редкость в техасском правосудии. За последние десять лет в Техасе благодаря экспертизе ДНК были признаны невиновными 45 осужденных.

Мириам Московиц написала свою первую книгу "Фантомные шпионы, фантомное правосудие" в 2010-м, когда ей было 94 года. Автор вспоминает события шестидесятилетней давности, когда она и ее тогдашний шеф Эйб Бротман, инженер-химик, были обвинены в преступном сговоре в пользу врагов США. Суд над этой парой проходил по тому же шаблону, что и суд над Юлиусом и Этель Розенбергами. Более того, приговор вынес тот же самый судья Кауфман на основании показаний и обвинений тех же самых свидетелей и прокуроров. Московиц дожила до преклонного возраста, ведь приговор был не столь суров, как в случае с Розенбергами, окончившими свою жизнь на электрическом стуле в 1953 году. В 1952 году ее и Бротмана выпустили на свободу, но оба провели ужасные годы за решеткой.

В женской тюрьме в Гринич-Виллидж Московиц иногда пила кофе в компании Этель Розенберг, которая любила поговорить о музыке и своих детях. Надзирательнице явно не нравилось непринужденное общение дам, и она всякий раз одергивала их криком: "Не забывайтесь! Вам тут не 'Уолдорф Астория'!" Этель Розенберг проявляла душевную щедрость к подругам по несчастью, и заключенные ей симпатизировали. Как вспоминает Московиц, когда Розенберг увозили в зловещую тюрьму Синг-Синг, многие женщины, стоя у зарешеченных окон, скандировали ее имя — она же, будто стараясь их приободрить, молча улыбалась в ответ.

В 1992 году Московиц явилась на похороны судьи Ирвинга Кауфмана. В своей книге она детально описывает, зачем пришла и что чувствовала, глядя на гроб "мерзавца". Стиснув зубы, она мысленно осыпала мертвеца проклятиями, которые затвердила как мантру еще сорок лет назад: "Пропади ты пропадом за то, что жаждал славы и обстряпывал свои грязные дела за счет наших жизней".

Московиц ни разу не пожалела о проклятии в адрес Кауфмана. В 2008 году Мортон Собелл, осужденный по делу супругов Розенберг тем же самым судьей, публично признался, что действительно занимался шпионажем в пользу русских, и заявил, что Этель Розенберг к шпионажу была не причастна — ее казнили на основании ложных показаний сестры мужа. Интересно, что так же представлял себе детали дела Розенбергов Эдгар Л. Доктороу, задолго до признания девяностолетнего Собелла написавший роман "Книга Дэниэла". В отличие от бывшего шпиона, владевшего фактами, Доктороу домысливал то, чего не знал. Книга написана от лица Дэниэла, сына Розенбергов, пытающегося примириться с жизнью, уготованной ему одержимыми идеологическими фантазиями родителями. О том, что он — сын казненной супружеской пары, Дэниэл узнал от некого репортера, сообщившего ему, в частности: "Да, дело ваших родителей сфабриковано". Доктороу не пытался выяснить, виновны ли Розенберги. Фактически роман не о них, а о том, что с ними произошло; процесс послужил материалом для портрета Соединенных Штатов 50-х, эпохи политического психоза.

На рубеже веков в центре самого крупного со времен дела Розенбергов "атомного" скандала оказался американский ученый тайваньского происхождения Вэн Хо Ли. В 1999 году ему были предъявлены обвинения по 59 (!) пунктам, большинство из которых тянуло на пожизненный срок. Тогдашний министр энергетики Билл Ричардсон во всеуслышание объявил, что Ли подозревается в краже сверхсекретных документов. После ареста Ли содержался в камере для особо опасных преступников в здании федерального суда в Альбукерке и первые четыре месяца заключения провел в одиночестве, встречаясь только со следователями и адвокатами. В его крошечной камере круглые сутки горел свет. Позднее осужденному Ли было позволено встречаться с членами семьи дважды в неделю по часу, в присутствии агентов ФБР, и выходить на прогулку в тюремном дворике — но только в наручниках и кандалах. Ученый провел девять месяцев в нечеловеческих условиях, пока с него, в силу отсутствия достаточных доказательств, не сняли обвинения по 58 пунктам. Выслушав окончательный приговор за нарушение порядка работы с секретной документацией, что никоим образом не предусматривает одиночки и кандалов, Ли подал иск, требуя наказать чиновников, назвавших его преступником до оглашения судебного решения и

передавших неверные сведения о нем журналистам. Поскольку дело получило широкую огласку, "бдительного" министра раскритиковал Конгресс, а президент Билл Клинтон даже извинился от имени федеральной власти за условия содержания Ли в ходе расследования.

В штате Нью-Мексико, где работал и был арестован ученый-атомщик, нет федеральной тюрьмы. Заботы по содержанию осужденных берет на себя крупная частная компания ("Корнелл Коррекшнз"), предоставляющая платные услуги государственным органам. Судья, выносивший вердикт, и даже обвинители высказывали недоумение по поводу слишком строгих мер содержания Ли, однако не встретили понимания со стороны тюремной администрации "Корнелл Коррекшнз". Тесные даже для одного человека камеры и кандалы — обычная практика в новых (существующих с 90-х годов), так называемых "супермакс" тюрьмах. Трудно представить себе большее противоречие между общественным благом и частной выгодой: главный интерес владельцев тюрем лежит вне поля очевидного социального блага, то есть сведения к минимуму количества заключенных, — напротив, они стараются разместить в своих заведениях как можно больше осужденных и потратить на их содержание как можно меньше средств. Самая крупная из подобных компаний "Коррекшнз корпорейшн оф Америка" в очередном годовом отчете честно и откровенно заявила, что ее рост зависит от способности получать контракты по развитию и управлению новыми исправительными учреждениями. Как говорится, no comments.

Среди так называемых развитых демократий США занимают первое место по количеству совершенных американскими гражданами убийств и, соответственно, по количеству приговоренных к высшей мере наказания. В чем причина? — пытаются разобраться американские гуманитарии. В 2009 году вышла книга "Убийство по-американски". Ее автор, историк и философ Рэндольф Рот, утверждает, что в США периодически складываются особые исторические условия, развязывающие руки убийцам, и это — цена, которую платит государство за свою политику. Неутешительная теория. Если верить Роту, всплеск убийств приходится на периоды правления "плохих" президентов, когда же у руля "хороший" президент, граждане чувствуют себя спокойнее, увереннее и проявляют меньше агрессии. Автор книги не согласен с некоторыми европейскими исследователями преступности в США, которые полагают, что всему виной средневековые привычки переселенцев выяснять отношения с помощью ножа и ружья: якобы американцы обрели демократические свободы слишком рано, еще не успев осознать преимущества государственной монополии на применение силы и не научившись себя контролировать, за что теперь и расплачиваются. Рот скорее склоняется к мне-

нию своего покойного коллеги Эрика Монконена: американский федерализм ослабляет власть государства; рабовладельческая система долгое время культивировала насилие и агрессию как норму поведения белых (до сих пор больше всего преступлений с применением оружия происходит на юге страны); судьи и присяжные на протяжении двух столетий слишком терпимо относились к убийствам темнокожих и убийствам на почве ревности, не желая сурово наказывать белых, в частности, вспыльчивых мужей. Статистика последнего десятилетия свидетельствует о том, что наибольшее число тяжких преступлений приходится на долю темнокожих граждан США (в семь раз больше, чем на долю белых) — на этот счет в книге Рота теорий нет. Ряд ученых придерживаются так называемой "южной" теории, отсылающей к истории рабовладельческих плантаций Техаса. Освобожденные, но оставшиеся обделенными в социальном отношении бывшие рабы "мстят" бывшим хозяевам. "Если система социального контроля, в особенности расового, подразумевает массовое лишение свободы, то эта система добилась фантастического успеха", — с горькой иронией пишет американская исследовательница Мишель Александер.

Иной взгляд на проблему (так называемая "северная" точка зрения) представлен в труде Уильяма Дж. Станца "Коллапс американского криминального правосудия", увидевшем свет осенью 2011 года. Станц утверждает, что причина чудовищного состояния современной тюремной системы уходит корнями в эпоху Просвещения и "процедурную" природу американского правосудия. Беда началась в конце XVIII века, когда был принят Билль о правах, в котором эта самая процедура уже превалирует над принципами, то есть вместо того чтобы декларировать основополагающие принципы (никто не может быть осужден за то, что не являлось преступлением в момент совершения и т. п.), главный закон призывает вершить справедливый суд. На практике получается, что человек может избежать казни, если, к примеру, успеет обвинить своего адвоката в некомпетентности, но с тем же успехом может лишиться жизни из-за того, что адвокат не смог убедить присяжных в невиновности подзащитного, хотя и располагал необходимыми доказательствами. И, разумеется, наоборот, если адвокат виртуозно владеет процедурной техникой.

Жизнь меняется и продолжает ставить вопросы, на которые не способна пока ответить ни одна теория. В XXI веке в США появился принципиально новый, ранее неизвестный вид врага государства. Адам Гадан, известный среди радикальных исламистов как Аззам Американец, стал первым за последние шестьдесят лет гражданином США, осужденным за государственную измену. В октябре 2005 года он был обвинен в оказании материальной поддержки "Аль-Каиде"; спустя год прибавилось обвинение в государственной измене, и Гадана вне-

сли в список террористов, которых разыскивает США.

Родился Адам в штате Орегон, вырос на ферме в южной Калифорнии. Отец, Фил Перлман (в бурные 60-е — битник), исповедовал христианство. Друзей у мальчика не было. В семнадцать лет он переехал к бабушке и деду в Санта-Ану, где стал посещать собрания в Исламском обществе округа и вскоре принял ислам. Затем — кто бы мог подумать! — вступил в "Аль-Каиду", а в двадцать восемь лет стал одним из самых приближенных агентов Усамы бен Ладена. В ЦРУ не знали о связи Гадана с "Аль-Каидой", пока не грянул гром 11 сентября. В пятую годовщину трагедии Аззам Американец выступил в Интернете с пропагандистским видеообращением "Приглашение в ислам". Эта история радикального исламиста еврейского происхождения, родившегося в США в христианской семье, могла бы показаться уникальной, однако анализ собранной ЦРУ информации о 172 членах "Аль-Каиды" показывает, что большинство из них происходят из благополучных семей, родились и выросли в западном мире, не имеют преступного прошлого и не страдают слабоумием. По словам Марка Сейджмена, сотрудника ЦРУ, изучавшего биографии членов "Аль-Каиды", единственная особенность "западников" состоит в том, что будущие террористы с детства остро ощущали одиночество и эмоциональную отчужденность. Сейджмен даже придумал новый термин: "халяль-теория терроризма". После смерти бен Ладена большинство "халяльщиков", считающихся наиболее опасными и непредсказуемыми террористами, остаются на свободе. Спецслужбы пока не готовы сообщить налогоплательщикам своей страны, когда злодеи предстанут перед американским правосудием. Нет сомнения в одном: одиночная камера каждому из них обеспечена, несмотря на то что тюрьмы переполнены.

Марина Ефимова

Черная магия Тони Моррисон

К 80-летию писательницы

В Америке изображать афроамериканцев в художественных произведениях — занятие деликатное. Того и гляди попадешь в больное место. Поэтому чаще всего книги и фильмы на эту тему создают или простые души, или пропагандисты. И когда я впервые взялась за роман Тони Моррисон "Возлюбленная", то приготовилась бросить его при малейших признаках пропаганды. Но с первой страницы устыдилась своих подозрений. Да, Моррисон описывает жизнь черных американцев, черных рабов, но не как миссионер, а как художник... не потому, что сделала это своей нравственной миссией, а потому, что знает эту жизнь лучше всякой другой. Рабство как явление психологическое занимает ее больше, чем явление социальное. Ей интересен строй отношений, порождающий нелепости, чудовищные до смешного:

— Мистер Гарнер, сэр, почему вы зовете меня Дженни?

— Как почему? Когда я покупал тебя в Виргинии, это имя стояло в купчей. А как ты сама себя называешь?

— Никак.

Мистер Гарнер даже покраснел от смеха.

— Ну, а на что ты откликаешься?

— На все... Но моего мужа звали Сагз.

— Так ты была замужем?.. Ну, а муж-то тебя как называл?

— Бэби[1].

Рабство, расизм — лишь неизбежный фон романов Моррисон. А ее темы: чудеса выживания, поиски себя, превратности любви, гнет памяти, рождение ненависти и загадки отношений: между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, между живыми и мертвыми:

Дом 124 по Блустоун-стрит был одержим злобным духом младенца. Женщины и дети, жившие в доме, знали это и годами справлялись с ним, каждый как мог. Но к 1876 году его единственными жертвами остались только Сэти и ее дочь Денвер. Бабушка Бэби Сагз умерла, а двое подростков — сыновья Сэти — сбежали. Один — когда зеркало, в которое он посмотрелся, разлетелось вдребезги, а второй — когда на торте, испеченном ко дню его рождения, внезапно отпечатались две ма-

© Марина Ефимова, 2013
Совместно с радио "Свобода"

1. Здесь и далее отрывки из романа Тони Моррисон "Beloved" ("Возлюбленная").

ленькие ладошки. Мальчики не стали дожидаться новых сломанных стульев и котлов с варевом, опрокинутых на пол. Оба бежали среди зимы, бросив умиравшую бабушку, мать и сестренку одних — в сером доме, который питал к ним такую яростную злобу.

За редким исключением Моррисон описывает отношения не между черными и белыми, а только между черными, или их отношения с общиной, или счеты с самими собой. Об этой специфике ее романов рассказывает литературовед, профессор Purdue University Джон Дювалл:

Никто не ожидает от Джеймса Джойса изложения исторического конфликта Англии с Ирландией. Моррисон с тем же правом рассчитывает на читателей с некоторым объемом знаний о расовых проблемах Америки. И ее романы — не о межрасовых отношениях, а об отношениях между людьми. Залог ее успеха — свободное владение двумя художественными формами: фольклорной традицией афроамериканцев и европейской модернистской литературной традицией. В романе "Возлюбленная" есть сцены и диалоги такого эмоционального напряжения, которое можно найти разве что у Фолкнера"[1].

В одной из таких сцен беглая рабыня Сэти, на сносях, измученная жестокой поркой и долгим странствием, обессилела в конце пути, в лесу, у пограничной реки между Югом и свободным Севером. И на нее натыкается белая деревенская девушка Эми. Увидев негритянку, она шарахается, а потом говорит со смехом:

— Слушай, ну ты и уродина!..

Сэти от страха надерзила: "Нечего вам тут делать, мисс"...

— Нет, вы на нее посмотрите!.. У меня тут больше дела, чем у тебя. За мной, по крайней мере, никто не гонится. Чей ребенок-то?

Сэти молчала.

— Не знаешь!.. Сойди сюда, Господь Иисус Христос! Сойди и глянь...

Говоря это, Эми деловито массировала онемевшие ноги Сэти.

— Больно! — простонала Сэти.

— Это хорошо! — сказала Эми. — Все мертвое болит, когда оживает. Не елозь!

Сэти приподнялась на локте: "У меня спина болит".

— Ну, девка, ты — развалина. Покажи-ка...

Эми заглянула за ворот потемневшего от крови платья Сэти и сказала только: "Сойди сюда, Иисус"..."

Эми залепила спину Сэти целебной паутиной, а когда начались роды, приняла у нее девочку. Уходя, она попросила Сэти когда-нибудь рассказать дочери, кто ей помог появиться на свет: "Меня зовут Эми Денвер" — "Красиво, — прошептала Сэти и назвала новорожденную несуществующим именем — Денвер.

Имена у Моррисон — особая сторона ее магии. Дело в том, что до недавнего времени в негритянских семьях, по какой-то древней традиции, име-

1. Здесь и далее — интервью М. Ефимовой с профессором Дювалом (6 апреля 2011 г.).

на новорожденным выбирали, ткнув наугад пальцем в Библию. В романе "Песнь Соломона" сестер зовут одну — Магдалена, другую — First Corinthians (то есть, Первое послание к коринфянам), а имя их тетки — Пилат. В негритянской общине люди чаще известны своими прозвищами, которым придается таинственный, символический смысл и отказаться от которых чревато гибелью души. Даже улицы получают прозвища:

Улицу называли Докторской, потому что в 1896 году на ней жил единственный черный врач. Позже, когда негры привыкли пользоваться почтой, на Докторскую стали приходить письма — из Джорджии, Алабамы, Луизианы. Но однажды во всех витринах появились объявления с напоминанием, что улица называется Мэйн, и с просьбой писать на конвертах правильный адрес. С тех пор письма стали приходить с адресом "Не Докторская улица"[1].

Прозу Тони Моррисон часто называют "магическим реализмом". Моррисон — стилист, мастер фольклора. Диалоги и монологи ее героев так же ужасно теряют в переводах, как монологи Джима в романе Марка Твена "Приключения Геккельберри Финна". Лингвист Рафаэль Перец-Торрес пишет о ее стиле:

Моррисон ведет тонкую литературную игру, переплетая негритянские мифы с реальностью, народный говор с культурной речью. Мифические, поэтические нити устной литературы так же естественно вплетаются у нее в ткань романа, как риторика, рассуждения, аллюзии, свободное цитирование и рваный темп европейского постмодернизма[1].

Тони Моррисон, — рассказывает профессор Дювалл, — прекрасно знает не только американскую, но и мировую литературу. В юности ее любимыми писателями были Джейн Остин и Лев Толстой. Моррисон закончила университет Хауорд в родном штате Огайо, мастерскую степень получила в Корнеле. Там она написала работу по теме, которая сыграла потом немалую роль в ее собственных романах: "Отчуждение и сумасшествие в произведениях Фолкнера и Вирджинии Вулф".

Сумасшествие ожидает героиню романа "Самые голубые глаза" — после крушения ее мечты о любви. Сумасшествие грозит Сэти — героине романа "Возлюбленная". Она одержима любовью к привидению, к духу убитой ею дочери (которую когда-то решилась убить, чтобы спасти от рабства). Вообще любовь — главная и самая сложная субстанция в романах Моррисон. Разнообразие проявлений любви варьируется от благословения до проклятия. Девочке Пеколе из романа "Самые голубые глаза" знакома лишь любовь-террор. Героиня романа "Сула" готова только на любовь, которая да-

1. Здесь и далее — отрывки из романа Тони Моррисон "Song of Solomon" ("Песнь Соломона").

1. Из статьи Rafael Perez-Torres "Knitting and Knotting the Narrative Thread — "Beloved" as Postmodern Novel" (интернет).

ет ей власть над партнером. Элла из романа "Возлюбленная" учит племянницу: "Не люби ничего и будешь в порядке", а бабушка Бэби Сагз любит всех. Сама же Тони Моррисон постоянно исследует этот предмет:

Вместе с идеей романтической любви Полин усвоила и идею важности физической красоты. Обе идеи — может быть, самые разрушительные в истории человеческой мысли. Обе вырастают из зависти, питаются неуверенностью в себе и кончаются крушением иллюзий. В реальности любовь — не лучше любящего. Чудаки любят странно, насильники — насильно, дураки — глупо, слабаки — слабо. И дар любви — не для любимого. Им обладает только любящий[1].

В любовной сцене из романа "Песнь Соломона" описана как раз дилемма любимой. First Corinthian — одинокая старая дева, образованная, умная и гордая. Презирая себя, она поощряет ухаживания мусорщика Портера. Он влюблен, как мальчик, он пишет ей сентиментальные стихи на дешевых открытках, но он умен. И однажды в автомобиле, по дороге к ее дому, он говорит ей чистую правду:

"Вы стесняетесь меня, Кори". — "Если бы стеснялась, не села бы к вам в машину". Портер погладил ее по щеке: "Тогда в чем дело?" — "Мой отец... — промямлила она, — он не позволит". Портер помолчал и сказал: "Мне нужна не папина дочка, а взрослая женщина". — "Из таких женщин, как вон в том автобусе? — съязвила она. — О, им понравятся ваши открытки. Они не заметят банальности этих посланий. Только ведь вы не хотите ухаживать за ними... вы хотите леди. Есть разница между женщиной и леди. И вы знаете, кто я!" Портер остановил машину. Выходя, она попыталась хлопнуть дверцей, но помешал болтавшийся ремень. Она решительно дошла до крыльца и на нижней ступеньке застыла... Через две секунды она повернулась и побежала назад. Портер все еще сидел в машине. Она стала стучать по стеклу, но он не повернул головы и не опустил окно. В панике, что он уедет, она обежала машину, легла на капот, зажмурилась и вцепилась в край обшивки.

И когда Портер, оторвав Кори от капота и дав ей выплакаться, отвел ее к себе и стал нежно ласкать, она взглянула на него и спросила: "Это все для меня?!"...

Другая тема Тони Моррисон — образ афроамериканца как взрослого мужчины. В романе "Возлюбленная" бывший раб Пол Ди вспоминает хозяина — мистера Гарнера, объяснявшего соседям, что у себя в имении он дает неграм стать взрослыми мужчинами: он требует ответственности, совещается с ними, слушает их советы и никогда не бьет. Соседи осуждали его, некоторые просто бесились, и мистер Гарнер охотно лез в драку. "Только не высовывайте носа из имения, — говорил он своим рабам, — а то они вам покажут самостоятельность!". Ра-

1. Отрывок из романа Тони Моррисон "The Bluest Eye" ("Самые голубые глаза").

бы Гарнера опасались игрушечности своей свободы, но привыкли к ней. А мистер Гарнер взял и умер. И новый менеджер — школьный учитель — отучил рабов Гарнера быть мужчинами.

Я возился в сарайчике с курами. Вышел — вижу он сидит на перевернутой кадке и играет кнутом. И улыбается. Я успел только вспомнить остальных наших: один продан, другой забит, третий спятил. Про себя-то я думал, что пронесло. Нет, он пришел за мной, учитель. Маленький ведь был сукин сын, ноги больные, еле ходил... а сделал меня ниже курицы.

Даже добрые хозяева во времена рабства и добрые писатели после него не относились к негру, как к взрослому мужчине. Поразительное исключение составил Марк Твен. Об этом напоминает сама Тони Моррисон в интервью с известным американским тележурналистом Биллом Мойером:

Приключения Геккельберри Фина — история формирования личности *белого* американца. Но немалую роль в этом играет его путешествие с беглым рабом Джимом. Джим — пробный камень, на котором проверяются (и формируются) моральные качества белого мальчика. Тут надо отдать должное Марку Твену, написавшему душераздирающую сцену, в которой Джим узнает, что его дочь оглохла. И Гек понимает, что симпатичный негр, который раньше был для него просто принадлежностью соседки, на самом деле — взрослый мужчина, с женой и детьми, которых он любит так же, как любят свои семьи белые мужчины. "Они заботятся о детях так же, как мы!"... Для Гека это — откровение[1].

По одному роману Моррисон — "Возлюбленная" — сделан фильм, представленный на Оскара, с хорошими актерами. Но в нем пропущена важная деталь, дающая представление о том, как легко может искусство стать пропагандой. Трагедия героини романа — Сэти — в том, что, когда после побега ее хотели вместе с детьми вернуть в рабство, она, обезумев, решила убить детей, чтобы избавить их от страшной доли. И одного успела убить — младенца. Все это происходило уже на Севере, в негритянском поселке, в доме бабушки, давно выкупленной из рабства. И хотя рабовладельцы имели право возвращать беглых рабов, жители поселка всегда успевали предупредить беглецов, и те прятались. Но не в этот раз. Читаем в романе:

Когда в доме появилась Сэти — с располосованной спиной, но живая и с младенцем, бабушка Бэби Сагз решила это отпраздновать. Бэби Сагз была духовным центром поселка: она устраивала сборища на лугу за домом, взывала к богу любви, пригревала сирых, к ней приходили за советом. И поэтому праздник превратился в пир на девяносто человек. Дом номер 124 трясся от веселых криков. Девяносто соседей ели, пили, хохотали, а

1. Из документального телефильма "A World of Ideas. A Writer's Work with Toni Morrison" (Production of Public Affairs Television).

проснувшись наутро и выпив соды от изжоги, они вспомнили пир и... разъярились. Откуда все это у Бэби Сагз?.. Почему ей все всё приносят? Почему у нее были сливки, когда нет коровы? Зеленый горошек в сентябре?.. Почему ее выкупили из рабства? Ее, небось, ни разу не порол десятилетний белый мальчик?.. Они задавали эти вопросы и ярились. И когда за околицей появились конные фигуры во главе с шерифом, никто не предупредил жителей дома номер 124.

Эта исключенная из фильма драма — отношений черного героя с черной общиной — является еще одной из нескольких центральных тем в произведениях Тони Моррисон. И эта тема выводит ее романы из разряда так называемой литературы протеста в просто литературу — без социальных заданий. Профессор Дювалл рассказывает, что в детстве Тони Моррисон чувствовала себя не столько черной девочкой, сколько бедной девочкой:

Лорэйн, штат Огайо, был городом сталелитейщиков и докеров. И Моррисон, которая родилась там в 1931 году, росла в таком бедном районе, что тамошним жителям было даже не до сегрегации. Моррисон говорила, что взялась за первый роман "Самые голубые глаза" — "чтобы понять расизм, который в *ее* детстве лишь маячил на заднем плане". Возможно, это и позволило будущей писательнице с детства смотреть на мир не только с одной колокольни. (Население ее последнего романа "Милосердие" — вообще интернационал.) На Тони Моррисон не удается наклеить ни один ярлык, хотя многие пытались. Ее относили и к борцам за права черных, и к феминисткам. Про это, кстати, она сказала: "Я не подписываюсь под патриархатом, но и не готова сменить его на матриархат". Так что, как бы мы, критики, ни каталогизировали Тони Моррисон, мы не можем дать ей окончательного определения — потому что она изменится со следующим романом.

Биография Тони Моррисон известна штрих-пунктирно: окончила университет; начала преподавать; вышла замуж за архитектора с Ямайки; развелась, будучи беременной вторым ребенком. Писать начала в 38 лет, а в 62 года получила Нобелевскую премию. Отметая биографические вопросы в интервью, она сказала однажды: "Мое воображение намного интереснее моей жизни".

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио "Свобода"

Robert Merry. *Where They Stand: The American Presidents in the Eyes of Voters and Historians.* — Simon and Schuster, 2012

Автор книги "Где их место? Американские президенты в оценке избирателей и историков" — вашингтонский журналист Роберт Мерри, специализирующийся на деятельности Конгресса и правительства. В самом начале он честно признается, что одержим общенациональной игрой в рейтинг американских президентов (лучшие, худшие, первая десятка и прочее). Правда, как справедливо замечает его рецензент — политолог Джеймс Сизер, — игру эту придумали не американцы, она восходит не только к книге Светония "Жизнь двенадцати цезарей", но и к библейским "Книге царей" и к "Паралипоменам", чьи авторы выносят на суд деяния сорока трех иудейских царей — почти так же, как американцы — своих сорока трех президентов. И главный критерий, по сути, все тот же: *принесли они своему народу добро или зло перед лицом Господа.*

Древние авторы рассматривали деятельность царей по многим критериям, включавшим и добродетели, и таланты, и намерения, и результаты. На каждого царя Соломона или Езекию в ряду наших лидеров найдется свой Вашингтон или Линкольн. На каждого царя Рехобоама (доведшего Израильское царство до гражданской войны) найдется свой Джеймс Бьюкенен, допустивший отделение южных штатов. На каждого царя Ахава (служившего не истинному богу, а Ваалу) найдется Ричард Никсон. У древних, как и у нас, были трудности с оценкой неоднозначных лидеров. Реформатор VII века до нашей эры царь Иосия — искусный политик, но плохой военный лидер, — не напоминает ли он Линдона Джонсона? А царя Егошафота, успешного в войнах, но слабого во внутренней политике, не тянет ли сравнить его с Гарри Труманом?

При всей детской увлекательности подобной игры, автор книги пытается весьма серьезно выработать стратегию определения реальных достижений и роли каждого президента в американской истории. И в первую очередь он стремится свести к минимуму субъективность подхода к историческому анализу (включая и подход самого автора). Мерри выбирает два относительно объективных или, по крайней мере, очевидных критерия: первый — оценка профессиональных истори-

ков, второй — выбор, который делали избиратели. По мнению Мерри, учет двух этих "фундаментальных индексов", должен обеспечить систему наиболее полной и надежной оценки.

Сбор мнений историков Мерри начинает с 1948 года, когда знаменитый гарвардский профессор Артур Шлезингер-старший опубликовал в журнале "Лайф" первый рейтинг президентов, составленный избранными историками. В 1962-м он этот список несколько ревизовал, а в 1996 году был составлен новый рейтинг президентов уже по инициативе не менее знаменитого сына гарвардского профессора, тоже историка — Артура Шлезингера-младшего. И вот тут отчетливо выявились проблемы. О них — политолог Джеймс Сизер в рецензии, опубликованной в газете "Уолл-стрит джорнал" от 22 июня 2012 года:

Ученые, чьи мнения собрал в 1996 году Шлезингер-младший, оказались при ближайшем рассмотрении друзьями и политическими единомышленниками редактора-составителя, который был в свое время "придворным историком" Джона Кеннеди. И хотя их оценка должна была бы быть строго профессиональной и объективной, уважаемые академики не смогли полностью исключить свои политические пристрастия. По их оценкам получалось, например, что президент Кеннеди стоит на двенадцать (!) мест выше президента Рейгана. Автору книги Роберту Мерри, который относится к Рейгану с большой симпатией, явно трудно "проглотить" такой рейтинг.

Тем не менее Мерри продолжает настаивать на том, что опрос экспертов, как он пишет: "ближе всего к тому, что можно назвать судом истории".

Второй "фундаментальный", по мнению Мерри, индекс определяется голосами избирателей. Мерри делит президентов на три категории: те, кого выбирали на один срок; те, кого — на два; и, в уникальном случае Франклина Рузвельта, — на четыре срока. И получилось, что в список президентов, которых историки определили как великих (или близких к величию), вошли те, кто пробыл в Белом доме два и более сроков: Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Томас Джефферсон, Эндрю Джексон, Теодор Рузвельт, Гарри Труман. А в списке президентов, получивших низкую оценку историков, оказались в основном односрочники: Тэйлор, Филлмор, Пирс, Бьюкенен и Эндрю Джонсон. Но вот что отмечает Сизер:

В оценках историков и избирателей много несовпадений: односрочников Адамса и Полка историки помещают в высшие категории, а, скажем, двоим двухсрочникам (Гранту и Кулиджу) они дают низкую оценку. В случаях, когда историки объявляют провалом деятельность популярных президентов, Мерри сам корректирует несовпадение мнений, чаще отдавая предпочтение оценке избирателей и защищая от категоричности теоретиков президентов Гранта, Хардинга, Кулиджа и Никсона, чье место в истории страны было далеко не бесспорным.

Добавим к этому, что мнения самих историков сильно меняются с годами. Пример — оценка президента Дуайта Эйзенхауэра. В 50-х годах историки называли его do nothing president (президент, который ничего не делает), а в 90-х они почти единогласно включили его в так называемую первую десятку.

Думается, что усилия Роберта Мерри научно оценить деятельность американских президентов — гораздо больше, чем национальная игра. Это скорей объяснимая и весьма своевременная попытка выяснить, каким, в принципе, должен быть президент огромной, изменчивой, многонациональной, мультирелигиозной демократической страны. Мерри понимает, что простыми критериями тут не обойтись, и три главы из девяти его книги включены в раздел "Тест на величие".

Есть короткий список президентов (Вашингтон, Джефферсон, Джексон, Линкольн и оба Рузвельта), которые были "судьбоносными" президентами. Величие их деятельности в том, что они трансформировали политический ландшафт страны и сумели сменить ее курс.

Но, как убедительно замечает Сизер, "величию невозможно дать простое определение — даже научное", и радикальная перемена курса не может быть его единственным условием. Президент Линкольн действительно изменил курс, а Франклин Рузвельт, скорей наоборот, сумел своей волей и убежденностью сохранить то, что было, — то есть уверенность своего народа в реальной ценности западной демократии — в пору, когда она ставилась под сомнение. И далее у Сизера:

Отношение к президентам во многом зависит от нашей добросовестности при учете всех обстоятельств, сопутствовавших президентству, и от нашей способности оценить человеческое величие при всей его невместимости ни в научные, ни в обывательские нормы. А если мы не способны на это, рейтинг президентов остается просто любимой игрой.

И вот что еще становится очевидным из книги "Где их место?": лучшие американские президенты никогда не ставили во главу угла мнение избирателей и не делали победу на выборах своей первостепенной задачей. Более того, все они прекрасно отличали суд *истории* от суда *историков* и о последнем очень мало заботились.

LARRY TYE *Superman. The High Flying History of America's Most Enduring Hero.* — Random House, 2012

"Популярности и неизменно высокому рейтингу Супермена позавидовал бы любой политик", — пишет в лондонской "Art Newspaper" Дэвид Д'Арси — рецензент книги Ларри Тая "Супермен. Победоносная история нестареющего американского героя". И дальше:

С появления Супермена прошло почти 75 лет. Такое долголе-

тие героического мифа особенно удивительно в наши времена победившего сарказма. Фильмы Квентина Тарантино, уничижительные кинокомиксы Мэтта Грэйнинга, разоблачительные документальные картины Майкла Мура — чрезвычайно популярны в Америке, однако это ничуть не уменьшает любви публики к Супермену. Он живуч, как таракан.

Сарказм явно победил и в суждениях лондонского рецензента, хотя непонятно, почему его так удивляет, что бандиты Тарантино или Симпсоны Грэйнинга легко уживаются с Суперменом. Сатира веками уживалась со сказками: диккенсовский Уриа Гипп не изгнал из английского фольклора Робина Гуда, булгаковский Шариков не выпихнул из русского сердца Ивана Царевича и Илью Муромца. Тем более что и в образе, и в истории Супермена скрыто немало иронии — начиная с истории его рождения.

Дело в том, что этот образец мужского совершенства, благородной силы и англосаксонской красоты создали в 1935 году двое шестнадцатилетних еврейских очкариков, чьи семьи занесло из Европы, через Канаду, в город Кливленд. Один из мальчиков — Джерри Сигель — написал историю пришельца с погибающей планеты Криптон, которого родители (знакомые с высокими технологиями) еще младенцем отправили на Землю, чтобы спасти от неминуемой гибели. Он приземлился на кукурузном поле на американском Среднем Западе, где его нашла бездетная пара фермеров. Они растили его как обыкновенного мальчика, скрыв от соседей, что найденный в поле трехлетний малыш тут же поднял голыми руками их застрявший в канаве грузовик.

Вторым автором Супермена был друг Сигеля — юный художник Джо Шустер. Это он придумал трехцветный наряд и развевающийся плащ.

Имя Супермен было, скорей всего, заимствовано Сигелем и Шустером из книги Ницше "Так говорит Заратустра", где представлена идея супермена — человека будущего, способного извлечь из-под спуда невероятные способности, которыми нас снабдила природа. Его реальный образ родился из подражания героям актера Дугласа Фербенкса-старшего из фильмов "Знак Зорро" и "Робин Гуд". А трогательно-нелепые герои Гарольда Ллойда вдохновили юных авторов на земной образ Супермена — застенчивого и нескладного очкарика, газетного репортера Кларка Кента, который переодевается в суперменский наряд в телефонных будках. Романтическая основа сюжета — любовь Кларка к недоступной красавице Лоис Лэйн, которая, в свою очередь, влюблена в недосягаемого Супермена и не догадывается, что он и Кларк — один и тот же человек.

"Юные авторы, — пишет американский рецензент Майкл Ризотти, — отправляя свой комикс в журнал 'Action Comics' в июне 1938 года, не могли предположить, что эта история станет самым знаменитым любовным треугольником американского фольклора".

Три года прошло с создания сказки о Супермене до того момента, когда издатель Гарри До-

нефелд купил ее у Сигеля и Шустера за 130 долларов — покупка, которую Ларри Тай сравнивает с покупкой Манхэттена у индейцев за 24 доллара в 1626 году. В договоре оговаривалось также, что в дальнейшем авторы отказываются от всех прав на своего героя. Так что уже другие авторы доводили Супермена до окончательного могущества. Сначала он только перепрыгивал через дома, потом начал летать, потом вышел на околоземную орбиту и так далее:

Его голос в миллион децибелл мог легко достичь вершины небоскреба. Его ноздри были такими чувствительными, что улавливали за несколько миль слабый аромат духов Лоис. Его взгляд был так пронзителен, что мог загипнотизировать целое племя индейцев в джунглях Южной Америки. Он мог говорить с русалками на их родном языке. Играя в первый раз в шахматы, он мог победить чемпиона мира. Но главное — он всегда был защитником угнетенных, грозой торговцев оружием, грабителей, убийц и жадных домовладельцев в трущобах Нью-Йорка времен Великой депрессии. В общем, он был проводником рузвельтовского Нового курса.

Знаменитый итальянский писатель и литературовед Умберто Эко так представил социальную сторону подвигов Супермена в эссе "Миф о Супермене":

Этот герой одержим защитой статус-кво. Его идея о правде и справедливости ограничивается защитой закона и порядка, установленного большинством. Он направляет свою энергию на то, чтобы посадить преступников в тюрьму — особенно, если они посягают на частную собственность. Он не использует свои незаконные силы и способности, для того чтобы изменить те социальные условия, которые порождают преступность и нищету.

Неужели Умберто Эко предпочел бы, чтобы Супермен стал мифическим Лениным?..

Недоволен Суперменом и американский рецензент Майкл Ризотти — как устаревшим мифом, не отразившим мультикультурализма:

Супермен был мифической парадигмой своей эры — моделью, одобренной правящим слоем Америки 50-х. Но Америка, как и вся планета, меняется в сторону расового и культурного многообразия. И это доказано популярностью, скажем, телешоу "Star Trek". Главный герой новых сказок — уже не одинокий белый англосакс, а целая многорасовая команда.

Ну что ж, новым сказкам еще предстоит испытание временем, которое миф о Супермене явно выдержал.

Вероятно, из-за строгой приверженности закону могучий Супермен не помог своим создателям в борьбе за авторские права на него:

В 1947 году Шустеру и Сигелю надоело смотреть, как другие люди зарабатывают миллионы на их творении: на новых комиксах, телешоу, на мультипликации (фильмы были поставлены позже). Друзья попытались оспорить условия своего договора с издателем, но проиграли дело в суде.

К счастью, энергичной жене Сигаля все же удалось позже высудить у развлекательных корпораций неплохие потиражные для обоих авторов.

История Супермена полна странных и даже трагических деталей. Художник Шустер рано умер (или даже был убит) в своей квартире, набитой игрушками, которых он был лишен в детстве. Первый исполнитель роли Суперемена в телешоу, Джордж Ривс, кончил жизнь самоубийством. Красавец Кристофер Рив — актер, игравший Супермена в фильмах 70—80-х годов, упал с лошади, был парализован и умер в расцвете сил и на пике карьеры.

Фильм 1978 года с Кристофером Ривом остается пока самой удачной экранизацией истории о Супермене. Там играли Марлон Брандо и Джин Хэкман, а одним из сценаристов был автор "Крестного отца" Марио Пьюзо. Но история Супермена продолжается, и в 2013 году нас ждет новый фильм — "Человек из стали" режиссера Снайдера по сценарию прекрасного английского сценариста и режиссера Кристофера Нолана и с участием молодых кинозвезд Генри Кэвилла и Эми Адамс.

В статье о книге Тая "Супермен" лондонский рецензент Д'Арси пишет:

Ларри Тай — опытный журналист — ничуть не стыдится своей горячей детской любви к Супермену. Но не будем забывать, что обычно люди перерастают эту любовь годам к тринадцати. Если в вас все еще живет подросток, вы, вероятно, осилите 400 страниц книги об истории Супермена.

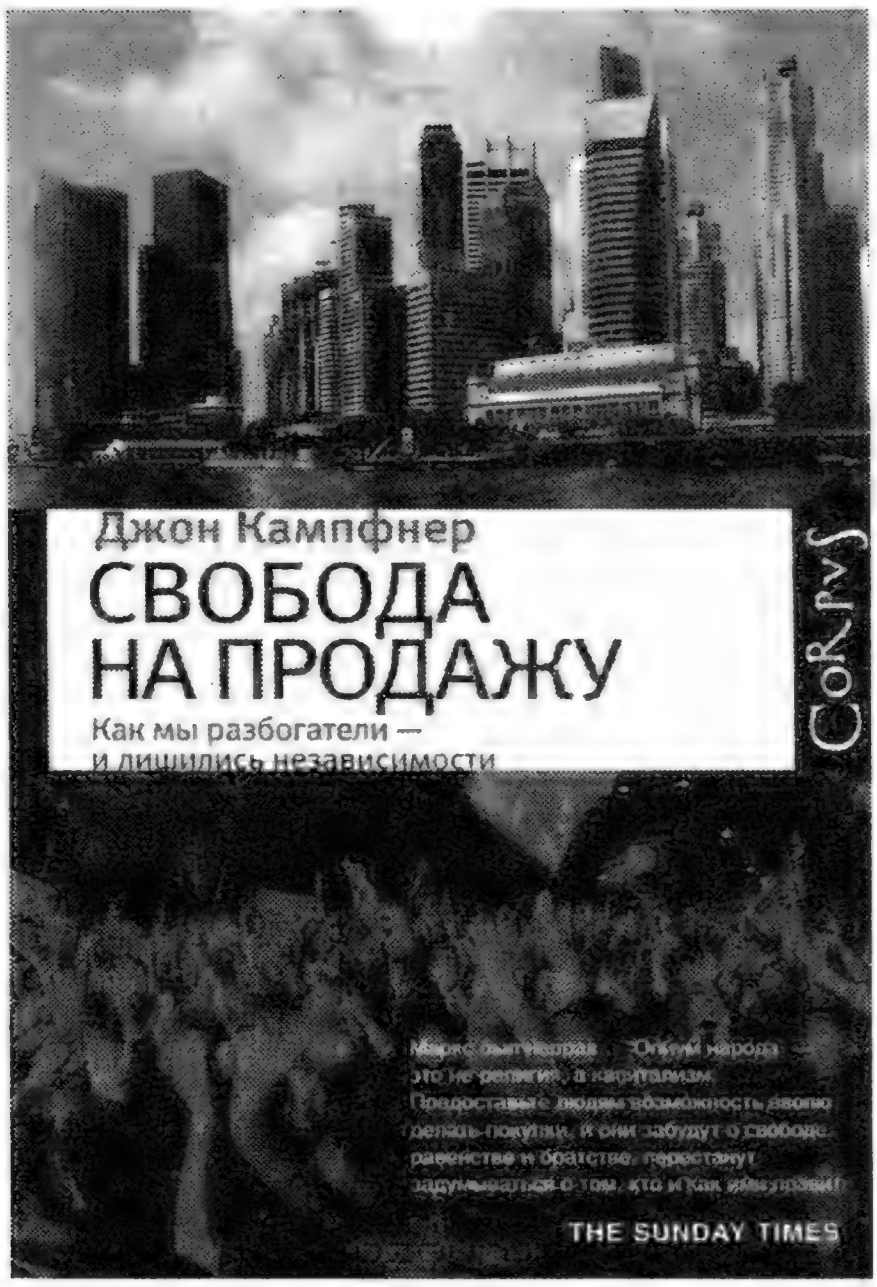
Конечно, 400 страниц многовато, но вот на новый фильм пойдут, я уверена, не только подростки. В образе Супермена, созданном 75 лет назад двумя юными иммигрантами, заложено некое непреходящее литературное обаяние: герой со сверхчеловеческими способностями, всеми обожаемый защитник и спаситель после каждого своего подвига вновь становится неприметным, никем не оцененным, но обаятельным, остроумным и добрым человеком — превращается в нас с вами.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Свобода, демократия и рынок, "невидимой рукой" налаживающий экономические связи, – вот те составляющие, которые должны привести к построению современного цивилизованного общества. Эту мантру, которую мы впервые услышали четверть века назад, многие политики и публицисты продолжают – с теми или иными вариациями – повторять и сегодня. С тех пор, однако, что-то не просто изменилось, но изменилось с точностью до наоборот. Ведущей экономической державой уверенно становится Китай, а США уже более десяти лет назад (после 09.11) развернули активную борьбу с терроризмом, во имя которой некоторые свободы были слегка свернуты. Что же в мире происходит и почему? В трех книгах, вошедших в этот обзор, данный вопрос рассматривается в трех разных аспектах: применительно к настоящему, к прошлому и к будущему.

О дне сегодняшнем повествует книга английского журналиста **Джона Кампфнера** *Свобода на продажу* (перевод с англ. **Станислава Львовского**. – М.: Астрель; CORPUS, 2012. – 414 с.), главный посыл которой выражен в емком подзаголовке: *Как мы разбогатели – и лишились независимости*. В восьми главах этой книги – рефлексия по поводу актуального положения дел в восьми странах. Это два азиатских "карлика": Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты, три (также восточных) "гиганта": Китай, Россия и Индия, три страны Запада: Италия, Великобритания и США. На их примерах автор показывает, что успешное экономическое развитие сегодня не то чтобы связано с демократией и свободой, а, напротив, часто положительно коррелирует с авторитарным "закручиванием гаек". Конечно же, в каждой стране есть своя специфика (например, законы, жестоко карающие за нарушение норм бытового поведения, эффективно работают в небольших по территории странах



Азии), однако тенденция к повышению роли государственного регулирования наблюдается практически повсюду — при этом "коммунистический" Китай экономически явно опережает, например, демократическую Индию. И хотя базовые принципы рыночной экономики остаются (по крайней мере формально) неколебимыми, но классическая модель капитализма (успешно функционирующая совокупность самоорганизующихся частных субъектов) осталась либо в прошлом, либо в головах оторвавшихся от реальности теоретиков.

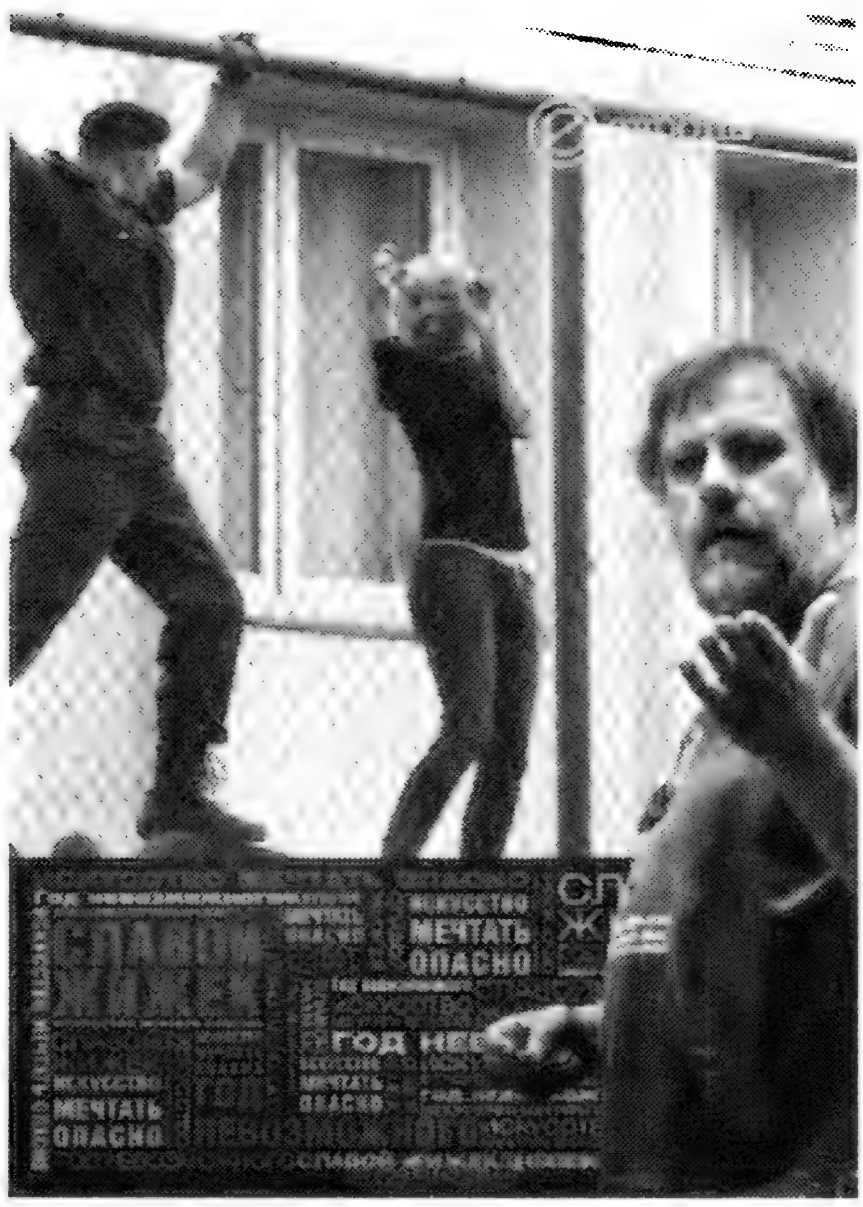
Даже в развитых странах Запада патерналистская социальная модель теснит классический формат свободного капиталистического общества. Впрочем, как считает **Джона Голдберг**, автор книги *Либеральный фашизм* (перевод с англ. **И. Ю. Облачко**. — М.: Рид Групп, 2012. — 512 с. — Серия "Политическое животное"), в этом нет ничего удивительного — ведь подобная тенденция начала проявляться еще более ста лет назад, причем "пионерами" в этом отношении можно считать как раз США, где в начале XX века возникло оппозиционное по отношению к традиционализму и направленное на пропаганду и осуществление реформ сверху течение "прогрессивизма". Одной из его базовых установок был приоритет ценностей социальных и общенациональных над частными, коллективного "мы" — над индивидуальным "я", а первым видным политиком этого направления стал избранный в 1913 году президентом США Вудро

Вильсон. А далее автор проделывает совершенно немыслимый для современного обыденного сознания интеллектуальный пируэт: он устанавливает прямую историческую и логическую связь между американским прогрессивизмом и возникшим несколько лет спустя итальянским фашизмом Муссолини, которого Голдберг считает прямым идейным наследником Вильсона.

Здесь, безусловно, возникает проблема прежде всего терминологическая: ведь сегодня само слово "фашизм" уже невозможно очистить от шлейфа исторических коннотаций, связанных с гитлеровским нацизмом и Холокостом. Однако надо понимать, что в начале двадцатых годов оно звучало вполне нейтрально и означало просто идеологию "единения" (этимологически — от fascio: союз, пучок, связка, объединение) — причем итальянский фашизм основывался именно

на единении общенациональном, гражданском, а не этническом и тем более не расовом: в силу чего американские либералы (выступавшие за усиление роли государства) относились к нему вполне сочувственно. А когда в конце двадцатых мир был поражен экономическим кризисом, именно носители идеи национального единения возглавили борьбу с ним. И Голдберг считает совершенно не случайным тот факт, что в 1933 году к власти практически одновременно пришли Гитлер в Германии и Рузвельт в Америке: ведь провозглашенный Рузвельтом "Новый курс" является, по мнению автора, одной из разновидностей классического фашизма — а именно фашизмом "либеральным" (который впоследствии был продолжен такими президентами, как Кеннеди, Клинтон и Обама). Впрочем, Голдберг и Гитлера считает отчасти последователем американского прогрессивизма; так, несомненный интерес представляет его экскурс в историю евгеники — учения о расовых различиях, завоевавшего популярность именно в Америке начала XX века.

Традиционно принято увязывать фашизм с правыми силами; однако на шкале Голдберга фашизм близок прежде всего левым, противостоящим правым консерваторам. "Мы вместе", "Пока мы едины, мы непобедимы", "Возьмемся за руки, друзья", "Солидарность" — все эти слова и фразы для нас несут исключительно позитив; Голдберг же предупре-



ждает и об их возможной оборотной стороне: ведь фашизм, как правило, добивался успеха на волне критики, призывов к переменам и реформам, стремления к активности — в том числе уличной. И тут крайне полезно появление книги, в которой оперативно проанализирована ситуация, сложившаяся в мире в 2011—2012 гг.: **Славой Жижек**. *Год невозможного. Искусство мечтать опасно* (перевод с англ. **А. Маркова**. — М.: Издательство "Европа", 2012. — 272 с.). Как обычно, на основе парадоксальных иллюстративных примеров Жижек выявляет сущностную, а не поверхностно-идеологическую подоплеку прокатившейся по всему миру волны антикапиталистических протестов ("Оккупай" и прочих), анализирует потенциальную динамику их развития и нетривиально формулирует связанные с ними надежды и опасения.

Ивлин Во
Evelyn Waugh
[1903–1966]. Английский писатель.

Автор романов *Упадок и разрушение* [*Decline and Fall*, 1928], *Черная беда* [*Black Mischief*, 1932; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 6], *Пригоршня праха* [*Handful of Dust*, 1934; рус. перев. 1971], *Сенсация* [*Scoop*, 1938; рус. перев. 1992], *Не жалейте флагов* [*Put Out More Flags*, 1942; рус. перев. 1971], *Возвращение в Брайдсхед* [*Brideshead Revisited*, 1945; рус. перев. 1974], *Незабвенная* [*The Loved One*, 1948; рус. перев. *ИЛ*, 1969, № 2], *Офицеры и джентльмены* [*Officers and Gentlemen*, 1955; рус. перев. 1977] и др. В *ИЛ* опубликовано также его радиовыступление *П. Г. Вудхаузу: поздравление и покаяние* [2012, № 12].
Текст публикуется по книге *The Diaries of Evelyn Waugh* [Penguin Books, 1979].

Жузе Эдуарду Агуалуза
José Eduardo Agualusa
[р. 1960]. Ангольский писатель, журналист. Пишет на португальском языке. Лауреат премии Ревеласау Сонангола [1989], Главной литературной премии португальского радио и телевидения [1996], Главной премии Португальского союза писателей [1999], премии газеты *Индепендент* в номинации "Иностранная художественная литература" [2004] и др.

Автор романов *Заговор* [*A Conjura*, 1989], *Креольская нация* [*Naçao Crioula*, 1997], *Иностранец в Гоа* [*Um estranho em Goa*, 2000], *Женщины моего отца* [*As Mulheres de Meu Pai*, 2007] и др., сборников рассказов *Ярмарка удивленных* [*A feira dos assombrados*, 1992], *Каталог теней* [*Catálogo de Sombras*, 2003], *Практический курс левитации* [*Manual Prático de Levitaçao*, 2005] и др.
Текст публикуется по изданию *O Vendedor de Passados* [Lisboa: Publicaçoes Dom Quixote, 2004].

Алехандра Писарник
Alejandra Pizarnik
[1936–1972]. Аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Лауреат литературной премии Буэнос-Айреса за поэзию [1966].

Автор стихотворных сборников *Последняя чистота* [*La última inocencia*, 1956], *Древо Дианы* [*Arbol de Diana*, 1962, с предисловием Октавио Паса], *Музыкальный ад* [*El infierno musical*, 1971], книг прозы *Извлечение камня глупости* [*Extracción de la piedra de locura*, 1968], *Кровавая графиня* [*La condesa sangrienta*, 1971] и др. После ее смерти было напечатано собрание стихотворных набросков и рисунков *Запретная зона* [*Zona prohibida*, 1982], опубликованы дневники и переписка.
Публикуемые стихи взяты из книги *Poemas* [Ed. Endymion Ltda, 1986], *Записные книжки* – из книги *Prosa completa* [Editorial Lumen, 2001].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Ваксмахера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции За заслуги [2009].

Автор книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика после и рядом* [2010], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Наталья Яковлевна Рапопорт
Доктор химических наук, почетный профессор Университета штата Юта. С 1990 г. живет в США.

Автор двух мемуарных книг под общим заглавием *То ли быль, то ли небыль* [1988, 2004] и ряда статей и эссе, публиковавшихся в российской, американской и израильской прессе. Повесть *Память – это тоже медицина*, напечатанная в журнале *Юность* [1988] издана на французском, итальянском, английском, голландском языках. Подготовлена к печати книга мемуаров *Личное дело.*
В *ИЛ* публикуется впервые.

Елизавета Ильинична Домбаян
Переводчик с английского и французского языков, преподаватель.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Дж. Янга, Д. Ноге, Ф. Лина, Дж. Уилгуса и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны романы Э. Бёрджесса *Железо, ржавое железо* [совместно с А. Пинским, 2004, № 1–3] и Й. Шкворецкого *Два убийства в моей двойной жизни* [2005, № 3], отрывки из книги У. Фергюсона и И. Фергюсона *Как быть канадцем* [2006, № 11], рассказы Н. Смита [2006, № 11], Э. Коннела [2007, № 12] и Э. Л. Доктороу [2011, № 1], а также интервью с Э. Л. Доктороу [2011, № 1] и *Письма из-за рубежа* [2012, № 1].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода.*

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Татьяна Викторовна Родименко
Переводчик с испанского и португальского языков.

В ее переводе напечатаны роман Р. Аренаса *Швейцар* [2008], книга Ф. Кастро *Моя жизнь* [2009] и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагмент *Книги тревог* Ф. Пессоа [1998, № 11], роман Х. Л. де Хуана *Вспоминаия Лампе* [2009, № 3] и фрагменты романа А. Муньоса Молины *Сефард* [2011, № 12].

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков.

В его переводе издавались произведения Л. Де Гонгора-и-Арготе, Л. Де Веги Карпио, Х.Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, Р. Альберти, Х. Марти, Х. Лесамы Лимы, Х.Л. Бохеса, Х. Картасара, Дилана Томаса, У. Х. Одена, Р. Уилбера, Р. Пена Уоррена и др. Неоднократно публиковался в ИЛ.

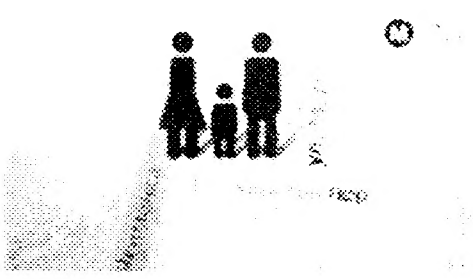
Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии Иностранная литература [2000], обладатель почетного диплома критики зоИЛ [2010], кавалер ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Манрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса



Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 21.01.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1742.
Тираж 4800 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Сайт: www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

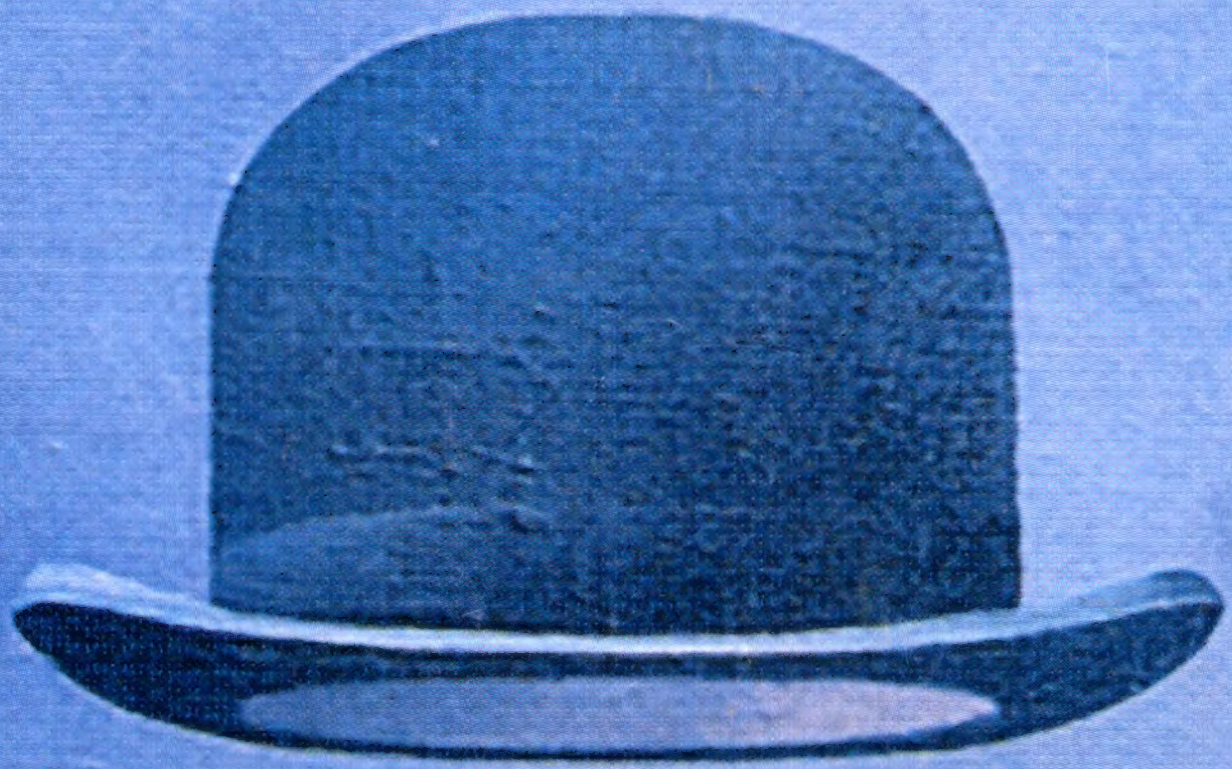
Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

[3] 2013

РОМАН ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА “ФАТА-МОРГАНА ЛЮБВИ С ОРКЕСТРОМ” / РАССКАЗЫ МАКЕДОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ПЬЕСА ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА “СУЕТА СУЕТ”, ВОСПОМИНАНИЯ АНТОНИИ ФРЕЙЗЕР “КАК, ВЫ УЖЕ УХОДИТЕ?” И ДР. В РУБРИКЕ “ГАРОЛЬД ПИНТЕР: ТЕАТР И ЖИЗНЬ” / ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ: СТИХИ, ИНТЕРВЬЮ, ЭССЕ, ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ МАЙКЛА ПАЛМЕРА И ДР. / ВЕРА КАЛМЫКОВА В РУБРИКЕ “СТАТЬИ, ЭССЕ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №2, 1-288

ISSN 0130-6545 13002
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394